



Энтони Гидденс
**ПОСЛЕДСТВИЯ
СОВРЕМЕННОСТИ**



ОБРАЗ ОБЩЕСТВА





Anthony Giddens

**THE CONSEQUENCES
OF MODERNITY**

Stanford University Press, Stanford, California, 1990

Энтони Гидденс

ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Москва
Праксис 2011



ББК 60.5
УДК 316
Г46

В рамках серии «Образ общества» Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и издательство «Праксис» представляют работы ведущих мировых социологов, прежде никогда не издававшиеся в России. Редакционный совет серии включает авторитетных отечественных ученых, профессоров московских университетов и академических институтов. Финансирование серии осуществляет Фонд содействия изучению общественного мнения.

Редакционный совет серии:

В. С. Вахштайн, И. Е. Дискин, Т. А. Дмитриев, В. А. Куренной,
В. К. Левашов, В. В. Петухов, Д. М. Рогозин, А. М. Руткевич,
В. В. Федоров, А. Ф. Филипов, И. А. Фомин, А. Ю. Чепуренко

Научная редакция, вступительная статья —
к. филос. наук, доцент кафедры наук о культуре
факультета философии НИУ—ВШЭ Т. А. Дмитриев

Редактор — А. А. Веретенников

Перевод с английского издания:
The Consequences of Modernity (1st Edition)
By Anthony Giddens.
Stanford: Stanford University Press, 1990.

Издание опубликовано по соглашению с Polity Press Ltd., Cambridge

Г46 Гидденс, Энтони. Последствия современности. Пер. с англ.
Г. К. Ольховикова; Д. А. Кибальчича; вступ. статья Т. А. Дмитриева. — М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2011. — 352 с. — (Серия «Образ общества»).

ISBN 978-07456-0793-1 (англ.)

ISBN 978-59015-7490-4 (рус.)

Классическая работа английского социолога с мировым именем, директора Лондонской школы экономики (1997–2003) Энтони Гидденса посвящена рассмотрению природы современных обществ и характера происходящих в них изменений. Определяя современность как «сокрушительную силу», Гидденс особое внимание уделяет дистанциации пространства и времени, делающей возможным превращение времени в абстрактную и точно измеримую категорию, а также развитию символических и экспертных систем, без которых немислимо функционирование современных обществ. В свою очередь, анализ символических и экспертных систем подводит Гидденса к проблеме доверия, имеющей огромное значение для современности.

© Г. К. Ольховиков, перевод, 2011

© Д. А. Кибальчич, перевод, 2011

© Т. А. Дмитриев, вступительная
статья, 2011

© А. В. Кулагин, оформление обложки, 2011

© Издательская и консалтинговая
группа «Праксис», 2011

ISBN 978-07456-0793-1 (англ.)

ISBN 978-59015-7490-4 (рус.)

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Т. А. Дмитриев. Сокрушительная современность Энтони Гидденса</i>	7
---	---

ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Предисловие	108
Рисунки и таблицы	109

I

Введение	111
Разрывы современности	114
Безопасность и опасность; доверие и риск	118
Социология и современность	122
Современность, время и пространство	130
Высвобождение	135
Доверие	145
Рефлексивность современности	153
Современность или постсовременность?	164
Выводы	174

II

Институциональные измерения современности	177
Глобализация современности	187
Теория: два взгляда	190
Измерения глобализации	195

III

Доверие и современность	207
Доверие к абстрактным системам	211

СОДЕРЖАНИЕ

Доверие и экспертиза	218
Доверие и онтологическая безопасность	222
Досовременное и современное	232

IV

Абстрактные системы и трансформация интимности	247
Доверие и личные отношения	249
Доверие и тождество личности	256
Риск и опасность в современном мире	261
Риск и онтологическая безопасность	270
Адаптивные реакции	274
Феноменология современности	277
Утрата и новое обретение навыков в повседневной жизни	285
Возражения постсовременности	292

V

Езда на колеснице	294
Утопический реализм	297
Ориентации на будущее: роль социальных движений	302
Постсовременность	308

VI

Является ли постсовременность западным проектом?	322
Завершающие замечания	324
Примечания	328
Именной указатель	334
Предметный указатель	336

СОКРУШИТЕЛЬНАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ ЭНТОНИ ГИДДЕНСА

Автор книги, перевод которой предлагается отечественному читателю, хорошо известен, по крайней мере в кругу тех, кто занимается вопросами и проблемами современной социально-политической мысли. Речь идет о лорде Энтони Гидденсе (р. 1938) — одной из центральных фигур современной британской и западной теоретической социологии, профессоре Кембриджского университета (1985–1996) и в недавнем прошлом — директоре Лондонской школы экономики (1997–2003), авторе множества серьезных работ по теоретической социологии и социальной теории, заслуженно получивших серьезный резонанс не только в академической среде, но и за ее пределами. Гидденс, вне всякого сомнения, относится к тем ведущим социальным теоретикам современности, взгляды и оценки которых в решающей степени определяют не только состояние современного социально-научного знания, но и климат мнений как в академическом, так и в публично-коммуникативном пространстве. Среди академических социологов Гидденс известен прежде всего как создатель *теории структуриации* — одной из важнейших концептуальных новаций в теоретической социологии 1970-х — 1980-х годов, — призванной преодолеть целый ряд классических противоположностей и дуализмов, характерных для развития социально-научного знания в последние два столетия. Тем не менее сфера интересов Гидденса, особенно в последние два

десятилетия, отнюдь не ограничивалась областью академических исследований и занятий, а была отмечена растущим интересом к практической политике. Это нашло свое выражение как в попытках Гидденса очертить общественно-политические альтернативы мирового развития, выходящие за рамки противостояния капитализма и социализма, так и в его попытках сформулировать и обосновать новую политическую повестку дня для британских лейбористов и их правительства, которое в 1997–2007 гг. возглавлял Тони Блэр, чьим неформальным советником Гидденс был на протяжении ряда лет.

Среди работ, принесших Гидденсу заслуженную славу ведущего социолога современности, «Последствия современности»¹, опубликованная в 1990 году и являющаяся одной из его наиболее читаемых и обсуждаемых книг, занимает совершенно особое место. «Последствия современности» не только сыграли важную роль в развитии Гидденса как социолога и социального теоретика, но и получили широкий резонанс в контексте дискуссий о характере современного общества и современной эпохи, которые в интеллектуальной атмосфере 1990-х годов вращались вокруг противостояния подходов современной и постсовременной социальной теории. Более того, эта работа имела свою предысторию, на которой стоит вкратце остановиться. Прежде всего несколько слов надо сказать о ее месте в творческом наследии Гидденса. При том, что мнения исследователей творчества Гидденса по этому вопросу отмечены печатью разногласий, в целом они сходятся друг с другом в том, что в его интеллектуальной

¹ *Giddens A. The Consequences of Modernity. Stanford: Stanford University Press, 1990.*

карьере довольно отчетливо просматриваются четыре или пять этапов¹. Первый из них — 1960-е годы — связан с исследованиями проблемы самоубийства и освоением концептуальных ресурсов классической и современной теоретической социологии, социальной теории и философии, а второй (с начала по середину 1970-х годов) — с работами, посвященными классической социальной теории, в центре которых находились фигуры и теоретические построения Маркса, Дюркгейма и Вебера². С середины 1970-х годов в творчестве Гидденса намечается новый этап, связанный с разработкой его собственной социологической концепции — теории структуриации — который достигает своей кульминации с публикацией в 1984 году его *opus magnum* по теоретической социологии, работы «Конституирование общества: очерк теории структуриации»³.

Следующая фаза в развитии Гидденса начинается примерно с середины 1980-х годов; она отмечена серьезным смещением как исследовательских интересов социолога, так и разрабатываемой им проблематики. В это время в центре внимания Гидденса

¹ В настоящее время существует обширная литература на этот счет. См., например: *Baert P. Social Theory in the Twentieth Century*. N. Y.: New York University Press, 1998. P. 92–94; *Craib I. Anthony Giddens*. L.; N. Y.: Routledge, 1992. P. 1–11; *Kaspersen L. B. Anthony Giddens: An Introduction to a Social Theorist*. L.: Willey-Blackwell, 2000. P. 1–6; *Loyal S. The Sociology of Anthony Giddens*. L.: Pluto Press, 2003. P. 4–6.

² *Giddens A. Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Weber*. Cambridge: Cambridge University Press, 1971.

³ *Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1984 (рус. пер. — Гидденс Э. Устройство общества: Очерк теории структуриации. М.: Академический проект, 2003).

находятся проблемы современности и постсовременности, которые рассматривались им в широком контексте глобальных трансформаций последних десятилетий. Опираясь на теорию структуризации, Гидденс в конце 1980-х — начале 1990-х годов предложил развернутый анализ современности, ее институциональных измерений и динамики социальных изменений. Первые шаги в этом направлении были сделаны им в 1985 году с публикацией «Национальное государство и насилие»¹. В этой работе Гидденс не только исчерпывающим образом исследовал природу и функции современного национального государства, но и выделил четыре базовые институциональные измерения (institutional clusters) современности, появление которых обусловило уникальность вектора модернизации старых европейских обществ. К числу этих четырех базовых измерений современности Гидденс относит индустриализм, капитализм, появление новых практик надзора и контроля над большими массами людей, а также завоевание современным государством монополии на легитимное применение насилия, что способствовало как «огосударствлению» современных войн, так и индустриализации методов их ведения. В свою очередь, появление современного национального государства, обладающего развитыми практиками надзора и контроля и монополией на легитимное применение насилия, привело к созданию «концерта» великих европейских держав, который, с одной стороны, послужил прообразом современной системы международных отношений, а с другой — позволил странам Запада подчинить себе весь остальной мир. Отталкиваясь от результатов исследований, полученных в этой работе, Гидденс в 1990-е годы

¹ *Giddens A. The Nation-State and Violence. Cambridge: Polity Press, 1985.*

публикует целый цикл произведений, посвященных социологическому анализу современности, центральное место среди которых занимает книга «Последствия современности», перевод которой предлагается вниманию читателя. Помимо «Последствий современности», к циклу исследований, инициированных этой работой, тематически примыкают также «Современность и самоидентичность» (1991) и «Трансформация интимности» (1992), посвященные в основном исследованию влияния глобальных социальных трансформаций и институциональных образований на повседневную жизнь современных людей¹. Теоретические построения, предложенные Гидденсом в «Последствиях современности», в последующие годы получили развитие в двух направлениях. Речь идет прежде всего о идейно-политической программатике «третьего пути», которой Гидденс посвятил целый ряд работ в 1990–2000-е годы², а также об анализе процессов глобализации на рубеже XX и XXI веков³.

¹ *Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford (Calif.): Stanford University Press, 1991; Idem. The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Stanford (Calif.): Stanford University Press, 1992* (рус. пер. — Гидденс Э. Трансформация интимной сферы: Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах. СПб.: Питер, 2004).

² Речь идет о таких работах, как: *Giddens A. Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics. Stanford (Calif.): Stanford University Press, 1994; Idem. The Third Way: The Renewal of Social Democracy. Cambridge: Polity, 1998; Idem. The Third Way and Its Critics. Cambridge: Polity, 2000; Idem. Where Now for New Labour? Cambridge: Polity, 2002; Idem. Over to You, Mr. Brown: How Labour Can Win Again. Cambridge: Polity, 2007.*

³ Рассмотрению процессов глобализации посвящены лекции, прочитанные Гидденсом в 1999 году в рамках Программы Рейта (Reith Lectures) на Би-Би-Си, главные положения которых в последующем нашли отражение в книге: *Giddens A. The Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives. N. Y.: Routledge, 1999* (рус. пер. — Гидденс Э. Ускользящий мир: Как

СОКРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА
СОВРЕМЕННОСТИ

В центре работы Гидденса находится вопрос о характере современности и природе составляющих ее институтов, которые по целому ряду параметров радикально отличаются от всех предшествующих форм социальной организации. Под «современностью» Гидденс понимает «способы социальной жизни или организации, возникшие в Европе начиная с XVII столетия и впоследствии оказавшие влияние на весь остальной мир»¹. Главное достоинство подобного подхода к исследованию современности Гидденс видит в том, что он увязывает данный феномен с определенным периодом времени (Новое время) и определенным пространством (Западная Европа), оставляя в то же самое время открытым вопрос о его более детальной характеристике.

Концепция современности Гидденса строится на размежевании с пониманием этого социально-исторического феномена как в классической социологической традиции, так и в постмодернистской социальной теории, утверждающей, что мы являемся свидетелями перехода современных обществ в новое качественное состояние, выводящее их за пределы современности. По мнению Гидденса, более правильно было бы говорить о переходе современных обществ в высокую, или зрелую фазу современности, связанную с радикализацией ее основных последствий. В своих работах 1990-х годов и, прежде всего в работе «Последствия современности», Гидденс рисует образ современности, альтернатив-

глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь мир, 2004).

¹ *Giddens A. The Consequences of Modernity. P. 1.*

ный как по отношению к образу «стальной клетки» Вебера¹, порождаемой процессом рационализации всех сфер общественной жизни, так и к образу современности как «чудовища», создание которого он приписывает Марксу и его последователям. Для Гидденса определяющая черта современности заключается в ее беспрецедентном социальном динамизме, сокрушающем все преграды, стоящие у нее на пути. Именно поэтому он пишет о «сокрушительной силе современности», превращающей ее в такой генератор социальных изменений, которыми в конечном счете невозможно управлять, а последствия которых нельзя правдоподобно предсказать. Гидденс предлагает крайне примечательное описание современности как колесницы (метафора заимствована им из древнеиндийского эпоса), сокрушающей все на своем пути. Современность, говорит он, это «неудержимая машина чудовищной силы, которой мы, люди, в определенной степени

¹ Веберовская концепция современности как общества, построенного на принципах формальной рациональности, централизованной на институционализации целерационального действия, а также его концепция модернизации как прогрессирующей рационализации всех сторон общественной жизни представляются Гидденсу в целом неадекватными и устаревшими. В дискуссии по поводу его концепции современности, прошедшей на страницах журнала «Теория, культура и общество» в 1992 году, Гидденс насчитал целых семь «слабых» позиций в построениях Вебера, особо подчеркнув при этом, что «его (Вебера. — Т. Д.) видение современности как «стальной клетки» совершенно устарело. Сегодня человечество живет в мире, который зачастую ускользает из-под нашего контроля» (*Giddens A. Commentary on the reviews // Theory, Culture and Society. L., 1992. Vol. 9, № 2. P. 172*). Предложенный Гидденсом образ современности как «сокрушающей силы», которая не поддается полному контролю со стороны людей, призван служить метафорической противоположностью образу современности как «стальной клетки» Вебера.

можем коллективно управлять, но которая также грозит вырваться из-под нашего контроля и расколоться пополам. Сокрушительная сила уничтожает тех, кто ей сопротивляется, и хотя иногда кажется, что она движется в каком-то определенном направлении, время от времени случается так, что она беспорядочно меняет направление своего движения совершенно неожиданным для нас образом. Это движение никоим образом не является совершенно отталкивающим и бесполезным; оно может быть возбуждающим и исполненным надежд. Однако пока существуют институты современности, мы никогда не сможем целиком и полностью контролировать ни направление, ни темп этого движения»¹.

Исходной посылкой анализа современности в работах Гидденса служит отказ от эволюционистского подхода к построению теории развития современных обществ, характерного для классической социальной теории рубежа XIX—XX вв.²

¹ Giddens A. The Consequences of Modernity. P. 139.

² Единственным исключением в данном случае является Макс Вебер, который, как справедливо отмечает Юрген Хабермас, «порвал [...] с основными допущениями эволюционизма, поставив при этом задачу понять модернизацию старого европейского общества как результат универсально-исторического процесса рационализации» (*Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt a. m.: Suhrkamp, 1987. S. 207*). Это, правда, не помешало теоретикам структурно-функционалистского анализа в социологии, и прежде всего Т. Парсонсу, подвергнуть наследие Вебера такой искусственной стилизации, которая позволила использовать его в качестве теоретической основы концепции социальной эволюции современных обществ. Образцом реализации подобного рода теоретической стратегии является, в частности, работа Парсонса «Система современных обществ» (*Парсонс Т. Система современных обществ [1971]. М.: Аспект-Пресс, 1998*).

Исследование современности и ее институтов, осуществляемое Гидденсом, опирается поэтому на «деконтинуистскую» интерпретацию современного социального развития. Она подчеркивает прежде всего то обстоятельство, что современные социальные институты в целом ряде существенных аспектов отличны от всех предшествующих типов традиционного порядка. По мнению Гидденса, понимание «деконтинуистской» природы современного социального развития способствует как концептуализации того, что собой представляет современность, так и уяснению ее последствий для сегодняшнего дня.

Защита Гидденсом «деконтинуистской» интерпретации современного социального развития принимает форму критики концепции *социального эволюционизма*. Под «социальным эволюционизмом» в данном случае понимается такой взгляд на человеческую историю, который предполагает, что она движется в одном направлении и управляется общими принципами и законами развертывания исторической динамики. Длительное влияние социального эволюционизма указывается Гидденсом в качестве одной из причин, по которой долгое время не удавалось понять уникальность и своеобразие современных обществ. Согласно точке зрения социального эволюционизма, «историю» можно объяснить с помощью конструирования единой «сюжетной линии», которая дает упорядоченное изображение беспорядочного множества человеческих действий. Представленная в подобном виде «история» начинается с небольших сообществ охотников и собирателей, затем, проходя через стадию общин земледельцев и скотоводов приходит к образованию классово разделенных аграрных государств, и, наконец, достигает своей кульминации в появлении современных западных обществ.

Напротив, по мнению Гидденса, человеческая история не имеет тотальной формы, приписываемой ей сторонниками различных доктрин социального эволюционизма¹. В этом отношении деконструировать социальный эволюционизм в теоретическом плане означает признать, что история не может рассматриваться как единое целое или как совокупность определенных единых принципов организации и трансформации социальной жизни. Иными словами, Гидденс настаивает на том, что современные общества и особенности их институциональной организации ни в коем случае не следует понимать как результат длительного и преемственного эволюционного развития.

«Современный мир, — пишет Гидденс, — становится понятнее, если мы смотрим на него как на мир, положивший конец и безвозвратно разрушивший традиционный мир, а не как на последовательное развитие условий, существовавших в классово разделенных обществах. Современный мир появился вследствие разрыва с тем, что происходило до него, и для него не характерна преемственность с тем, что было прежде. Основная задача социологии заключается в том, чтобы понять и объяснить суть этого разрыва, т. е. своеобразие мира, возникшего в результате развития промыш-

¹ «История человечества, — писал Гидденс в своем *opus magnum* «Конституирование общества» (1984), — не имеет эволюционной «формы», и любые попытки «втиснуть» ее в эти рамки способны принести большой вред. [...] В качестве метафоры эволюционная «форма» — ствол с ветками или вьющаяся виноградная лоза, в которых течение времени и развитие видов составляют единое целое, — не годится для анализа человеческого общества» (*Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1984. P. 236–237.*)

ленного капитализма, истоки которого следовало бы искать в западном мире»¹.

Что отличает современные общества от традиционных социальных организаций и порядков? Это прежде всего их беспрецедентный динамизм, который позволяет Гидденсу охарактеризовать современность как «сокрушающую силу». Современные общества располагают институтами и ресурсами, которые позволяют организовывать социальное взаимодействие на широких диапазонах пространства и времени. Гидденс указывает три ключевые черты, которые отделяют современные социальные институты от традиционных социальных порядков. Первая — это неимоверно возросшая скорость изменений, которые были приведены в движение современной эпохой. Несмотря на то, что традиционные цивилизации по сравнению с другими досовременными формами социальной организации отличались большим динамизмом, скорость изменений в них не идет ни в какое сравнение со скоростью изменений, происходящих в современных обществах. Вторая отличительная черта современных социальных институтов связана с расширением сферы изменений, благодаря чему в современную эпоху различные районы мира оказываются социально и информационно втянуты во взаимодействие друг с другом. Наконец, третья определяющая черта современности касается самой природы современных институтов. Многие современные социальные формы и типы организации просто-напросто отсутствовали в предшествующие исторические периоды. К числу таких форм относятся, в частности, политическая система национального государства, полная

¹ Giddens A. The Constitution of Society. P. 239.

зависимость производства от неживых источников энергии, а также повсеместная товаризация средств производства и предметов потребления, включая наемный труд.

ДИСТАНЦИАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

Гидденс выделяет три основных источника динамики современности: дистанциацию/разделение пространства и времени, действие механизмов «высвобождения» и рефлексивное усвоение знания. Говоря о дистанциации пространства и времени, Гидденс делает особый упор на то обстоятельство, что пространственно-временные характеристики современных обществ принципиально отличаются от соответствующих характеристик традиционных социальных порядков. Во-первых, в современных обществах пространство и время становятся независимыми друг от друга, абстрактными и стандартными средствами измерения и сравнения вещей. Хотя для нас подобное понимание пространства и времени является чем-то само собою разумеющимся, это обстоятельство не должно заслонять для нас тот факт, что в традиционных обществах пространство и время понимаются совершенно иначе. Безусловно, досовременные культуры обладали самыми разнообразными средствами измерения времени. Однако главной чертой измерения времени в досовременных обществах была тесная связь между временем и местом, поскольку пространственные моменты социальной жизни играли в традиционных обществах определяющую роль, а социальная жизнь сообщества всегда осуществлялась как жизнь локального сообщества. Поэтому

определение времени предполагало его соотнесение с социально-пространственными показателями или же с космически-природными циклами. Кроме того, сами средства измерения времени в традиционных обществах были несовершенными и неточными. Решающий шаг на пути разделения пространства и времени был сделан, когда были изобретены и получили широкое распространение механические часы, которые выражали единообразное измерение «пустого времени», благодаря чему стало возможным деление дня на определенные временные сегменты, важнейшим из которых стало понятие «рабочий день».

Во-вторых, процесс возникновения современных обществ характеризуется дистанциацией пространства и времени, а именно — распространением социальных систем в пространстве и во времени. Этот феномен обусловлен, в частности, централизацией, развитыми практиками надзора и контроля, а также эффективными системами транспорта и коммуникации. В частности, наглядным свидетельством дистанциации пространства и времени служит высвобождение актов социального взаимодействия из «локальных контекстов». «Пришествие современности во все возрастающей степени разрывало пространство и время, установив отношения с отсутствующими “другими”, удаленными от любого взаимодействия лицом к лицу»¹. С этим процессом тесно связан второй источник динамизма модерна, а именно, развитие механизмов «высвобождения». В традиционных обществах пространство определялось прежде всего физическим присутствием, иными словами, — четко отграниченными местами.

¹ Giddens A. The Consequences of Modernity. P. 18.

В современных обществах пространство отделяется от места, благодаря чему становится возможным взаимодействие с теми, кто физически отсутствует или находится на отдаленном расстоянии. Гидденс называет такую форму взаимодействия «действием на расстоянии» (actions at distance). В отличие от времени, процесс социальной перестройки пространства и его отделения от места не связан непосредственно с развитием стандартизованных средств измерения. Это объясняется тем, что средства разделения пространства всегда были доступнее, чем средства измерения времени. Развитие категории «пустого» пространства определяется двумя типами факторов: во-первых, теми, которые позволяют представить пространство безотносительно к какому-либо локальному месту, служащему отправной точкой для представления этого пространства, и, во-вторых, такими факторами, которые делают взаимозаменяемыми различные единицы пространства. Открытие других частей света европейцами послужило общей основой для этих двух типов социальных изменений.

Наконец, особое значение специфике пространственной организации современных обществ придает то, что они политически организованы в форме национального государства¹. Среди социальных форм, которые порождает современность, наиболее характерной является именно национальное государство, а не «общество». В качестве политической и пространственной формы национальное государство значительно отличается от большинства

¹ Анализу феномена и практик функционирования современного национального государства Гидденс посвятил уже упоминавшуюся работу «Национальное государство и насилие» (1985).

форм традиционного политического порядка. Оно, как правило, является составной частью мировой системы национальных государств, представляет собой территориально замкнутое целое с четко очерченными и международно признанными границами, располагает специфическими формами социального надзора и контроля, а также монополизирует контроль над средствами насилия. Как отмечает Гидденс, именно благодаря тому, что современные общества политически оформлены в виде национальных государств, они обладают четко очерченными и территориально замкнутыми границами. В действительности, ни одно из обществ, предшествовавших эпохе современности, не было столь четко ограничено в пространственном отношении, как современные национальные государства. Аграрные цивилизации имели «рубежи» в географическом смысле этого слова, тогда как земледельческие сообщества меньшего размера и общества охотников и собирателей просто не имели территориального характера в том же смысле, в каком его имели территориальные общества, возникшие на основе государств¹. Наконец, в современном мире национальные государства связаны друг с другом множеством самых разнообразных отношений (политических, экономических, культурных и т. д.), благодаря чему появляется возможность

¹ На это, в частности, обращал внимание еще классик социологии Эмиль Дюркгейм, который не относил к числу важнейших признаков государства наличие четко фиксированных территориальных границ. Он, в частности, подчеркивал, что территориальная замкнутость в историческом плане является достаточно поздним феноменом; так, многие номадические общества обладали развитым аппаратом управления, не имея при этом какой-то своей четко фиксированной территории. См. об этом: *Giddens A. Durkheim. L.: Fontana, 1978. P. 56.*

говорить о существующей в современном мире системе международных отношений.

Дистанциация пространства и времени имеет для современного общества огромное значение по целому ряду причин. Во-первых, она делает возможной рациональную организацию современной социальной жизни в форме рационального бюрократического управления. Деятельность рациональных организаций и институтов, к числу которых следует отнести и современное национальное государство, является одним из главных источников динамизма современного общества, радикально отличающего его от досовременных социальных порядков. Во-вторых, современная философия истории, объясняющая развитие современных обществ, основывается на таких средствах «проникновения» в пространство и время, которые были неизвестны традиционным обществам. Стандартизованная система изучения времени обеспечивает основу для рефлексивного присвоения исторического прошлого. Наконец, в-третьих, дистанциация пространства и времени является важнейшей предпосылкой второго, как полагает Гидденс, источника динамизма современности, а именно — развития механизмов «высвобождения».

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ «ВЫСВОБОЖДЕНИЯ» И ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ

Высвобождение актов социального взаимодействия из «локальных контекстов» достигается за счет действия механизмов «высвобождения», позволяющих вычленять социальную деятельность из ее непосредственного контекста и организовыв-

вать социальные отношения по широкому диапазону пространства и времени. Гидденс выделяет два типа механизмов «высвобождения», которые самым тесным образом соотносятся с развитием современных социальных институтов. Первый из них связан с созданием символических знаковых систем, второй — с распространением экспертных систем. Эти два типа систем в совокупности представляют собой *абстрактные системы*.

Под *символическими знаковыми системами* в данном случае имеются в виду средства обмена, которые могут функционировать безотносительно к специфическим характеристикам индивидов или групп, использующих их в тех или иных конкретных обстоятельствах. В качестве наиболее характерного примера символической знаковой системы Гидденс рассматривает денежную систему, которую он считает интегральной составляющей современной социальной жизни. Несмотря на то, что уже во многих древних цивилизациях сложились относительно развитые формы денежного обмена, именно пришествие современности привело к появлению дифференцированных и абстрактных форм денежного хозяйства. Развитие современных денежных систем, появление систем электронных денежных платежей и глобальных финансовых рынков сыграло огромную роль в кристаллизации современных форм глобального капитализма.

Вторым типом механизмов «высвобождения» являются *экспертные системы*. Под экспертными системами понимаются системы технического исполнения или профессиональной экспертизы, которые организуют наше материальное и социальное окружение. Несмотря на то, что большинство людей пользуется услугами профессионалов — юристов, архитекторов, врачей и т. д. — лишь

эпизодически, системы, интегральной составляющей которых является экспертное знание, определяют нашу жизнь постоянно. Экспертные системы, равно как и символические знаковые системы, являются механизмами «высвобождения», поскольку они «вычлениают» социальные отношения из их непосредственного контекста. Оба механизма высвобождения предполагают разделение пространства и времени в качестве условия пространственно-временной дистанциации, средством которой они являются. Экспертная система действует также, как и символическая знаковая система, обеспечивая ожиданиям «гарантии» по всему диапазону дистанцированного пространства-времени. Подобное «растягивание» социальных систем достигается за счет внеличного характера тестов, применяемых для проверки технического знания, а также за счет использования публичной критики для контроля над его формами.

Оба механизма высвобождения основываются на *доверии*. Доверие представляет собой такую специфическую форму «веры», которая по самому своему существу связана с институтами современности. При этом доверием облакаются не индивиды, а абстрактные возможности. Например, использование индивидом денежных знаков предполагает, что и кто-либо другой, с кем ему придется вступить во взаимодействие с их помощью, будет приписывать им такую же стоимость. Для современных обществ характерно, что в операциях подобного рода доверие оказывается в первую очередь деньгам, а не индивидам, с которыми производятся денежные расчеты.

В современных обществах, динамизм которых определяется процессами пространственно-временной дистанциации, отношения доверия

приобретают огромное значение. Если бы деятельность людей или функционирование систем, нас окружающих, происходили всегда на наших глазах, а мотивы поступков этих людей и принципы функционирования этих систем были бы для нас понятны и объяснимы, то потребности в доверии не возникло бы. Эта потребность связана с процессом дистанциации в пространстве и во времени. Она возникает, когда в силу возрастающего дистанцирования в пространстве и во времени мы не обладаем всей полнотой необходимой информации. Иными словами, мы вынуждены доверять другим потому, что не располагаем исчерпывающей информацией. Гидденс определяет доверие как «уверенность в том, что индивид или система являются надежными относительно данного множества результатов или событий, причем эта уверенность выражает веру в надежность или любовь другого человека, или в правильность абстрактных принципов (технического знания)»¹. Доверие не просто играет огромную роль в современном обществе в целом. Оно крайне важно для устойчивого функционирования таких механизмов высвобождения, как символические знаковые системы и экспертные системы. Так, чтобы финансовая или правовая системы могли эффективно функционировать, люди должны доверять им. При этом доверие к символическим знаковым системам или к экспертным системам основывается на вере прежде всего в правильность принципов, в соответствии с которыми они построены и функционируют, и которые в то же самое время нам неизвестны, а не на вере

¹ *Giddens A. The Consequences of Modernity. P. 34.*

в «благие намерения» индивидов, занятых их конструированием и обслуживанием.

РЕФЛЕКСИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ

Третий важнейший источник динамизма современности составляет рефлексивный характер современных обществ, в основе которого лежит рефлексивное усвоение знания. О понятии «рефлексивность» можно говорить в самых разных смыслах, поэтому Гидденс отделяет общепринятое понятие «рефлексивности» от более специфического, отражающего характер циркуляции знания в современных обществах. В самом общем смысле рефлексивность можно охарактеризовать как определяющую характеристику человеческого действия. «Рефлексивность» в этом общепринятом понимании означает, что индивиды, действуя, обычно принимают во внимание те мотивы и намерения, которыми они руководствуются в своих действиях. Этот аспект действий индивидов Гидденс называет «рефлексивным наблюдением действия» (*reflexive monitoring of action*), подчеркивая тем самым процессуальный характер происходящего. Рефлексивность в этом первом смысле составляет необходимую основу того типа рефлексивности, который специфическим образом присутствует в современных обществах, хотя и не может быть полностью отождествлен с ним. Это объясняется тем, что с появлением современных обществ рефлексивность приобретает совершенно иной характер. «Рефлексивность современности, — пишет Гидденс, — связана с подверженностью большинства аспектов социальной деятельности [...] постоянному пересмотру в свете новой информации и знания. Такая информация

или знание не являются чем-то второстепенным для современных институтов, но, напротив, конститутивны для них»¹. Рефлексивность в этом втором смысле означает систематическое рефлексивное применение знания к условиям воспроизводства социальной системы, ведущее к изменению условий, к которым оно применяется. «Рефлексивность современной социальной жизни заключается в том факте, что социальные практики постоянно исследуются и перестраиваются в свете растущей информации об этих самых практиках, что приводит к существенному изменению характера последних»². В связи с этим Гидденс подчеркивает, что в современных обществах феномен рефлексивности носит совершенно специфический характер. Все формы общественной жизни отчасти конституируются знанием, которым располагают о них социальные акторы. Поэтому во всех когда-либо существовавших культурах социальная практика обычно изменяется под воздействием новых открытий, проникающих в нее. Однако только в современных обществах пересмотр конвенциональных соглашений, регулирующих человеческую деятельность, радикализуется до такой степени, что оказывается применимым, по сути дела, ко всем аспектам человеческой жизни, включая техническое распоряжение объектами материального мира. В этом плане отличительной чертой современности является скорее не принятие новизны ради нее самой, как полагают многие современные социальные теоретики, а действие рефлексивности в качестве основы воспроизводства социальной системы.

¹ *Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford (Calif.): Stanford University Press, 1991. P. 20.*

² *Giddens A. The Consequences of Modernity. P. 38.*

Успехи естественных наук в сочетании с рационалистическим духом Просвещения способствовали распространению взглядов на социальные науки как на пасынка естественных наук и в то же самое время провоцировали ожидание, что постепенный прогресс в развитии социально-научного знания в итоге приведет к всеобъемлющему контролю над социально-исторической судьбой человечества. Классики социологии полагали, что использование процедур познания, сходных с применяемыми в естественных науках, позволит достичь достоверного социально-научного знания, практическое применение которого будет способствовать существенному расширению контроля человека над природным и социальным миром. Однако, как подчеркивает Гидденс, этим надеждам не суждено было сбыться. В действительности, социальные науки намного теснее связаны с современностью, чем науки естественные, поскольку постоянный пересмотр социальных практик в свете знания об этих практиках является отличительной чертой именно современных институтов. Поэтому тезис классической социологической теории о том, что расширение знания о социальной жизни равнозначно достижению большего контроля на окружающим социальным миром, является ошибочным. Он отчасти справедлив относительно взаимоотношения между естественнонаучным знанием и его практическим применением, с одной стороны, и инструментальным контролем над физическим миром, с другой, однако неприменим к социальному миру. «Расширение нашего понимания социального мира могло бы способствовать более четкому пониманию социальных институтов и, как следствие этого, увеличению “технологического” контроля над ними в том случае, если бы либо общественная жизнь

была совершенно отделена от знания о ней, либо если это знание постоянно проникало бы в мотивы социальных действий, способствуя повышению степени “рациональности” поведения в отношении специфических потребностей¹, — пишет Гидденс. Нельзя сказать, чтобы в современном мире эти два условия не были представлены вовсе, однако масштаб их воздействия на человеческую деятельность оказался совершенно несоизмеримым с тем, который постулировался идеологией Просвещения и классической социологической традицией.

Почему не сбылись надежды мыслителей эпохи Просвещения на то, что практическое применение свободного и автономного разума сможет сделать будущее человеческого рода более предсказуемым и подверженным контролю? На этот вопрос, составляющий один из центральных вопросов современной социальной теории, существует несколько наиболее распространенных ответов. Первый из них связывает несбывшиеся надежды с *ошибками в самом проекте современности*. Современность тесно увязана с развитием абстрактных систем, сделавших возможным «высвобождение» социальных отношений из локальных контекстов по всему диапазону пространства и времени. Поэтому можно предположить, что ошибки при проектировании и создании этих абстрактных систем обусловили сбои в их функционировании и сделали недостижимыми искомые цели социального развития. Тем не менее нет серьезных оснований полагать, будто ошибки в проектировании, коль скоро они связаны с системой социализированной природы, в принципе не поддаются устранению.

¹ Giddens A. The Consequences of Modernity. P. 43–44.

Второе объяснение — это *ошибки операторов*, то есть тех, кто управляет современными абстрактными системами. Всякая абстрактная система, вне зависимости от того, насколько хорошо она спроектирована, может давать сбои в результате ошибок, совершаемых операторами, которые ею управляют. Отличие первого объяснения от второго заключается в том, что ошибки первого типа в принципе устранимы, тогда как недостатки второго типа являются неотъемлемой чертой современных обществ в их зрелом состоянии и определяются прежде всего широким распространением абстрактных систем, лежащих в их основе.

Однако для самого Гидденса более привлекательным выглядит ответ на исходный вопрос, сопряженный с указанием на два других фактора, один из которых он увязывает с воздействием на процессы социальных изменений *непреднамеренных последствий социальных взаимодействий*, а второй — с воздействием на эти процессы *рефлексивно применяемого знания*. Вне зависимости от того, насколько оптимально будут спроектированы социальные системы и насколько эффективно ими будут управлять, последствия, с которыми будет сопряжено создание и применение определенной системы в контексте действия других систем и человеческой деятельности в целом, никогда нельзя полностью предсказать. Одна из причин этого — сложность систем и человеческих действий, из которых складывается ткань мирового общества. Другая же причина сопряжена с рефлексивным применением социального знания.

Эта рефлексивность современной общественной жизни составляет важнейший фактор, препятствующий прогрессирующему увеличению инстру-

ментального контроля человека над окружающей социальной средой. В связи с рефлексивным характером современных обществ Гидденс говорит о «двойной герменевтике», которой отличаются современные социальные науки¹. Вкратце этот тезис означает, что социально-научное знание, которое рефлексивно применяется к условиям системы воспроизводства, внутренне изменяет обстоятельства, к которым оно первоначально относилось. Поэтому само познание социального мира вносит весомый вклад в его нестабильный и изменчивый характер. В современных обществах новое знание, выражающееся в новых понятиях, теориях и открытиях, не только делает социальный мир более понятным для нас, но и изменяет саму его природу, направляя его по новым траекториям развития. Благодаря тому, что новое знание всегда подталкивает социальный мир к движению в новых направлениях, современность и является сокрушительной силой, которая не поддается чьему-либо коллективному контролю.

К этим двум факторам прибавляется еще и третий, связанный с характером интерпретации знания в современной науке. Современность является посттрадиционным порядком, в котором надежность, гарантируемая обычаем и традицией, вытесняется опорой на достоверное, рационально обоснованное знание. Однако увеличение рефлексивности современных обществ не ведет автоматически к улучшению наших знаний и тем самым — к более строгому контролю над окружающим социальным и природным миром. Несмотря на то, что современность ставит на место знания,

¹ По поводу «двойной герменевтики» см.: *Giddens A. The Constitution of Society. P. 284, 374; Idem. The Consequences of Modernity. P. 15–16.*

основанного на традиции, знание, основанное на разуме, социальная рефлексивность скорее подрывает разум в той степени, в какой под разумом принято понимать способность обретать достоверное знание. «Сомнение, отличительная черта современного критического разума, пронизывает собой не только философское сознание, но и повседневную жизнь, и образует общее экзистенциальное измерение современного социального мира»¹. Современность институционализирует принцип радикального сомнения и утверждает, что всякое знание имеет форму гипотезы. Современная наука зависит не от индуктивного накопления знания, а от методологического принципа сомнения. Это означает, что всякое знание принципиально «погрешимо», т. е. может быть пересмотрено в свете новых идей или открытий.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

В самом начале своей книги Гидденс специально оговаривается, что видит своеобразие своей теоретической стратегии в том, чтобы проанализировать современность через призму ее институциональных измерений. Гидденс отмечает, что характерной особенностью подхода большинства социологических направлений к анализу институциональных измерений современности было стремление выделить какое-то одно из его измерений и объявить его главной детерминантой социальных изменений в современных обще-

¹ *Giddens A. Modernity and Self-Identity. P. 3.*

ствах. По этой причине он выражает несогласие с теми классиками социологии, которые пытались свести институциональные аспекты современности к какому-то одному измерению, будь то капитализм у Маркса, индустриализм у Дюркгейма или же западный рационализм у Вебера. По мнению Гидденса, подобные попытки несут на себе следы явного социологического редукционизма, а потому не способны дать адекватную концептуализацию институтов современности. В свою очередь, свою задачу Гидденс видит в том, чтобы дать многомерное изображение современности с социологической точки зрения. Для этого он прибегает к выделению основных институциональных измерений современности. Теоретическое преимущество этого подхода Гидденс усматривает в том, что он позволяет очертить такой образ современности, в рамках которого выявлялся бы автономный режим функционирования отдельных институциональных сфер жизни современного общества.

Согласно Гидденсу, современность определяется четырьмя институциональными комплексами. Первый институциональный комплекс составляет *капитализм*, характеризующийся существованием товарного производства, частной собственности на средства производства, а также наемного труда, то есть номинально свободных работников, лишенных собственных средств производства и вынужденных в силу этого продавать свою рабочую силу собственникам средств производства. Характерной моделью социальной дифференциации при капиталистической организации общества является дифференциация по классовому признаку, при которой социальное положение индивидов определяется прежде всего контролем над возможностями доступа к средствам производства. «Капиталистическое

предприятие зависит в производстве от конкуренции на рынках, а цены являются сигналами для инвесторов, производителей и потребителей»¹.

Второй институциональный комплекс современности — это *индустриализм*, основанный на использовании неживых источников энергии и машинной технологии для массового производства товаров с целью их последующей реализации на рынке для извлечения прибыли. «Главной характеристикой индустриализма является использование неживых источников материальной энергии в производстве благ, связанное с центральной ролью машинной технологии в производственном процессе»². Индустриализм предполагает регулируемую социальную организацию производства в целях координации человеческой деятельности, машин, потребления и выпуска сырья и готовых товаров. Индустриализм как институциональный комплекс свойственен не только массовому производству эпохи «промышленной революции», но и производству эпохи электронного машиностроения. Влияние индустриализма не ограничивается сферой производства, но затрагивает многие аспекты повседневной жизни, такие, как системы транспорта и коммуникации, а также семейную жизнь.

Капиталистическое общество является обществом прежде всего потому, что оно представляет собой *национальное государство*. По мнению Гидденса, административную систему капиталистического государства, равно как и всех прочих современных государств, необходимо интерпретировать с помощью категории координированного контроля над определенной терри-

¹ Giddens A. The Consequences of Modernity. P. 55.

² Ibid. P. 56.

торией, имеющей четко выраженные границы. Существование высокоорганизованных национальных государств, осуществляющих координированный контроль над территорией в рамках своих национальных границ, — это одно из наиболее характерных явлений современности. Ни одно из досовременных государств никогда не достигало такого уровня административной координации, который присущ современным национальным государствам.

Достижение высокого уровня административной координации в современных национальных государствах обусловлено в первую очередь развитием практик надзора и контроля, существенно усилившихся по сравнению с практиками надзора в досовременных обществах. Ссылаясь на французского философа Мишеля Фуко, проанализировавшего в своих работах 1970-х годов практики надзора в рамках так называемого «дисциплинарного общества», Гидденс указывает, что существование развитого аппарата надзора составляет третье институциональное измерение современности наряду с капитализмом и индустриализмом. Такой аппарат возникает только в современных обществах. Как показывает Фуко в целом ряде своих работ, центральное место среди которых занимает книга «Надзирать и наказывать» (1975), на протяжении Нового времени в западном мире происходит не только экономическая рационализация, но также и рационализация политических технологий, технологий власти и технологий господства¹. Самым круп-

¹ Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы [1975]. М.: Ad Marginem, 1999.

ным и важным открытием политической технологии являются «дисциплины», то есть системы непрерывного и иерархизированного контроля над населением. Поэтому общества, неотъемлемой составляющей которых являются развитые системы надзора над населением, Фуко называет «дисциплинарными обществами». Надзор относится к контролю за деятельностью подчиненного населения прежде всего в политической сфере. Он может осуществляться как в прямой (например, в школах, тюрьмах, на рабочих местах и т. д.), так и в косвенной форме. В последнем случае его основой является контроль над информацией.

Наконец, четвертое институциональное измерение модерна — это *контроль над средствами насилия*. Военная сила всегда занимала центральное место в досовременных цивилизациях. Однако в этих цивилизациях центральная власть никогда не была в состоянии на протяжении сколько-нибудь продолжительного времени удерживать в своих руках монопольный контроль над средствами насилия; ее монополия периодически нарушалась вторжениями извне или локальными конфликтами. Кроме того, стабильность правления в традиционных обществах всегда зависела от прочности союзов центральных властей с местными феодалами и военачальниками, которые в военном отношении представляли собой относительно самостоятельную силу. Устойчивая монополия на средства насилия в рамках территориально четко очерченных границ является отличительной чертой именно современных государств. Установление и продолжительное сохранение подобной монополии были бы невозможны без развития современной промышленной системы организации производства, которая обеспе-

чивает как индустриальные методы ведения войны, так и массовое производство вооружений¹.

Подчеркивая, что в институциональном плане современность складывается из нескольких равноправных измерений, Гидденс в то же самое время отмечает, что эти институциональные измерения современности тесно связаны между собой. Капитализм предполагает отделение экономической сферы жизнедеятельности общества от политической в условиях господства рыночной конкуренции. В свою очередь, практики административного надзора имеют огромное значение для всех без исключения типов организации, связанных с развитием современных обществ. Особую роль они сыграли для возникновения современного национального государства, развитие которого было тесно сопряжено с развитием капитализма. Приобретение

¹ В связи с этим Гидденс подчеркивает, что недооценка той роли, которую войны и военная сила играют в условиях современности, составляет один из главных изъянов классической социальной теории. Более того, он указывает, что социологи XX века подхватили идею, имевшую широкое хождение в XIX веке, в частности, в работах Конта и Спенсера, согласно которой в отличие от традиционных обществ, где военная власть занимала одно из центральных мест, современность представлена по преимуществу промышленными и торговыми обществами, миролюбивыми по самой своей природе. «С их точки зрения, — пишет Гидденс, — капитализм (или индустриализм) должны были прийти на смену военным обществам прошлого. Военная власть, таким образом, ассоциировалась не с современными, а с традиционными обществами; экономические же преобразования, которые формируют современность, мыслились как мирные. [...] Тем не менее в некоторых важнейших отношениях это оказалось вовсе не само собою разумеющимся; значение военной власти и вооруженного насилия в современном мире по-прежнему очевидно для всех, за исключением разве что социальных теоретиков» (Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии [1987] // THESIS. М., 1993. Вып. 1. С. 62).

и успешное сохранение монополии на средства насилия со стороны современного национального государства было не в последнюю очередь обусловлено разработкой светского уголовного права наряду с развитием аппаратов надзора и контроля над лицами, чье поведение признавалось «отклоняющимся» от общепринятых норм. Существует также непосредственная связь между военной силой и индустриализмом, одним из проявлений которой является феномен индустриализации войны. Не менее очевидный характер имеет связь между капитализмом и индустриализмом, которые в качестве институциональных измерений современности поддерживают друг друга¹. Более того, несмотря на то,

¹ Тесная связь между индустриализмом и капитализмом диктуется самой внутренней логикой капиталистического предпринимательства, ориентированного на максимизацию прибыли на основе рационального расчета капитала. По этой причине современный капитализм отчаянно нуждается в технологической базе массового производства. Как справедливо отмечал еще Йозеф Алоиз Шумпетер, «капиталистический механизм — это прежде всего механизм массового производства, что означает также и производство для масс. [...] У королевы Елизаветы были шелковые чулки. Капиталистическое развитие обычно состоит не в том, чтобы изготовить большое количество чулок для королевы, а в том, чтобы, затрачивая на их изготовление все меньше и меньше усилий, сделать их доступными для женщин-работниц» (*Шумпетер Й.* Капитализм, социализм и демократия [1942]. М.: Экономика, 1995. С. 109). «Этот процесс, — продолжает Шумпетер, — на первый взгляд ведет к хаосу, убыткам и безработице, однако он всякий раз порождает лавину потребительских благ, поток которых постоянно расширяется и углубляется, увеличивая тем самым реальные доходы потребителей. [...] Иными словами, капиталистический процесс не случайно, а в силу самого своего механизма все более поднимает уровень жизни масс. [...] Капиталистическое производство одну за другой решает все проблемы обеспечения масс различными товарами» (Там же. С. 110–111).

что такие базовые институциональные измерения современности, как капитализм, индустриализм, современное национальное государство и новые средства ведения войны, появляются первоначально на Западе, они постепенно распространяются по всему земному шару, кладя тем самым начало процессу глобализации.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Распространение современных институтов по всему миру, составляющее отправную точку процессов глобализации, является западным феноменом и определяется всеми четырьмя институциональными измерениями современности. Национальные государства концентрируют административную власть более эффективно, чем традиционные политические формы. Благодаря этому даже очень небольшие современные государства могут мобилизовать значительные социальные и экономические ресурсы. Капиталистическое производство, осуществляемое в массовом порядке на промышленной технологической основе, позволяет существенно повысить уровень материального благосостояния широких слоев населения, способствует их интеграции в рамках современного национального государства и выступает гарантом его военной мощи. Сочетание всех этих факторов делает невозможным противостояние незападного мира экспансии Запада, что ведет к возникновению феномена глобализации современности.

Рассматривая феномен глобализации, Гидденс указывает, что в целях адекватного понимания этого феномена идея «общества», означающего целостную социальную систему, должна быть заменена

в рассуждениях социологов иной теоретической перспективой, показывающей, как организована социальная жизнь во времени и пространстве. Тем самым проблема пространственно-временной дистанциации оказывается ключевой для понимания не только современности, но и ее глобализации. Эта теоретическая перспектива фокусирует наше внимание на комплексе отношений между *локальной вовлеченностью* (обстоятельствами соприсутствия) и *взаимодействием на расстоянии* (связями присутствия и отсутствия). В современную эпоху уровень пространственно-временной дистанциации значительно выше, чем в любой предшествующий период, благодаря чему отношения между локальными и глобальными социальными формами и событиями становятся «растянутыми». Глобализация непосредственно сопряжена с этим процессом «растягивания» пространства и времени. Социальные отношения, которые прежде были встроены в локальные контексты, вычлняются из них и организуются по всему диапазону пространства и времени. Процесс дистанциации пространства и времени создает предпосылки для развертывания процесса глобализации, который ведет к такой интенсификации социальных отношений по всему миру, что локальные отношения и события формируются событиями, происходящими за тысячи километров от них. Этот процесс носит диалектический характер, поскольку локальные отношения и события могут развиваться в направлении, прямо противоположном тому, в каком развиваются сформировавшие их глобальные отношения.

Глобализация мыслится Гидденсом прежде всего как перенос институциональных измерений, характерных для западной современности, на другие части света. Поэтому она включает в себя четыре

измерения: мировую капиталистическую экономику, систему национальных государств, мировой военный порядок и международное разделение труда. Именно эти измерения составляют процесс глобализации, который позволяет говорить об определенном, едином для всего мира новом качественном состоянии.

Распространение современных институтов, сложившихся на Западе, по всему миру ведет к парадоксальным последствиям, главным из которых является постепенная утрата развитыми странами Запада мировой гегемонии вследствие того, что современные институты, обладание которыми составляло главное преимущество западных стран в их борьбе за мировое господство, становятся достоянием других стран и народов. Иными словами, Гидденс, в противоположность многим современным социальным теоретикам, в основном левой ориентации, увязывает с феноменом глобализации современности утрату Западом глобального лидерства. Он подчеркивает, что постепенная утрата Западом глобальной гегемонии является обратной стороной процесса распространения возникших на Западе современных институтов по всему миру. В современном мире политическая, экономическая и военная власть, которые обеспечивали Западу его превосходство над другими странами мира в прошлом и которые были основаны на сочленении четырех институциональных измерений современности, по своему потенциалу не отличаются столь радикально, как прежде, от соответствующего потенциала остального мира.

В работах, опубликованных в 1990–2000-х годах, т. е. уже после выхода в свет «Последствий современности», Гидденс расставляет акценты несколько иначе. Здесь он обращает особое внимание

на необходимость выделения двух фаз глобализации: ранней и поздней, или современной. Если отличительной чертой ранней фазы глобализации (XIX — первая половина XX вв.) было распространение базовых институтов современности с Запада по всему миру, то в настоящее время ключевое значение приобретают иные факторы. В беседе с Уиллом Хаттоном Гидденс фиксирует четыре основные тенденции, характерные для современной фазы глобализации¹. Главная из них — это развитие современных средств массовой телекоммуникации и информации, радиус действия которых охватывает весь земной шар, что позволяет осуществлять мгновенную связь между различными частями мира. Помимо этого, имеется еще целый ряд факторов, которые позволяют говорить о наступлении качественно нового этапа глобализации. С их учетом Гидденс полагает, что на нынешнем этапе глобализация складывается из следующих важнейших тенденций:

— революции в мировых средствах массовой коммуникации, которая берет свое начало в 1960-е годы;

— появления «невесомой» экономики, главными составными частями которой являются экономика знания и финансовые рынки;

— глобализацией отмечено развитие мира после 1989 года. «Крушение советского коммунизма — говорит Гидденс, — это, вне всякого сомнения, одно из важнейших событий века»;

— глобализация оказывает колоссальное воздействие на повседневную жизнь, в частности, оно вно-

¹ Anthony Giddens and Will Hutton in *Conversation* // Giddens A., Hutton W. (Eds.). *On the Edge: Living with Global Capitalism*. N. Y.: New Press, 2001. P. 1–2.

сит больше равенства в отношении между мужчинами и женщинами, открывая тем самым перед ними новые жизненные возможности и перспективы¹.

Таким образом, вторая фаза глобализации, которая берет свое начало в 1960-х годах, не является простым повторением первой, суть которой Гидденс видит в распространении четырех институциональных измерений современности на незападный мир. Важнейшим свидетельством начала второй фазы глобализации стало появление новых глобальных средств массовой коммуникации, благодаря которым появилась возможность передавать колоссальные объемы информации по всему миру в режиме реального времени. Это позволило создать новые экономические механизмы, такие, в частности, как глобальные финансовые рынки, которые функционируют 24 часа в сутки. «Нынешняя мировая экономика, привязанная к “электронным деньгам”, существующим только в виде цифр на экране компьютера, не имеет аналогов в прошлом»². Однако благодаря глобальным системам коммуникации изменяется не только глобальная экономика и глобальное информационное пространство, но и наша повседневная жизнь. Появление глобальных систем коммуникации меняет образ жизни и идентичность людей по всему миру. Поэтому глобализацию не следует понимать исключительно как экономический процесс, или же как развитие мир-системы в духе И. Валлерстайна, или же как процесс распространения глобальных институтов. Глобализация ведет к трансформации пространства и времени и к распространению «действия на

¹ Ibid.

² Giddens A. *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*. 2nd ed. N. Y.: Routledge, 2003. P. 9.

расстоянии»; она влечет за собой как глобальные сдвиги, так и изменение личной идентичности индивидов. Таким образом, глобализация не ограничивается созданием крупномасштабных систем, но она влечет за собой также трансформацию локальных и, более того, личных аспектов социального опыта¹.

По словам Гидденса, глобализацию на ее нынешнем этапе не следует считать единым процессом, развивающимся в каком-то одном направлении. В действительности она представляет собой сочетание целого ряда процессов, которые развиваются противоречиво и даже расходятся в противоположных направлениях. Иными словами, если первая фаза глобализации была относительно простым и одновекторным процессом — она сводилась к распространению институциональных измерений современности с Запада на весь мир, то вторая фаза глобализации имеет более сложный и многоплановый характер. Глобализация — это «сложный ряд изменений, сопряженный с разнородными и зачастую противоречивыми последствиями»². Отсюда Гидденс делает вывод, что современный этап глобализации лишь отчасти может быть охарактеризован как процесс *вестернизации*. В действительности нынешний этап глобализации не является простым продолжением экспансии капитализма или Запада. «Краеугольным камнем моей аргументации, — говорит он, — является тот факт, что глобализация сегодня лишь отчасти означает вестернизацию. Безусловно, страны Запада

² Giddens A. Beyond Left and Right — The Future of Radical Politics. Cambridge: Polity Press, 1994. P. 4–5; *Idem*. Runaway World. P. 12–13.

² Giddens A. Beyond Left and Right. P. 81.

или индустриально развитые страны по-прежнему обладают большей степенью влияния на мировые отношения, чем более бедные страны. Но глобализация становится все более децентрализованным процессом, — она не находится под контролем какой-либо группы государств, а тем более крупных корпораций. На Западе ее последствия ощущаются не меньше, чем где бы то ни было»¹.

Гидденс относится к числу тех современных западных социальных теоретиков, которые в целом положительно оценивают направленность, динамику и последствия процесса глобализации. Согласно его точке зрения, глобализация создает новые шансы для стран и народов, которые прежде были лишены какого-либо влияния в мире. Более того, интенсивность подобных процессов дает Гидденсу основание вести речь о «колонизации наоборот» (*reverse colonisation*). Под последней он понимает рост влияния незападных стран Азии, Африки и Латинской Америки на события, происходящие в западном мире, начиная от растущей миграции и распространения нехарактерных для западного мира стилей жизни и ценностных ориентаций и заканчивая интеграцией экономик новых индустриальных стран в мировую систему разделения труда².

Глобализация означает, что мы живем в едином мире, для которого характерно существование мирового капиталистического хозяйства, мировой системы международных отношений, международного военного порядка и системы международного разделения труда. Тем не менее глобализация социальных отношений, процесс

¹ *Giddens A. Runaway World. P. 16.*

² *Ibid. P. 16–17; Idem. Beyond Left and Right. P. 81–82.*

которой был запущен современностью и ее институтами, не сводится к формированию систем мировых институтов, начиная с международной системы разделения труда и заканчивая международной системой национальных государств. Локальные и индивидуальные формы опыта и повседневных взаимоотношений также оказывают влияние на глобализацию и сами испытывают ее воздействие. Таким образом, глобализация не ограничивается большими социальными образованиями и системами, но затрагивает самые интимные и личные аспекты нашей повседневной жизни.

СОВРЕМЕННОСТЬ И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ: ДОВЕРЬЕ, РИСК, БЕЗОПАСНОСТЬ

Обладая потрясающей сокрушительной силой и беспрецедентным динамизмом, современность и ее глобализация ведут к далеко идущим изменениям в повседневной жизни во всех уголках земного шара. Функционирование современного общества немислимо без абстрактных систем, поэтому проблема доверия к ним приобретает жизненно важное значение. Гидденс выделяет два типа отношений доверия: *личные обязательства* (*facework commitments*) и *безличные обязательства* (*faceless commitments*). Они отличаются друг от друга тем, что личные обязательства предполагают непосредственный контакт между людьми в конкретных обстоятельствах пространства и времени, а безличные обязательства не рассчитаны на непосредственное взаимодействие и предполагают действие на расстоянии. В то время как первый тип отношений доверия преобладает в

обществах традиционного типа, второй получает широкое распространение в условиях современности. Он находит свое наиболее характерное выражение в доверии к абстрактным системам. Этот тип доверия отличается тем, что доверием облакаются в первую очередь абстрактные системы, а не конкретные люди. В условиях, когда многие поступки и мотивы людей, действующих в рамках современного сложноструктурированного общества, ускользают от нашего понимания, доверие к абстрактным ожиданиям и возможностям выполняет функцию компенсаторного механизма, уменьшающего степень неопределенности в социальных транзакциях. Подобное доверие к абстрактным системам принимает форму безличных обязательств, основанных на вере в правильность принципов, в соответствии с которыми построены и функционируют абстрактные системы и которые нам, как правило, неизвестны, а не на вере в «благие намерения» индивидов, которые их обслуживают¹. Тем не менее, несмотря на то, что абстрактные системы «секвестрируют» опыт межличностных контактов между людьми, наши отношения с ними не ограничиваются спектром безличных отношений, но включают в себя также контакты с людьми, обслуживающими эти системы в местах, которые Гидденс называет *точками доступа* (points of access) к абстрактным системам. Такие контакты, которые являются местом встречи личных и безличных обязательств, могут иметь решающее значение как для поддержания доверия к абстрактным системам, так и для его утраты.

¹ Giddens A. The Consequences of Modernity. P. 88.

Как формируются отношения доверия в современном обществе? Гидденс высказывает предположение, что чувство доверия и безопасности, которое большинство людей испытывают по отношению к потенциальным рискам и опасностям, исходящим от окружающего мира, объясняется определенными особенностями их индивидуального развития в раннем детстве. Он говорит, что те, кто заботится о ребенке, прежде всего его родители и близкие родственники, делают детям прививку «дозой доверия», которая ослабляет и притупляет экзистенциальное беспокойство и тревогу, вызываемые динамичным и изменчивым характером современной социальной жизни. Этот аспект социализации обеспечивает детей своего рода «защитным коконом», который по мере взросления способствует обретению ими чувства онтологической безопасности и доверия. *Онтологическая безопасность* представляет собой одну из форм ощущения безопасности в широком смысле слова. Она означает, что личность испытывает чувство уверенности в отношении как целостности своей идентичности, так и постоянства социального мира и окружающей среды. Онтологическая безопасность поддерживается прежде всего благодаря рутинным практикам повседневной жизни, требующим от индивидов прежде всего проявления неких стандартизованных навыков и привычек, что делает ход весь обыденной жизни предсказуемым¹. «Однообразие, — пишет Гидденс, — жизненно важно для психологических механизмов, посредством которых в ходе повседневной деятельности

¹ Giddens A. The Consequences of Modernity. P. 98–99; *Idem*. Modernity and Self-Identity. P. 36–47, 167.

в контексте социальной жизни удовлетворяется потребность в надежности или онтологической безопасности»¹.

В современном обществе отношения доверия и онтологической безопасности тесно связаны с проблемами риска. Со вступлением современности в высокую, или зрелую фазу ей пришлось столкнуться с новыми рисками, несущими с собой новые вызовы и угрозы. Несмотря на то, что благодаря развитию абстрактных систем современность устраняет некоторые формы риска, свойственные традиционным обществами, например, массовый голод в результате неурожая или эпидемии чумы (да и то, как правило, по преимуществу в развитых обществах Запада и Востока), она характеризуется собственным «профилем риска», несущим с собой угрозы нового типа, с которыми не были знакомы традиционные цивилизации. Иными словами, досовременные социальные порядки отличает от современных вовсе не отсутствие риска как такового, а его иной «профиль». В современном обществе природные риски играют значительно меньшую роль, чем раньше, а на их место приходят рукотворные риски, связанные с попытками людей вмешаться при помощи технических средств во внешнюю и внутреннюю природу ради ее целенаправленного изменения². Кроме того, «профиль риска» современности

¹ *Giddens A. The Constitution of Society. P. XXIII.*

² Выделение двух форм риска — внешнего и рукотворного — является, по мнению Гидденса, важным условием адекватного понимания современных социальных процессов. «Внешний риск — это риск, причина которого находится вне нас самих; она связана с неизменными особенностями традиции или природы. Его следует отличать от рукотворного риска, т. е. от риска, порожденного влиянием развивающегося знания на окружающий мир. Понятие рукотворного риска относится

предполагает глобализацию и интенсификацию определенных угроз и опасностей. Такова, например, опасность уничтожения человечества в ходе термоядерной войны. Равным образом и изменения в международном разделении труда затрагивают в той или иной степени все страны. Наконец, современность создает целые институциональные среды, такие, например, как финансовые рынки, которые порождают рукотворные риски, оказывающие воздействие на жизнь миллионов людей по всему миру¹.

Обобщая наблюдения Гидденса, Петр Штомпка выделяет четыре объективных фактора, которые, согласно Гидденсу, формируют профиль риска «высокой современности»:

«1) универсализацию риска, т. е. возможность глобальных бедствий, которые угрожают нам всем, независимо от класса, этнической принадлежности, отношения к власти и т. д. (например, ядерная война, экологическая катастрофа);

2) глобализацию риска, который приобретает необычайный размах, затрагивая большие массы людей (например, финансовые рынки, реагирующие на изменения политической ситуации в мировом масштабе; военные конфликты; повышение цен на нефть; соперничество корпораций и т. д.);

3) институционализацию риска, т. е. появление организаций, принимающих его в качестве принципа собственного действия (например, рынки

к ситуациям риска, с которыми нам практически не доводилось сталкиваться в прошлом. Под эту категорию, например, подпадает большинство экологических рисков, связанных с глобальным потеплением» (*Giddens A. Runaway World. P. 26.*)

¹ *Giddens A. The Consequences of Modernity. P. 127–131; Idem. Modernity and Self-Identity. P. 114–126; Idem. Runaway World. P. 20–35.*

инвестиций или биржи обмена, азартные игры, спорт, страхование);

4) возникновение или усиление риска в результате непреднамеренного побочного эффекта, либо эффекта бумеранга, человеческих действий (например, экологическая опасность как следствие индустриализации; преступность и правонарушения как продукт порочной социализации; новые «болезни цивилизации», которые связаны с профессиями или стилем жизни, типичными для современного общества»¹.

В условиях поздней современности меняется не только объективный формат рисков, но и характер их рефлексивного осознания людьми. В условиях распада религиозно-метафизических картин мира они все более осознают угрожающие им риски, тогда как религиозное и магическое знание не в состоянии внушить им прежнее чувство онтологической безопасности. Кроме того, в современном мире все большее число людей начинают отдавать себе отчет в характере рисков, с которыми им приходится сталкиваться. Наконец, растет и понимание того, что даже самые совершенные абстрактные системы обладают ограниченными способностями справляться с рисками нового типа. Все эти моменты рефлексивного осознания глобальных рисков в условиях поздней современности вносят свой вклад в одну из ее главных отличительных характеристик, — нестабильный и постоянно меняющийся ход социальной жизни, справиться с которым зачастую оказывается не по силам не только отдельным индивидам, но и достаточно крупным социальным группам и орга-

¹ Штомпка П. Социология социальных изменений [1993]. М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 117.

низациям. Поэтому проблема *сосуществования с постоянно присутствующими рисками* является одной из главных проблем повседневной жизни в условиях поздней современности.

Изменение конфигурации рисков в условиях поздней современности в глазах Гидденса также служит важным доводом в пользу предложенной им деконтинуистской интерпретации социального развития. Как отмечает Гидденс, ни европейскому Средневековью, ни большинству традиционных культур не была известна концепция риска в ее современном понимании. Лишь в Новое время в Западной Европе понятие риска постепенно завоевывает права гражданства сначала в отношении пространства в связи с мореплаванием, а затем — применительно к банковскому делу. По мнению Гидденса, это парадоксальное обстоятельство объясняется тем, что традиционные культуры, по большому счету, не нуждаются в понятии риска, поскольку в отличие от современности они ориентированы не на будущее, а на прошлое, и потому не испытывают потребности нормативно обосновывать себя при помощи претендующего на универсальную значимость разума. «Понятие риска, — пишет Гидденс, — связано с действенным анализом опасностей с точки зрения будущих возможностей. Оно начинает широко использоваться лишь в обществе, ориентированном на будущее, для которого будущее представляет собой территорию, подлежащую завоеванию или колонизации. Понятие риска предполагает существование общества, активно пытающегося порвать с собственным прошлым, — а это главная характеристика современной индустриальной цивилизации»¹.

¹ Giddens A. Runaway World. P. 22.

Таким образом, подобно немецкому социологу Никласу Луману, также уделявшему большое внимание исследованию проблематики риска в современных обществах¹, Гидденс полагает, что сама возможность отличить категорию риска от опасности или угрозы тесно связана с социальными и институциональными характеристиками современности; в конечном счете она проистекает из осознания того факта, что большинство случайных обстоятельств, влияющих на человеческую деятельность, создаются не Богом или природой, а самими людьми. Кроме того, Гидденс подчеркивает, что в отличие от досовременных обществ для современности не характерно однозначно отрицательное отношение к риску. «Риск, — говорит Гидденс, — всегда необходимо обуздывать, но активное отношение к риску составляет базисный элемент динамично развивающейся экономики и общества, склонного к инновациям»². Таким образом, применительно к развитым современным обществам речь идет скорее не о том, что повседневная жизнь в них становится опаснее, чем в прошлом, а о том, что «в условиях современности как для обыкновенных людей, так и для экспертов в тех или иных областях мышление в понятиях риска и его оценки становится обыденным делом, часто идущим как бы само собой»³.

¹ *Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin: Walter de Gruyter, 1991.*

² *Giddens A. Runaway World. P. 35.*

³ *Giddens A. Modernity and Self-Identity. P. 123–124.*

ЛИЧНОЕ «Я» КАК РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПРОЕКТ

Хотя для современности характерно неоднозначное отношение к риску, неоспоримо то, что в современную эпоху абстрактные системы позволили добиться более высокого уровня безопасности повседневной жизни, чем в прошлом. В современных обществах эта интеграция устоявшейся рутины повседневной жизни с абстрактными системами служит главной гарантией обеспечения онтологической безопасности. В то же самое время подобное положение дел создает новые формы психологической уязвимости и беспокойства, а доверие к абстрактным системам не приносит психологического удовлетворения, сопоставимого с доверием к людям, по той простой причине, что абстрактные системы имеют свойство трансцендировать, или «выносить за скобки» личные отношения и обязательства. Фиксация этого момента имеет принципиальное значение для концептуализации проблемы изменения межличностных и особенно интимных отношений в условиях современности. Гидденс формулирует исходную постановку этой проблемы в виде теоремы, которая гласит: существует прямая и в то же самое время диалектическая связь между тенденцией современности к глобализации и трансформацией межличностных отношений в контексте повседневной жизни. Здесь центральное место опять-таки занимает проблема доверия, но уже не индивидов к абстрактным системам, а индивидов друг к другу. Речь идет прежде всего о том, что в условиях поздней современности «трансформация межличностных отношений может быть проанализирована в терминах строительства механизмов доверия»; кроме того, как констатирует Гидденс, «доверительные отношения

между личностями в этих условиях тесно связаны с ситуацией, в которой конструирование «Я» становится рефлексивным проектом»¹.

Будучи характерной чертой современности, рефлексивность проникает в самую структуру современной личности. Именно это обстоятельство позволяет Гидденсу охарактеризовать современную личность как «рефлексивный проект», основанный на самостоятельном выборе индивидом личностных форм идентичности и жизненного стиля. В этих условиях достижение индивидом тождества своей личности, осуществляемое благодаря разработке траектории собственного «Я», превращается в одну из его важнейших жизненных задач. Ее реализация сопряжена с выбором индивидом своей идентичности среди стратегий и вариантов выбора, предлагаемых абстрактными системами. «Чем больше традиция теряет свою силу, — подчеркивает Гидденс, — и чем больше повседневная жизнь определяется диалектическим взаимодействием между локальным и глобальным, тем больше индивиды вынуждены принимать во внимание выбор жизненных стилей в контексте большого количества вариантов»².

Многообразие вариантов выбора, с которыми индивиды сталкиваются в условиях поздней современности, продиктовано несколькими факторами³. Во-первых, в современном обществе традиция перестает быть источником жизненных ориентаций. По словам Гидденса, «общество, живущее “по ту сторону” природы и традиций, — а таковы сегодня практически все страны Запада, — требует

¹ Giddens A. The Consequences of Modernity. P. 114.

² Giddens A. Modernity and Self-Identity. P. 5.

³ Ibid. P. 81–85.

самостоятельных решений, в том числе и в повседневной жизни»¹. Во-вторых, в современном мире имеет место «плюрализация жизненных миров» (Питер Бергер). Многообразный и фрагментированный характер современного общества находит свое выражение как в институциональном разделении на публичную и частную сферы, так и в формировании множества сред действия, или *секторов жизненного стиля*, каждый из которых имеет дело с каким-то одним «срезом» пространственно-временной деятельности людей. «Жизненные стили обычно соотнесены с особыми средами действия и одновременно являются средствами их выражения. Поэтому выбор жизненного стиля часто оказывается сопряженным с погружением именно в какую-то определенную среду за счет всех остальных»². В-третьих, современное общество — это посттрадиционное общество, в котором методическое сомнение играет конститутивную роль. Поэтому даже самые высокие авторитеты имеют право претендовать на доверие лишь после того, как они будут подвергнуты тщательной критической проверке. «Хроническая» рефлексивность современности приводит к постоянной девальвации старых и к появлению новых авторитетов, которые борются между собой за признание аудитории (в медицине, диетологии, психотерапии, на финансовых рынках и на рынках экспертных услуг и консалтинга и т. д.). Наконец, огромную роль играют глобальные средства массовой информации, в мгновение ока доносящие до самых отдаленных уголков земли новейшие тенденции в моде, стилях жизни, моде-

¹ Giddens A. Runaway World. P. 46.

² Giddens A. Modernity and Self-Identity. P. 83.

лях поведения, жизненных ориентациях, кулинарных рецептах и т. д. Благодаря совокупному действию всех этих факторов современность создает для индивидов гораздо большую свободу выбора, чем традиционные социальные порядки.

Особый интерес представляет прослеженное Гидденсом в его работах влияние социальных, культурных и мировоззренческих изменений на стили и образ жизни индивидов в современном мире. Гидденс полагает, что процессы глобализации ведут к распространению по всему миру глобальной культуры и космополитического мировоззрения. По его мнению, современное общество может быть охарактеризовано как посттрадиционное общество, в котором индивиды располагают широким диапазоном возможностей для конструирования и реконструкции своей самоидентичности. Это становится возможным прежде всего благодаря циркуляции в мировой информационной сфере множества альтернативных стилей жизни, которые становятся известны индивидам благодаря деятельности глобальных средств массовой информации. В результате в современном обществе идентичность индивидов конституируется иначе, чем в традиционной культуре, где она обычно определялась такими не зависящими от него социальными факторами, как раса, возраст, пол, классовая, сословная или этническая принадлежность и т. д. Напротив, в условиях высокой современности, когда «у нас нет иного выбора, кроме постоянного выбора», индивиды вынуждены самостоятельно выбирать свой жизненный стиль, под которым Гидденс понимает «более или менее объединенное множество практик, используемых индивидом»¹. Эти практики не только позволяют индивиду удовлетворять

¹ Ibid. P. 81.

свои потребности, но и придают определенную материальную форму его повествованию о своей идентичности.

Гидденс уделяет особое внимание характеристике средств, при помощи которых процесс конструирования самоидентичности приобретает характер «рефлексивного проекта»¹. Личность не является неким «ставшим» состоянием индивида, но, напротив, тем, что он сам из себя делает; она складывается в процессе своего становления. В свою очередь, становление личности находит свое выражение в рефлексивном выборе индивидом определенной жизненной позиции, придерживаясь которой, он мог бы вести повествование о себе самом. Личность выстраивает траекторию своего развития от прошлого к предвосхищаемому будущему, которая основывается на идее многоэтапного жизненного цикла. При этом целостность самоидентичности личности опирается на связность ее автобиографического повествования, вне зависимости от того, артикулировано оно на дискурсивном уровне или нет. Подобное автобиографическое повествование «лежит в основе самоидентичности в условиях современной жизни»². Наконец, нравственная самореализация личности выражается прежде всего в достижении аутентичности «Я», т. е. его верности самому себе. Достижение индивидом внутренней аутентичности «Я» является необходимым условием обретения им такой степени базового доверия к самому себе и миру, с помощью которого жизненный цикл может пониматься как цепь внутренне связанных событий, а не просто как череда сме-

¹ *Giddens A. Modernity and Self-Identity. P. 75–81.*

² *Ibid. P. 76.*

няющих друг друга явлений. Рефлексивно упорядоченное повествование о самоидентичности дает нам возможность придать смысл нашему жизненному пути. Этот процесс требует трезвой интерпретации и оценки прежнего жизненного опыта, а также умения отличать истинное «Я» от ложного.

Особое место в рамках рефлексивного проекта «Я» занимают вопросы развития тела и целенаправленного переусвоения телесных процессов. В эпоху высокой современности рефлексивность распространяется не только на человеческое «Я», но и на телесность индивида, делая из него неотъемлемую часть рефлексивного проекта личности и подчиняя его самым разнообразным телесным практикам — диетическим, медицинским, спортивным и т. д. Если прежде тело было одним из проявлений природы и подчинялось законам, которые в основном находились вне человеческого контроля, то теперь оно, подобно человеческому «Я», стало местом пересечения самых разных взаимодействий, присвоения и переусвоения, точкой схождения рефлексивно организованных процессов и экспертного знания, а также объектом рефлексивной обработки¹. Рефлексивность в данном случае означает способность индивида оценивать степень успеха в формировании собственного образа и в случае необходимости вносить в него определенные коррективы. В связи с этим Гидденс указывает на различные телесные режимы как на особые практики, при помощи которых мы контролируем свои телесные потребности и формируем образ своего тела в собственных глазах и в глазах окружающих. В качестве примера он приводит привычки питаться, одевать-

¹ *Giddens A. Modernity and Self-Identity. P. 217–220.*

ся и сексуальные отношения как телесные режимы, подчиненные различным формам самоконтроля. При помощи различных телесных режимов мы стремимся контролировать наше тело ради того, чтобы оно стало неотъемлемой частью нашей самоидентичности как рефлексивного проекта. В современном мире как жизненные планы, так и выбор жизненного стиля объединяются в единое целое с режимами тела, вследствие чего «в условиях поздней современности тело во всё возрастающей степени социализируется и вовлекается в рефлексивную организацию социальной жизни»¹. В итоге соответствующие социальные изменения ведут не только к рефлексивной перестройке человеческой телесности, но и к масштабной трансформации межличностных и интимных отношений.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ

В эпоху высокой современности в области интимной жизни происходят важные изменения, связанные как с увеличением рефлексивности социальной жизни, так и с расширившимися возможностями выбора, в том числе и выбора партнеров. В «Последствиях современности» эта тема только намечена пунктиром, а более детальное освещение она получает в последующих работах Гидденса 1990-х годов, прежде всего таких, как «Современность и самоидентичность» (1991) и «Трансформация интимности» (1992). Для того, чтобы показать революционный характер изменений, происходящих в течение последних десяти-

¹ *Giddens A. Modernity and Self-Identity. P. 98.*

тилетий в сфере сексуальной и интимной жизни, Гидденс использует кластер из трех взаимосвязанных понятий: «пластическая сексуальность», «чистые отношения» и «любовь-слияние».

Главный тезис Гидденса заключается в том, что в повседневной жизни развитых стран Запада на протяжении нескольких последних десятилетий произошла настоящая сексуальная революция, которая знаменовала собой переход от иерархических и патриархальных отношений к более равноправным и доверительным отношениям между индивидами. Гидденс полагает, что эти изменения обладают колоссальным освободительным потенциалом, благоприятствующим демократизации личной и социальной жизни. По его словам, «изменения, касающиеся интимности, подразумевают всестороннюю демократизацию сферы межличностных отношений таким образом, который целиком совместим с демократией в публичной сфере»¹.

Сексуальная революция последних десятилетий была связана с появлением феномена «пластической сексуальности» (*plastic sexuality*), т. е. сексуальности, не связанной напрямую с биологическим воспроизводством. Отделение сексуальности от потребностей биологического воспроизводства приводит к ее независимости от модели гетеросексуальных отношений и к превращению сексуальности в свойство, которым индивид «обладает» и которое он может культивировать, рефлексивно выстраивать и изменять в качестве момента своей личной идентичности. В сочетании с рефлексивным проектом «Я» «пластическая сексуальность» создает

¹ *Giddens A. The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Stanford (Calif.): Stanford University Press, 1992. P. 3.*

условия для полной перестройки интимной жизни. «"Сексуальность", — говорит Гидденс, — была сегодня обнаружена, раскрыта и сделана доступной для развития различных жизненных стилей. Это нечто такое, чем "обладает" или что культивирует каждый из нас, а вовсе не естественное условие, которое индивид принимает как предопределенный порядок вещей. Каким-то способом, который еще предстоит изучить, сексуальность функционирует как поддающаяся развитию черта личности, которая выступает в качестве определяющего связующего звена между телом, самоидентичностью и социальными нормами»¹. Смыслом этого переворота является освобождение «сексуальности от власти фаллоса, от самоуверенной важности мужского сексуального опыта»². В рамках пластичной сексуальности построение сексуальной идентичности становится рефлексивным проектом.

В центре этой трансформации интимной жизни, ознаменованной сексуальной революцией последних десятилетий, находятся так называемые «чистые отношения» (*pure relations*), т. е. отношения, в которые индивиды вступают и которые они поддерживают ради них самих, а не ради каких-то привходящих выгод (материальных, символических и т. д.). Гидденс полагает, что в обществе позднего модерна меркантильные экономические соображения перестают играть роль ключевого социального фактора, определяющего отношения между мужчинами и женщинами. В современных условиях интимные отношения чем дальше, тем больше начинают строиться на «чистой» основе. Это

¹ *Giddens A. The Transformation of Intimacy. P. 15.*

² *Ibid. P. 2.*

означает, что выбор партнера по интимной связи или брачному союзу определяется теперь не логикой экономической целесообразности или соображениями социального престижа, а сексуальными и эмоциональными соображениями. Поэтому отличительной чертой «чистых связей» является их самоценность. Чистые отношения складываются в ситуации, «когда в социальные отношения вступают ради них самих, ради того, что одно лицо может извлечь из длительной ассоциации с другим лицом. Чистые отношения длятся до той поры, пока лица, принимающие в них участие, получают достаточно удовлетворения для того, чтобы продолжать их поддерживать»¹.

Происхождение «чистых отношений» связано с отделением домашнего хозяйства от экономической деятельности в ходе становления современной рыночно-капиталистической экономики. Следующий этап — это отделение сексуальных отношений от биологического воспроизводства, которое стало возможным благодаря развитию новых средств контрацепции. Именно в этих условиях появляются такие новые явления, как «пластическая сексуальность» и «любовь-слияние». Сегодня, как полагает Гидденс, не только отношения между полами, но и между родственниками и друзьями дрейфуют в сторону приближения к стандартам чистых отношений, создавая почву для утверждения в них демократических идеалов и новых форм авторитета. Это означает, что не только сексуальные отношения, но и отношения дружбы, а также отношения родителей, детей и родственников во все большей степени

¹ Giddens A. The Transformation of Intimacy. P. 58.

зависят от отношений, которые «вырабатываются» благодаря заинтересованному сотрудничеству партнеров.

Важным моментом в становлении чистых отношений было появление в XIX веке феномена «романтической любви», которое позволило по-новому взглянуть на отношения между мужчинами и женщинами. «Идеалы романтической любви, — говорит Гидденс, — в течение долгого времени вдохновляли в большей мере женщин, нежели мужчин, хотя, конечно, мужчины также не могли не испытать их влияния. Этос романтической любви имел двойное воздействие на положение женщины. С одной стороны, он помог поставить женщину “на свое место” — в дом. Однако, с другой стороны, романтическую любовь можно считать активной и радикальной связью с «маскулинностью» современного общества. Романтическая любовь предполагает, что может установиться длительная эмоциональная связь с другим на основе определенных качеств, присущих самой этой связи. Эта любовь выступает предвестником чистых отношений, хотя в то же самое время она находится с ними в конфликте»¹. Несмотря на то, что в контексте романтической любви женщина занимает подчиненное положение, этот тип любви нельзя считать результатом заговора мужчин, поскольку «распространение идеалов романтической любви и материнства позволило женщинам развить новые области интимной жизни»².

Согласно Гидденсу, сегодня в рамках «чистых отношений» на место любви романтической приходит «любовь-слияние» (*confluent love*), т. е. созна-

¹ *Giddens A. The Transformation of Intimacy. P. 2.*

² *Ibid. P. 41–42.*

тельно выстраиваемые отношения любви. Главная особенность любви-слияния заключается в том, что она требует постоянного эмоционального подтверждения со стороны партнеров.

Появление феномена любви-слияния обусловлено целым рядом социальных перемен: демократизацией отношений между мужчинами и женщинами, упадком института традиционного брака и семьи, а также постепенной утратой гетеросексуальными отношениями статуса господствующей модели интимных отношений. Для феномена любви-слияния определяющими являются следующие моменты: запрет на использование партнерами насилия и на жестокое обращение друг с другом; культивирование взаимного уважения, а также стремление к достижению баланса между правами и обязанностями, которые сегодня выступают в качестве предмета для переговоров. В рамках любви-слияния сексуальная идентичность отрывается от пола и основывается на личном выборе индивидом своего жизненного стиля. В то время как романтическая любовь была преимущественно любовью гетеросексуальной, фиксированной и любовью раз и навсегда, «на всю оставшуюся жизнь», современная любовь-слияние часто является гомосексуальной, рискованной и преходящей.

Как подчеркивает Гидденс, сегодня демократизация личной жизни зависит от распространения чистых отношений, причем не только в сексуальных связях, но и во многих иных областях жизни. В авангарде этого освободительного движения идут женщины, эти «эмоциональные революционерки современности»¹, как их называет Гидденс,

¹ *Giddens A. The Transformation of Intimacy. P. 130.*

однако результаты этого движения имеют значение для всех. «Демократизация частной сферы, — говорит Гидденс, — сегодня не только стоит на повестке дня, но и является неявным качеством всей личной жизни, которая проходит под эгидой чистых отношений. Поощрение демократии в публичной сфере было первоначально мужским проектом, в котором женщины в конечном счете ухитрились принять участие, в основном благодаря своей собственной борьбе. Демократизация личной жизни — это менее заметный процесс, отчасти благодаря тому, что он происходит не в публичном пространстве, однако его последствия столь же серьезны. Это процесс, в котором женщины играют главную роль, даже если достигаемые в результате выгоды доступны каждому»¹.

СЕКВЕСТР ОПЫТА И МОРАЛЬНО- ПРАКТИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ ПОЗДНЕЙ СОВРЕМЕННОСТИ

Одним из наиболее важных и тревожных последствий возрастающей рефлексивности социальной жизни в условиях поздней современности становится невозможность сформулировать внятные ответы на ключевые моральные вопросы. В силу этого *утрата смысла жизни* оказывается важнейшей отличительной чертой психологического климата поздней современности. По мнению Гидденса, утрата современной социальной жизнью смысла является следствием секвестра индивидуально-го опыта, т. е. процесса удаления из практики по-

¹ Giddens A. The Transformation of Intimacy. P. 184.

вседневной жизни всех тех форм морального опыта, которые ведут к постановке экзистенциальных вопросов и тем самым угрожают психологическому комфорту личности. К числу таких форм опыта относятся, в частности, безумие, преступность, болезни, смерть, сексуальные отношения и природа. В результате секвестра опыта «происходит *подавление базисных моральных и экзистенциальных компонентов человеческой жизни*, которые, по сути дела, вытесняются на ее обочину»¹.

Секвестр опыта является следствием масштабного проникновения в повседневную жизнь абстрактных систем. Последние, обеспечивая современному человеку высокий уровень личной безопасности и материального комфорта, в то же время ограничивают вероятность его столкновения с основополагающими проблемами человеческого существования — вопросами жизни и смерти, болезни и безумия, что приводит к растущему ощущению людьми бессмысленности их существования. Эта опасность утраты смысла жизни частично компенсируется рутинными практиками повседневной жизни, которые поддерживают онтологическую безопасность личности. Речь в данном случае идет о том, что потенциально взрывоопасные для существования личности темы «разряжаются» благодаря размеренному течению повседневных практик в рамках самореферентных социальных систем².

¹ Giddens A. Modernity and Self-Identity. P. 167.

² Ibid. P. 201–202. Гидденс определяет «рутинизацию» как «привычный, само собой разумеющийся характер самых разнообразных форм деятельности повседневной социальной жизни; преобладание знакомых стилей и форм поведения, как поддерживающих, так и поддерживаемых чувством онтологической безопасности» (Giddens A. The National-State and Violence. P. 386).

Иными словами, Гидденс относит секвестр важнейших форм морального опыта на счет внутренней референтности социальных систем в условиях поздней современности. Наступление поздней современности означает «конец природы» и «конец традиции» в том смысле, что естественный мир чем дальше, тем больше утрачивает внешний по отношению к человеку и обществу характер и из «естественного» превращается в «созданный» наукой и техникой, а традиция перестает быть главным нормативным регулятором социальной жизни. В итоге как разделение на естественную и социальную среды, так и нормативное значение традиции теряют смысл в контексте поздней современности, которая выступает в качестве единой самореферентной системы, нечувствительной к внешним стимулам. «Общая направленность современных институтов, — говорит Гидденс, — заключается в том, чтобы создавать такие условия для действия, которые укладывались бы в логику собственной динамики современности и были избавлены от “внешних критериев”, т. е. от факторов, внешних по отношению к социальным системам современности. Несмотря на многочисленные исключения и противоположные тенденции, повседневная социальная жизнь имеет свойство отделяться от “исходной” природы и от разнообразного опыта, сопряженного с экзистенциальными вопросами и дилеммами. [...] Секвестр опыта означает, что для многих людей непосредственные контакты с событиями и ситуациями, связующими индивидуальный жизненный цикл с широким кругом проблем морали и конечности, являются редкими и мимолетными»¹.

¹ Giddens A. *Modernity and Self-Identity*. P. 6.

Правда, Гидденс выражает надежду на то, что поздняя современность принесет вместе с собой тенденцию к моральной переоценке опыта повседневной жизни, тем самым приведет к своего рода «моральному возрождению», вновь поставив во главу угла жизненного пути современной личности моральные и экзистенциальные вопросы. Возможность такого поворота событий обусловлена масштабными социальными изменениями последних десятилетий, не последнее место в ряду которых занимает впечатляющий подъем «новых социальных движений» — экологических, феминистских, альтерглобалистских и т. д. Именно с бурным ростом этих движений Гидденс связывает шансы на то, что институционально секвестированные и оттесненные на обочину повседневной жизни экзистенциальные и моральные вопросы снова выйдут на первый план социальной жизни современности. На этом основании Гидденс проводит широкое различие между вопросами «освободительной политики» старого типа и новой «жизненной политикой», которой, по его мнению, принадлежит будущее. Жизненная политика — это политика самоидентичности, центрированная на моральных вопросах, прежде подвергавшихся институциональной репрессии со стороны современности.

ПОЛИТИКА ОСВОБОЖДЕНИЯ И ЖИЗНЕННАЯ ПОЛИТИКА

Традиционно в политической повестке дня современности преобладали вопросы *политики освобождения*, характерные как для промышленных капиталистических обществ современности,

так и для всех прочих стран. Освободительная политика в западном мире выходит на первый план благодаря «двойной революции» (Эрик Хобсбаум) — Французской социально-политической и Английской промышленной, заложившей основы нового мира. В контексте европейской политики на протяжении двух последних столетий политическое мировоззрение как левых, так и правых определялось прежде всего отношением к политике освобождения. Последняя же ставила во главу угла завоевание свободы во всем многообразии ее проявлений: свободы от традиции и от уз прошлого; свободы от произвола властей; свободы от материальной нищеты и дискриминации. Политика освобождения — это политика жизненных шансов, ее целью является увеличение автономии социального действия.

Политика освобождения, которая красной нитью проходит через современную эпоху, складывается из двух элементов: из стремления покорить и преобразовать внешнюю природу для создания комфортных материальных условий повседневного существования и из попыток упразднить господство человека над человеком. Соответственно, освободительная политика в современном мире развивалась в двух направлениях: в направлении освобождения человека от внешних социальных авторитетов через личностное самоопределение с помощью критического использования разума и в направлении избавления от ограничений, налагаемых на человека внешней природой через ее научную объективацию и техническое использование этой природы на основе достижений естественных наук.

Освободительная политика ориентирована на упразднение отношений эксплуатации, неравен-

ства и угнетения. Она вдохновляется идеалами справедливости, равенства и демократического участия. Будучи связанной прежде всего с преодолением социальных отношений эксплуатации, неравенства и угнетения, освободительная политика была прежде всего «политикой от», а не «политикой для»; она была призвана создать условия для свободного развития индивидов и групп, нежели содержательно задать векторы этого развития. Если попытаться выразить с помощью одной формулы принцип, лежащий в основе различных форм политики эмансипации, то можно сказать, что это — *принцип автономии*. Эмансипация означает, что социальная жизнь организована таким образом, что индивид способен к свободному и самостоятельному действию в социальном мире. Благодаря реализации освободительной политики индивид освобождается от ограничений, накладываемых на его действия отношениями эксплуатации, неравенства и угнетения, однако тем самым он вовсе не становится свободным в абсолютном смысле. Свобода индивида предполагает уважение к свободе других, а также готовность к исполнению общих обязательств и поддержанию уз социальной солидарности¹.

Несмотря на то, что освободительная политика и сегодня в значительной продолжает формировать повестку дня современности, ей приходится сталкиваться с новыми вызовами, обусловленными как утратой традициями их символической и нормативной силы, так и процессами превращения природы из «естественной» в «сотворенную» среду обитания и социальной деятельности человека. Эти вызовы

¹ Giddens A. Modernity and Self-Identity. P. 210–214.

требуют появления нового типа политики — *жизненной политики*. В отличие от освободительной политики жизненная политика центрирована не на условиях, при которых появляется возможность достичь автономии действия, а на самой этой автономии и ее содержательных характеристиках. «Она связана со спорами и конфликтами по поводу того, как индивидам и коллективам жить в мире, в котором прежде неизменные природа и традиция стали сегодня объектом человеческих решений»¹. Жизненная политика — это политика самоактуализации личности в рефлексивно организованном социальном мире, где благодаря рефлексивности человеческое «Я» и тело подключаются к глобальным системам. Обращение к жизненной политике позволяет понять, почему в современном мире огромное значение приобрели новые общественные движения — экологическое, феминистское, альтерглобалистское и т. д. Речь идет о том, что они возникли и получили развитие в мире, где традиция в качестве «естественной» нормы, а природа — в качестве «естественной» среды обитания человека утратили прежнее значение.

Жизненная политика в качестве четко очерченного круга проблем и возможностей появляется только в эпоху высокой современности. Ее главная задача заключается в предвосхищении будущих форм социального порядка, альтернативных существующим. В политической жизни жизненная политика ориентируется на принятие таких политических решений, которые способствовали бы расширению спектра общественно-политических альтернатив и генерировали соответствующие со-

¹ Giddens A. Beyond Left and Right. P. 14–15.

циальные изменения. В социальной жизни она направляется на создание морально оправданных форм совместной жизни, поощряющих самореализацию «Я» в глобальном контексте. В современном мире жизненная политика подчинена идеалам благой жизни, отвечающим на вопросы о том, как нам следует жить в постоянно меняющемся мире перед лицом неотложных моральных и экзистенциальных проблем.

«УТОПИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ» И КОНТУРЫ РАДИКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Несмотря на то, что современный мир не поддается всеобъемлющему контролю со стороны человеческого рода, выдвижение альтернативных образов будущего в силу рефлексивного характера современности способно внести свой вклад в формирование нового мирового порядка. Поэтому на основе концепции зрелой современности Гидденс предлагает парадоксальную по своим следствиям модель *утопического реализма*, призванную соединить в своих рамках утопические идеалы и реальные тенденции социального развития. Он формулирует несколько базисных критериев, которым должна удовлетворять критическая теория, ориентированная на модель утопического реализма. Во-первых, такая критическая теория общества будущего должна быть *социологически чувствительна* к тем институциональным возможностям, которыми располагают современные общества. Во-вторых, она должна быть *тактически осмотрительна с геополитической точки зрения*; прежде всего, она должна отдавать себе отчет в том, что в современном мире с высокими профилями риска проведение политики на основе этики убеждения

чревато серьезными отрицательными последствиями. В-третьих, она должна стремиться к созданию *моделей благого общества*, которые не были бы ограничены ни рамками национального государства, ни институциональными измерениями современности. Наконец, в-четвертых, в основе критической теории нового типа должно лежать осознание тесной связи между *политикой освобождения и жизненной политикой*. Гидденс полагает, что в современном мире политика освобождения может достичь успеха только в сочетании с жизненной политикой, направленной на создание для всех людей условий гармоничной и приносящей удовлетворение жизни. По мнению Гидденса, различие между освободительной политикой и жизненной политикой представляет собой не что иное, как новую версию старого различия между «свободой от» и «свободой для», однако «свобода для» в современном мире должна быть развита в рамках системы координат утопического реализма¹. В современном мире резко возрастает запрос на такую *радикальную политику*, в рамках которой эмансипаторные устремления, направленные на устранение неравенства, эксплуатации и дискриминации, дополнялись бы новой повесткой дня, ориентированной на самореализацию личности и рефлексивное выстраивание ее идентичности в русле жизненной политики.

Контуры радикальной политики, вращающиеся вокруг идеи поиска «третьего пути», основанного на преодолении традиционного деления политического поля на правый и левый фланги и ориентированного на построение общества, лишенного недостатков как капитализма, так и «реального

¹ Giddens A. The Consequences of Modernity. P. 156.

социализма», Гидденс набрасывает в своей работе «По ту сторону правого и левого: Будущее радикальной политики» (1994). Здесь он намечает основные вехи политики «утопического реализма», которая, по его мнению, складывается из следующих пунктов¹.

— Необходимо, как подчеркивает Гидденс, стремиться к «восстановлению пострадавших форм солидарности», для чего может потребоваться избирательное сохранение и даже возрождение прежних традиций. Речь в данном случае идет не о возрождении гражданского общества, идее крайне популярной в 1990-е годы, а о такой перестройке условий индивидуальной и коллективной жизни, которая приведет не только к социальной дезинтеграции, но и к появлению новых форм солидарности, в рамках которых имело бы место *сочетание автономии и взаимной зависимости* индивидов в различных сферах социальной жизни, включая и экономику. В будущем жизненная политика будет занимать все более важное место в современной политической и социальной жизни.

— В современном мире на первый план чем дальше, тем больше будет выходить *порождающая политика* (*generative politics*). Этот тип политики разворачивается в социальном пространстве и связывает государство с рефлексивной мобилизацией, происходящей в обществе. Порождающая политика призвана обеспечивать материальные условия и организационные средства для индивидов и групп в рамках социального порядка. Она требует активного доверия к государству и его институтам и является жизненно необходимой для их функционирования

¹ Giddens A. *Beyond Left and Right*. P. 12–20.

в части решения задач, связанных с преодолением нищеты и социального неравенства.

— Глобализация современного социального порядка показывает ограниченность либеральной демократии и требует дальнейшей и более радикальной демократизации политики, ориентированной на модель *диалогической демократии*. Эта последняя должна сочетать в себе два аспекта: с одной стороны, служить средством репрезентации общественно значимых интересов, а с другой — способствовать конституированию публичного пространства, в котором спорные вопросы могли бы решаться посредством открытого диалога заинтересованных сторон, а не с помощью применения насилия.

Распространение диалогической демократии должно составить одну сторону *демократизации демократии*. Другая сторона этого процесса связана со взлетом и усилением новых социальных движений, что, в свою очередь, ведет к интенсификации социальной рефлексивности как на национальном, так и на глобальном уровне. Одно из главных достоинств этих движений заключается в том, что они проблематизируют спорные вопросы, связанные с разрушением окружающей среды, гонкой вооружений или кризисом социального государства, которые прежде редко становились предметом общественного диалога.

— Кризис социального государства сегодня у всех на слуху, и здесь невозможно ограничиться исключительно защитными реакциями, что характерно для многих приверженцев социалистических взглядов. В рамках радикальной политики необходимо будет по-новому переосмыслить значение и роль социального государства. Главное, что придется при этом учесть — это то, что социальное государство в

развитых странах Запада сформировалось в условиях «классового компромисса» и экономического бума 30 послевоенных лет (1945–1975), однако в 1990-е годы прежние обстоятельства кардинально изменились. Критика, в том числе и шедшая с неолиберальных позиций, показала, что социальное государство в его современном виде не может ни справиться с проблемой бедности, ни добиться масштабного перераспределения общественного богатства. Тем не менее Гидденс требует не демонтажа, а перестройки современного социального государства, главной целью которого должно стать укрепление отношений социальной солидарности как на уровне классов, так и на уровне семейной и интимной жизни.

— Наконец, радикальная политика призвана если не покончить с *насилием*, то по крайней мере способствовать снижению его роли в социальной жизни. В современном мире участились конфликты между ценностными системами, однако существует не так много средств для их решения. Гидденс перечисляет четыре: *изоляция*, предполагающий отказ от общения и взаимодействия с индивидами или группами, которые не разделяют ваших ценностей; добровольный уход в *изгнание*; диалог, рассчитанный на достижение взаимного понимания; *применение насилия* для разрешения конфликта. «В глобализирующемся обществе, в котором мы сегодня живем, — говорит Гидденс, — первые две из этих четырех возможностей оказались коренным образом ослаблены. Ни одна культура, государство или большая группа людей не может рассчитывать на то, что ей удастся изолировать себя от глобального космополитического порядка; и даже несмотря на то, что изгнание бывает возможно в отдельных ситуациях для некоторых индивидов, оно недоступно

для больших социальных сообществ»¹. Поэтому, если насилие исключается из числа средств разрешения конфликтов, то в этом случае, как полагает Гидденс, диалогу как средству мирного сосуществования людей в мире, где в избытке хватает соперничающих ценностных систем и моральных идеалов, не остается альтернативы.

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

Концепция современности, разработанная Гидденсом и представленная в работах начала 1990-х годов, в дальнейшем послужила теоретической основой для его концепций рефлексивной модернизации и глобализации. В то же самое время публикация «Последствий современности» спровоцировала острую полемику вокруг концепции современности, предложенной автором, в ходе которой в ее адрес был высказан целый ряд серьезных критических замечаний, без учета которых оценка значения данной концепции была бы неполной. Поэтому в заключительной части нашей статьи мы остановимся на тех моментах концепции современности Гидденса, которые представляются теоретически спорными или же, по крайней мере, вызывают серьезные сомнения у современных социальных теоретиков и исследователей, работающих в области социальных наук.

Культурные и акультурные теории современности. Пожалуй, главный недостаток концепции современности Гидденса заключается в том, что она относится к числу «акультурных» теорий современности. Различие между «культурными» и «акуль-

¹ Giddens A. Beyond Left and Right. P. 19.

турными» теориями современности было введено канадским философом и социальным теоретиком Чарльзом Тэйлором в целях картографирования теоретических построений по поводу природы современного мира¹. Согласно Тэйлору, в современном социально-научном знании существует два способа понимания современного общества и его отличия от предшествующих обществ и культур. «Культурные» теории современности характеризуют трансформации, которые привели к появлению современного западного мира, через призму формирования новой культуры, где западная современность выступает как определенная культура или семейство культур, отличающихся сходным пониманием таких культурных категорий, как личность, природа, общее благо, рациональность и т. д. В противоположность «культурной» теории современности, «акультурная» теория современности описывает процессы модернизации в культурно-нейтральных понятиях. В этом случае модернизационные процессы понимаются не в категориях специфической культуры и ее ресурсов, а рассматриваются скорее как некий общий тип или вектор изменений, которые суждено испытать всякому традиционному обществу или культуре. Именно такова попытка Гидденса описать процесс становления западной современности через ряд культурно нейтральных институциональных изменений, приведших к появлению индустриализма, капитализма, современного национального государства и т. д. Иными словами, под пером Гидденса современность предстает как результат социальных процессов,

¹ *Taylor Ch. Modernity and the Rise of the Public Sphere // The Tanner Lectures on Human Values, 14. Salt Lake City: University of Utah Press, 1993; Taylor Ch. Two Theories of Modernity // Hastings Center Report. 1995. Vol. 25, No 2. P. 24–33.*

которые описываются в нейтральных — по отношению к культуре Модерна — категориях. Главный изъян такого подхода заключается в том, что он механически противопоставляет традицию и современность, разводя их по разные стороны баррикад. Поэтому акультурные теории современности обычно описывают процесс модернизации, указывая на упадок традиционных представлений, верований и форм лояльности под воздействием определенных институциональных изменений. Такая оптика, однако, серьезно искажает наше понимание как традиционных обществ и культур, так и современности. По сути дела, мир Гидденса — это мир, в котором нет места понятию «культура». Как справедливо отмечает в связи с этим Найджел Трифт, в работах Гидденса крайне мало места уделяется понятию «культура» и связанному с ним семейству теорий, концепций и понятий. Несмотря на то, что Гидденс постоянно говорит о символических ресурсах, текстах, самоидентичностях и иных составных частях современной культуры, ему при всем интересе к работами Хайдеггера и Витгенштейна так и не удалось разработать нередуктивную концепцию, которая в поле социологического теоретизирования могла бы выполнять ту же самую роль, которую экзистенциал «бытия-в-мире» выполняет в философии Хайдеггера, а понятие «табитус» — в социологических построениях Бурдьё¹. На этом фоне попытки сторонников

¹ Thrift N. The Art of Living, the Beauty of the Dead: Anxieties of Being in the Work of Anthony Giddens // Progress in Human Geography. 1993. Vol. 17. No 1. P. 114–115. На ярко выраженный «аккультурный» характер работ Гидденса, посвященных современности, указывает также Джеффри Александер (Alexander J. Critical Reflections on “Reflexive Modernisation” // Theory, Culture and Society. 1996. Vol. 13. P. 133–138).

Гидденса защитить его позицию путем обнаружения у него латентной или скрытой социологии культуры, которую в его произведениях 1990–2000-х годов якобы выполняет теория структуриации, выглядят оригинально, но малоубедительно¹.

Поздняя современность — посттрадиционное общество? Ярчайшим симптомом «акультурного» подхода Гидденса к анализу современности является резкое противопоставление им *традиции* и *современного мира*, которое красной нитью проходит через все его работы 1990-х годов, и в то же самое время является одним из самых уязвимых пунктов его теоретических построений. В своих работах, написанных после «Последствий современности», Гидденс находит всеобъемлющую формулу для характеристики поздней современности в понятии «посттрадиционное общество»². В западных странах, — говорит Гидденс, — не только общественные институты, но и повседневная жизнь освобождается от влияния традиций. В других, более традиционных обществах, идет процесс «детрадиционализации»³. Однако идея Гидденса о том, что позднюю современность можно рассматривать как посттра-

¹ Scott J. Giddens and Cultural Analysis: Absent Word and Central Concept // Edwards T. (Ed.) Cultural Theory: Classical and Contemporary Positions. London: Sage, 2007. P. 83–105. Главная идея этой работы сводится к тому, что понятие культуры является центральным для теоретической социологии Гидденса и его работ о природе современного мира, хотя само понятие «культура» им практически не употребляется.

² Giddens A. Modernity and Self-Identity. P. 3; *Idem*. Beyond Left and Right. P. 5–7, 9, 80, 83–87, 117, 176, 189, 192; *Idem*. Living in a Post-Traditional Society // Beck U., Giddens A., Lash S. (Eds.). Reflexive Modernisation: Politics, Tradition and Aesthetic in the Modern Social Order. Cambridge: Polity Press, 1994. P. 56–109.

³ Giddens A. The Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives. P. 43.

диционное общество, является крайне спорной. Недаром она встретила заслуженные возражения со стороны целого ряда авторов¹. Все они сходятся друг с другом в том, что характеризуя современность как посттрадиционную эпоху, Гидденс сильно перегибает палку. Как верно замечает один из наиболее бескомпромиссных критиков Гидденса, американский социолог Степан Мештрович, применительно к «посттрадиционализму» Гидденса остается совершенно непонятным, как современные институты могут существовать, не опираясь на культурную основу, т. е. на вполне конкретные привычки и обычаи, берущие свое начало в прошлом? Как может социолог изучать современность, не сталкиваясь постоянно с этими культурными образованиями прошлого? Есть все основания для серьезного сомнения в том, что можно достичь такого конечного пункта в социальной эволюции, в котором базисные социальные институты, — семья, церковь, университет и т. д. — могли бы полностью освободиться от власти традиций. В этом плане подход Гидденса к анализу современности сильно напоминает подход критикуемых им постмодернистских социальных теоретиков с их ритуальными формулами о «конце социального», «конце культуры», «конце истории» и т. д.

Как замечает Мештрович, внимательный взгляд на культурный состав современности делает явным то обстоятельство, что современные институты зави-

¹ *Alexander J.* Critical Reflections on "Reflexive Modernisation" // *Theory, Culture and Society*. 1996. Vol. 13. P. 133–138; *King A.* Legitimizing Post-Fordism: A Critique of Anthony Giddens' Later Work // *Telos*. 1999. Vol. 115. P. 66–68; *Meštrovič S.* Anthony Giddens: The Last Modernist. L.: Routledge, 1998. P. 149–152; 160–161; *Turner B. S.* Orientalism, Postmodernism and Globalism. L.: Routledge, 1994. P. 186–198.

сят от целого ряда культурных привычек, обычаев и традиций, которые носят столь же принудительный и зачастую деспотический характер, что и прежние традиции и обычаи. Мештрович перечисляет целый ряд таких привычек и традиций, которые образуют культурный состав современности: культ рационализма, культ механицизма, культ престижного потребления, культ науки, а также возведенное в культ стремление выглядеть привлекательно в глазах окружающих (Дэвид Рисмен). Ни одно из этих явлений культуры Модерна не является универсальным и независимым от конкретного контекста; напротив, каждое из них особым образом преломляется в конкретном времени, пространстве и культуре и наиболее часто встречается среди народов Запада. Каждое из этих явлений налагает строгие ограничения на разумных и компетентных социальных агентов. На этом основании Мештрович приходит к выводу, что не только традиционные, но и современные институты также покоятся на привычках и налагают серьезные ограничения и принуждения на современных индивидов¹. Более того, Гидденс заблуждается, когда допускает существование только двух альтернатив: или нерефлексивное подчинение косным и авторитарным традициям прошлого, или рефлексивное изобретение новых традиций, отвечающих духу постсовременности. Вполне можно представить себе и иную картину, когда в рамках высокой современности старомодные и нерефлексивные традиции, основанные на эмоциональном сочувствии людей друг другу, сочетались бы с рефлексивными и прогрессистскими традициями, характерными для проекта современности.

¹ *Meštrovič* S. Anthony Giddens. P. 150–151.

В свою очередь, Джеффри Александер, критикуя концепции «посттрадиционного общества» и «рефлексивной модернизации» Гидденса, показывает, что в своих построениях Гидденс воспроизводит упрощенное объяснение традиции как догматической, ритуальной, иррациональной и элитарной культурной практики, характерное для ранних теорий модернизации. В то же самое время он распространяет период господства традиции на индустриальную эпоху, утверждая, что только в эпоху поздней современности создаются предпосылки для освобождения человеческого «Я» от власти обычая и традиции.

Противопоставляя традицию и современность и объявляя позднюю современность «посттрадиционным», Гидденс тем самым, как подчеркивает Александер, игнорирует то новое осмысление отношений между символическими образцами и социальными действиями, которые сделали противопоставление традиции и современности устаревшим¹. Этот пересмотр был инициирован работами Клиффорда Гирца и Питера Бёрка, посвященными символическому действию, он получил новый импульс в работах Мэри Дуглас и Брайана Тёрнера по поводу секулярного осквернения и ритуального процесса и был развит в прагматических, ориентированных на практики исследованиях культуры Пьера Бурдьё, Люка Болтански, Лорана Тевено, Вивианны Зелизер, Дэвида Аптера и Мишель Ламон. С точки зрения сторонников этого подхода, рефлексивность, будь она современной, поздне-современной или постсовременной, может быть по-

¹ *Alexander J. Fin-De Siècle Social Theory: Relativism, Reduction and the Problem of Reason. London: Verso, 1995.*

нята только в контексте культурной традиции. По словам Александера, типификация, изобретение и стратегизация являются неотъемлемыми моментами всякого социального действия; они не могут быть разделены и противопоставлены друг другу по историческим основаниям¹.

Эти критические соображения, высказанные Мештровичем, Александером и другими авторами, указывают на то, что предложенное Гидденсом прочтение поздней современности через противопоставление традиционного мира и мира современного как мира посттрадиционного является по крайней мере спорным. По сути дела, любое определение общества прошлого как традиционного и его противопоставление современному представляется проблематичным. Более этого, в этом можно увидеть один из определяющих концептуальных изъянов социально-теоретических построений Гидденса. Сделав в своей теории структуризации акцент на пространственных, а не на временных измерениях социального мира, и подвергнув критике идеи социального эволюционизма, он в то же самое время некритически воспроизводит характерный для теорий модернизации 1950–1970-х годов тезис о разделении обществ и культур на «традиционные» и «современные», в противоположность тезису о разделении культур (цивилизаций) в пространстве, что должно было бы — по логике вещей — в большей степени соответствовать теоретическим предпосылкам его концепции. В этом разделении обществ на «традиционные», «современные» и «позднесовременные» или «посттрадиционные» также можно усмотреть одно из следствий

¹ Alexander J. Critical Reflections on “Reflexive Modernisation”. P. 135–136.

того, что Гидденс развивает именно «акультурную» теорию современности и ее глобализации со всеми ее достоинства и недостатками.

Поздняя современность — секулярная эпоха? Довольно спорно выглядит изображение Гидденсом поздней современности как нерелигиозной секулярной эпохи. В этом он, как отмечает Брайан Тёрнер, воспроизводит типичные ошибки европейских социологов XIX — начала XX века, которые считали, что процесс секуляризации составляет неотъемлемую черту современности. Ведущие социальные теоретики рубежа веков — Эмиль Дюркгейм, Георг Зиммель, Макс Вебер, Эрнст Трельч — полагали, что капитализм подрывает авторитет и господство церкви и подвергает все священное разлагающему влиянию промышленных рыночно-капиталистических отношений. Идея детрадиционализации, являющаяся центральной для понимания современности Гидденсом, также явным образом зависит от теории секуляризации и детрадиционализации сакрального. Однако, как напоминает нам Брайан Тёрнер, классический взгляд на процесс секуляризации был оспорен современными социологами религии, которые показали, что этот односторонний взгляд на секуляризацию неадекватный. Например, если следовать мнению теолога Пауля Тиллиха, согласно которому религия связана с высшими и предельными вопросами смысла, — он, в частности, говорит о том, что теология связана с «предельной заботой», которая определяет наше бытие и небытие¹, — то современная цивилизация предстанет

¹ По поводу понятия «предельной заботы» см.: *Тиллих П. Систематическая теология*. В 3 т. Т. 1–2. М.: Университетская книга, 2000. С. 19–22.

перед нами совсем в другом свете. Для многих современных интеллектуалов проект рефлексивного «Я» составляет главную отличительную черту современности, поэтому крайне важно отказаться от упрощенного взгляда, будто бы закат религии является простым следствием упадка официальных религиозных конфессий. В действительности в условиях высокой современности проект рефлексивного и телесно воплощенного «Я» сам оказывается вопросом предельной заботы в смысле Тиллиха. Более того, как констатирует Тёрнер, идеи социологии религии Дюркгейма подсказывают нам, что «“Я” стало священной ареной современной социальной мысли и практики»¹, превратившись в своеобразную «светскую религию» современного Запада. На значение дюркгеймианской традиции для понимания современных процессов секуляризации указывает и другой крупнейший социальный теоретик современности, Чарльз Тэйлор. Согласно этой традиции, религия или «чувство священного», как называл ее Дюркгейм, составляет основу любого общества, а современность при всех ее притязаниях на светский характер обладает своей собственной «религией», возводящей на пьедестал неотъемлемые «права человека»². На фоне этих традиций социальное научное знание понимается Гидденсом поздней современности как секулярной и посттрадиционной эпохи представляется чересчур упрощенным.

Проблематичность рефлексивного проекта «Я». Представление о поздней современности как

¹ Turner B. S. Orientalism, Postmodernism and Globalism. P. 195.

² Taylor Ch. Foreword // Gaushet M. The Disenchantment of the World: The Political History of Religion. Princeton (N. J.): Princeton University Press, 1999. P. X.

о посттрадиционном обществе тесно связано с идеей рефлексивного проекта «Я». В позднесовременном обществе, где традиция по большей части перестает быть источником ценностных ориентаций и поведенческих установок для индивидов, им приходится самим выбирать себе идентичность и образ жизни. Однако сама идея Гидденса о том, что выдвижение на первый план рефлексивного проекта «Я» является отличительной чертой поздней современности, также выглядит крайне спорно. В действительности «Я» как рефлексивный проект имеет довольно длительную историю в западном мире, по крайней мере еще со времен латинского средневековья. Предпосылки для понимания человеческого «Я» как рефлексивного проекта, направленного на поиски спасения на небесах, были созданы еще первоначальным христианством, благодаря которому, как справедливо напоминает нам французский философ Марсель Гоше, «чем дальше Бог удаляется в свою бесконечность, тем более отношения с ним становятся сугубо личными — вплоть до исключения, в конечном итоге, всякого институционального посредничества. Будучи возвышенным на уровень абсолюта, божественный субъект сообщает земному гаранту своего закона легитимность лишь наедине. Таким образом, интериорность отправной точки напрямую приводит к становлению религиозной индивидуальности»¹. Именно здесь находится решающая точка перелома, благодаря которой в глубинах «Я» открывается возможность дистанцироваться от своего обычного «Я» и, следовательно — от той внешней реальности, в которой

¹ *Gaushet M. La désenchantement du monde. Paris: Gallimard, 1985. P. 77.*

оно пространственно располагается. Речь в данном случае идет о колоссальном опыте внутреннего разрыва, который не только вносит религиозное разделение в души индивидов, но и основывает его на твердой почве универсального божественного бытия. Как прекрасно показал Мишель Фуко, этот переворот получает свое дальнейшее развитие в ритуале исповеди в средневековом и ренессансном католицизме, который представляет собой дальнейший шаг на пути формирования проекта рефлексивного «Я». Поэтому открытие индивидуальности в качестве субъекта и индивидуального самосознания приходится по крайней мере на XII век. Это, безусловно, еще не социально-политический субъект модерна, индивидуализм здесь носит религиозный, а не мирской характер, однако акцент на значение исповеди в религиозной литературе XII века указывает на появление нового типа религиозного самосознания благодаря религиозным реформам монастырских порядков в средние века. Религиозные сочинения этого периода доказывают развитие интереса к внутреннему миру души и новым моделям этического сознания и морально-практического действия¹. Причем это открытие «Я» не было открытием изолированного индивида, поскольку религиозные писатели проявляли большой интерес к развитию моделей морально-практического поведения в рамках общины верующих, что способствовало постепенной кристаллизации «пастырской власти» (Мишель Фуко), в рамках которой духовный пастырь несет ответственность за стадо верующих в целом и за

¹ Turner B. S. Orientalism, Postmodernism and Globalism. P. 192–193.

каждого агнца в отдельности¹. Кроме того, как показывают работы Норберта Элиаса и Люсьена Гольдмана, культура Модерна XVII века и особенно эпоха барокко также достигли высокого уровня рефлексивности и индивидуальности социальных акторов². Правда, здесь необходимо оговориться, что открытие «Я» и последующая эволюция практик исповеди в XII веке на Западе представляли собой процесс социальных изменений, который затрагивал преимущественно высшие слои общества. Исповедь, ведение дневников, практики духовного совершенствования и самонаблюдения представляли собой техники самости, рассчитанные на элиту. Напротив, проект телесно воплощенного «Я» в конце XX века представляет собой массовое движение, рассчитанное на все современное общество в целом, что и позволяет Гидденсу в работе «Трансформация интимной жизни» утверждать, что подобные трансформации предполагают радикальную демократизацию социальных отношений в современном обществе³.

В действительности одним из коренных недостатков подхода Гидденса к анализу проблемы самоидентичности и рефлексивности в условиях современности является отсутствие у него исто-

¹ Фуко М. *Omnes et singulatim: К критике политического разума* [1981] // Фуко М. *Интеллектуалы и власть*. Ч. 2. М.: Праксис, 2005. С. 285–319.

² Гольдман Л. *Скрытый Бог* [1959]. М.: Логос, 2001; Элиас Н. *Общество индивидов* [1939]. М.: Праксис, 2001; Элиас Н. *Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной аристократии* [1969]. М.: Языки славянской культуры, 2002.

³ Turner B. S. *Orientalism, Postmodernism and Globalism*. P. 196–197.

рического взгляда на субъект модерна, этапы его конституирования, различные формы, которые рефлексивная идентичность «Я» принимала в современную эпоху, равно как и на дифференциацию функций, которые субъекту модерна доводилось исполнять в политических, экономических, культурных и социальных порядках современности. В этом контексте исторический подход к происхождению и функциям субъекта модерна, предлагаемый Элиасом и Гольдманом, обладает явными преимуществами. В частности, Элиас в целом ряде своих работ показывает, что форма самосознания и переживания, характерная для рефлексивной идентичности «Я», возникает в истории довольно поздно, формируется медленно и существует лишь в ограниченном кругу античных обществ, появляясь затем снова на авансцене западных обществ в эпоху Ренессанса. Лишь начиная с Декарта, который на основе принципа радикального сомнения поставил под вопрос существование всего, включая свое собственное тело, эгоцентризм мыслящего субъекта выходит на первый план. Единственное, в чем, согласно Декарту, нельзя сомневаться, и что известно нам достоверно — это существование меня самого как мыслящего существа в данный момент времени, вывод, в смысловом отношении отлитый в знаменитую декартову формулу «*cogito ergo sum*».

Однако, как отмечает Элиас, подобный тип мышления и переживания себя самого и других, равно как и соответствующий ему образ человека, есть проявление конкретной социальной структуры на определенном пути ее исторического развития. Они в значительной степени характерны для того перехода от представлений, опиравшихся на религию, к секуляризованным представлениям людей

о себе самих и о мире, который стал ощутимым ко времени жизни Декарта. Эта секуляризация человеческого мышления и поведения определенно не была творением одного или нескольких индивидов. Она совпала со специфическими изменениями совокупных жизненных и властных отношений в общественных объединениях Запада¹. Кроме того, эпоха Нового времени в Западной Европе была отмечена не только распадом прежней, религиозно-метафизической картины мира и секуляризацией представлений людей о себе самих и о мире, но и распадом традиционных социальных общностей и формированием национальных государств, благодаря чему функции защиты отдельного человека и контроля над ним переходят от замкнутых и локальных сообществ к централизованным и урбанизированным государственным образованиям. Внутри этих государственных образований люди все меньше могут полагаться на знакомые и привычные коллективы, на их помощь, совет и поддержку и всё больше вынуждены полагаться только на самих себя. Это возрастание чувства индивидуальности, которым сопровождалась историческая эволюция западных обществ, находило свое выражение прежде всего в разделении и обособлении людей друг от друга, требующих от них во все возрастающей степени контролировать свои чувства и эмоции и держать личную дистанцию по отношению к другим людям. Тем самым, как подчеркивает Элиас, в ходе становления западной современности процесс индивидуализации одновременно оказывается процессом цивилизации, т. е. процессом развития самоконтроля и управления людьми

¹ Элиас Н. Общество индивидов. С. 137.

своим поведением и эмоциями. «Эти отношения, весь образ совместной жизни людей, — отмечает Элиас, — все активнее принуждают к всестороннему управлению своими аффектами, к подавлению и трансформации своих влечений. В ходе этого общественного изменения люди становятся все более склонными скрывать от взглядов других, а иногда и от самих себя, свои естественные стремления и проявления своих инстинктов и желаний, которые прежде могли открыто изливаться, либо держались в узде исключительно из страха перед другими людьми, либо подавлялись человеком таким образом, что полностью вытеснялись из его сознания»¹.

В отличие от Гидденса Норберт Элиас предлагает и систему координат, в рамках которой рефлексивный проект «Я» как отличительная черта современного мира мог бы получить не только систематическое, но и историческое объяснение. По его мнению, эта система отсчета должна складываться из трех основных координат человеческой жизни: положения и функции индивида внутри общественного целого, строения самого этого общественного целого и отношения обобществленных индивидов к событиям, происходящим в окружающей и внечеловеческой природной среде. Как подчеркивает Элиас, лишь исследование, движущееся в рамках этой системы координат, способно показать, почему именно в Новое время формирование крупных государственных образований в форме национальных государств в сочетании с растущей взаимозависимостью людей друг от друга достигли такого уровня развития, что индивиды оказались не только пространственно, но и эмоционально

¹ Элиас Н. Общество индивидов. С. 171–172.

отдалены друг от друга и от своего социального окружения и оказываются способными посмотреть на себя самих и на окружающих «со стороны». Благодаря этому им становится доступной такая форма опыта и такой мир представлений, которые делают возможным осознание человеком самого себя вне и независимо от собственной группы как противостоящей этой группе личности. «Если на предыдущих ступенях самосознания, — пишет Элиас, — люди непосредственно переживали и ощущали самих себя, в соответствии со своим воспитанием и со своими жизненными формами, как членов объединений, семейных групп или сословий, включенных в управляемую Богом империю духа, то теперь они все более стали видеть и чувствовать себя, не утрачивая полностью другого представления, отдельными индивидами»¹. Именно в этой конкретной исторической констелляции следует искать ответ на вопрос о том, почему именно на заре современной эпохи индивидам пришлось столкнуться с «экзистенциальными вопросами», как никогда остро поставившими перед ними вопросы о смысле жизни и онтологической безопасности. «Образ самих себя, — говорит Элиас, — которым сегодня в наиболее отчетливом виде располагают люди европейско-американских обществ-пионеров — например, они рассматривают самих себя, людей вообще в качестве существ, которые исключительно посредством своей личной рассудочной деятельности, посредством индивидуального наблюдения и размышления могут сделать выводы о связи событий, — ни в коем случае не является образом, понятным из самого себя,

¹ Элиас Н. Общество индивидов. С. 151.

так сказать, *a priori*. Он не есть нечто, понимаемое изолированно, независимо от общественной связи опыта, от совокупной ситуации тех, кто переживает себя таким образом. Он образуется как симптом и как фактор специфического изменения, которое, как во всех подобных случаях, одновременно затрагивает функциональную связь всех трех основных координат человеческой жизни: отпечаток и позицию отдельного человека внутри своего общественного строения, структуру самого этого строения и отношение общественных людей к процессам внечеловеческого универсума. Ретроспективно можно более отчетливо видеть, насколько тесно этот переход от преобладающе авторитарного мышления к более автономному мышлению — по крайней мере в отношении природных событий — был связан со всеохватывающим сдвигом индивидуализации в Европе XV, XVI и XVII веках. Он образовывал некую параллель к переходу от более зависимой от «внешних» авторитетов совести к более автономной и «индивидуальной» совести. Ретроспективно можно лучше видеть, как тесно новая форма самосознания была связана с растущей коммерциализацией государственных образований, с восхождением богатых придворных и городских слоев и не в последнюю очередь также с осязательно возросшей властью людей над ходом самих внечеловеческих природных процессов¹.

Со своей стороны, Люсьен Гольдман в работах о «трагическом мировоззрении» французских янсенистов, нашедшем наиболее яркое выражение в произведениях Паскаля и Расина, подчеркивает вклад рационализма XVII века в становление

¹ Элиас Н. Общество индивидов. С. 140–141.

рационалистического индивидуализма в обществе и культуре Модерна. По его словам, этот вклад заключался прежде всего в отказе от пары понятий — «сообщество» и «универсум» — и в замене их на альтернативную пару понятий — «разумный индивид» и «бесконечное пространство», что в решающей степени способствовало складыванию предпосылок для кристаллизации субъекта модерна. «В истории человеческого сознания, — говорит Гольдман, — эта замена стала важным завоеванием: утверждение индивидуальной свободы и справедливости как ценности в социальном плане и создание механистической физики в плане мышления. Признав это, следует учитывать и другие последствия этой трансформации. Вместо иерархизированного общества, в котором каждый человек занимал собственное место, о весе и важности которого он судил, сравнивая его с местом другим и с целым обществом, третье сословие дало возможность развитию независящих друг от друга, свободных и равных индивидуумов — три условия, тесно связанные с отношениями, в который вступают при обмене продавцы и покупатель.

Это стало результатом медленной эволюции, которая началась в конце XI, в XII и XIII веках и завершилась лишь в XIX веке, но свое научное, ментальное, литературное и философское выражение она получила в XVII столетии. После всего, что индивидуальность приобрела в стоицистском, эпикурейском, скептицистском, но прежде всего индивидуалистическом творчестве Монтезя, Декарт и Корнель в XVII веке утверждают самодостаточность индивидуума»¹. Таким образом, уже в Новое

¹ Гольдман Л. Скрытый Бог. С. 34–35.

время процесс индивидуализации не только ведет к независимости индивидов от локальных сообществ, обычаев и традиций, но и находит соответствующее культурно-историческое выражение в появлении соответствующих теорий, концепций и идеологий, которые можно охарактеризовать как «индивидуалистические». Иными словами, история индивидуального «Я» как формы представления и переживания как самого себя, а также как точки отсчета для восприятия как других индивидов, так и социального мира и окружающей природной среды, начинается и получает развитие задолго до появления такого явления, которое Гидденс характеризует как «высокую современность».

Немало серьезных замечаний можно сделать и в адрес других аспектов истолкования Гидденсом рефлексивного проекта «Я», в частности, в плане его видения «революционной перестройки» интимных и сексуальных отношений, в рамках которых чистые отношения, пластическая сексуальность и любовь-слияние оказываются жизненным стилем, доступным преимущественно лишь богатому и привилегированному меньшинству, тогда как большей части членов этих обществ приходится в лучшем случае довольствоваться любовными интрижками по случаю «на стороне». В этом смысле «трансформацию интимной жизни» в понимании Гидденса можно с большой степенью истолковать как самоописание образа жизни современного «праздного класса» (Торстейн Веблен), нежели как концептуализацию вектора социальных изменений, происходящих в интимной и сексуальной жизни. Крайне примечательно и то, что постоянная смена партнеров, следующая логике пластической любви, поразительно и, добавим от себя, подозрительно напоминает трансформации, происходящие на рынке труда развитых

стран, где на смену работе по постоянному найму приходит работа по временным — средне- и особенно краткосрочным — контрактам. Как и на рынке труда, так и на рынке интимных отношений проигравший платит за всё. Как пронизательно замечает по этому поводу Зигмунт Бауман, «подобно товарному рынку, рынок отношений почти ничего не делает для того, чтобы защитить жертвы от последствий их слабости»¹.

Анархизация культуры и стилей жизни. Центральным пунктом концепции идентичности современной личности, в которой сходятся воедино проект рефлексивного конструирования «Я» и грамматика жизненной политики, является развиваемый Гидденсом тезис о том, что в результате большей «открытости» социальной жизни, плюрализации контекстов действия и диверсификации «авторитетов» выбор жизненных стилей приобретает особое значение для конституирования идентичности личности и создания новых культурных практик. Однако, как справедливо напоминают нам такие влиятельные политические философы современности, как Джон Грей, Аласдер Макинтайр и Чарльз Тэйлор, разделяемые индивидами формы и образы жизни в весьма незначительной степени являются предметом личного выбора, определяясь в значительной степени обычаями, традициями и полученным воспитанием. Более того, поведенческие установки и моральные представления индивидов обычно в решающей степени зависят от конкретной интерпретации блага, локализованного в том или ином сообществе. Поэтому и в современном мире со-

¹ *Bauman S. Review of "The Transformation of Intimacy" // Sociological Review. 1992. Vol. 41. P. 367.*

циальная интеграция индивидов в определенную культуру является необходимой предпосылкой развития моральных представлений и усвоения ими образцов морально-практического поведения, а формирование идентичности личности продолжает быть тесно связанным с культурой и историей родной страны. В этом плане позиция Гидденса, подчеркивающего свободный характер избрания стилей и образов жизни, диктуемых духом жизненной политики, представляет нам достаточно проблематичной. В современном мире власть традиций и обычаев над умами и поступками людей продолжает быть необычайно сильной, идет ли речь о выборе прогрессии или же о выборе брачного партнера, исполнении религиозных обрядов или просто о поведении в повседневной жизни, причем не только в развивающихся (или недоразвитых) странах Азии, Африки и Латинской Америки, но и в тех, что принято относить к «золотому миллиарду». Культурная глобализация и распространение космополитических ценностей в современную эпоху идут рука об руку с балканизацией, трайбализацией, подъемом религиозного фундаментализма и возрождением племенного сознания. Поэтому сегодня даже в самых развитых и демократических европейских странах свободный выбор жизненного стиля очень часто оборачивается триумфом не жизненной политики, а ее прямой противоположности в виде смерти, особенно если речь идет о религиозных, этнических и культурных меньшинствах, готовых пользоваться благами современности, но совершенно не готовых отказываться от своих привычных и зачастую откровенно варварских и ретроградных обычаев и образа жизни во имя торжества идеалов «посттрадиционного общества». Западные массмедиа буквально пестрят шокирую-

щими новостями вроде тех, что год назад потрясли немецкое общество: суд немецкого города Хагена приговорил жителя Германии, молодого уроженца Сирии к 14 годам тюрьмы за совершенное им вместе с дядей убийство своей 20-летней кузины за то, что она переняла «западный» образ жизни, типичный для ее сверстников, надолго отлучалась из дому, не стеснялась курить на людях, одевалась так, чтобы выглядеть привлекательной, и даже завела себе любовника-турка. Всё это вызвало сначала раздражение, а затем и гнев родственников, которые на семейном совете приняли решение казнить девушку, что и привело к трагедии. Подобные истории — вовсе не редкость даже в развитых странах Западной Европы и Северной Америки, и число таких случаев угрожающе растет на фоне попыток представителей иммигрантских общин нарушать законы под предлогом своей особой религиозной, этнической и культурной принадлежности. Поэтому в действительности еще рано говорить о том, что свободный выбор жизненного стиля стал реальностью даже в развитых обществах, где десятки миллионов людей продолжают жить в стесненных материальных условиях, что только усугубляется далеко зашедшим кризисом социального государства, призванного обеспечить право граждан на их долю в общественном благосостоянии.

Преувеличенное представление о свободе выбора форм и образов жизни, характерное для представлений Гидденса об основных векторах развития современности, не является случайным — оно логически вытекает из методологических изъянов его теории структуризации и современности. В рамках своей теории структуризации Гидденс указывает на три типа ограничений, которые структурные свойства социальных систем накладывают на индивидуальные действия агентов: 1) материальные ограничения,

связанные с физическими особенностями тела и с релевантными особенностями материальной окружающей среды; 2) ограничения, связанные с санкциями, налагаемыми властью, и 3) структурные ограничения¹. Последние, в частности, влекут за собой ограничение возможностей, доступных одному или множеству акторов в определенных условиях. Таким образом, концепция структуризации Гидденса предполагает целый ряд материальных и социальных ограничений, налагаемых на социальное действие агентов. Однако теория современности Гидденса не содержит сколько-нибудь систематического понятия ограничения. В результате складывается впечатление, что современность вообще лишена каких-либо структурных ограничений. Современность предполагает построение идентичности «Я» в качестве рефлексивного проекта, в соответствии с теми актами выбора, которые индивиды делают в контексте предоставляемых абстрактными системами возможностей. Единственное ограничение для агентов в современной социальной жизни заключается в том, что сам выбор неизбежен; как говорит сам Гидденс, у нас нет иного выбора, кроме необходимости выбирать. Однако такой акцент на индивидуальном самоопределении личности, который красной нитью проходит через все произведения Гидденса, посвященные современности, входит в явное противоречие с его концепцией структуризации и дает весьма благодушное представление о роли и автономии индивидов в современном мире. Современность, лишенная всяких структурных ограничений, чревата скорее *анархизацией культуры и стилей жизни*, нежели их мирным сосуществованием и свободой выбора.

¹ Giddens A. The Constitution of Society. P. 174–179.

Более того, не вполне понятно, как индивидуальное самоопределение личности, практически лишенное структурных ограничений, согласуется с метафорой современности как колесницы, которую никто конкретно не контролирует и которая все сметает на своем пути¹.

Современность и проблема доверия. Гидденс постоянно подчеркивает, что современность тесно связана с проблемами доверия, как к абстрактным системам, так и на межличностном уровне. Тем не менее складывается впечатление, что акцент, который Гидденс делает на связи принципа доверия с институтами и культурой модерна, носит односторонний и, можно даже сказать, чрезмерно оптимистический характер. Последние события и, в частности, мировой экономический кризис 2008–2010 годов, показали, что рыночное общество способно генерировать целую культуру недоверия, построенную на апологетике неолиберальных рецептов экономического процветания. Как пишет немецкий социолог Рихард Мюнх, в современном рыночном обществе сложилась особая «культура недоверия» (*die Kultur des Misstrauens*), препятствующая налаживанию как стабильных деловых, так и прочих контактов между людьми². В условиях глобального кризиса даже самые твердолобые поклонники свободного рынка обращаются к государству как к спасательной палочке-выручалочке, требуя от него «национализации убытков» крупных банков и фирм для создания будущего экономического подъема.

¹ *Loyal S.* The Sociology of Anthony Giddens. L.: Pluto Press, 2003. P. 124–125.

² *Münch R.* Die Kultur des Misstrauens // *Blätter für deutsche und internationale Politik.* 2009. No 1. S. 20–22.

Проблема, однако, заключается в том, что государству, которое призвано восстановить доверие к финансовым рынкам, самому на протяжении многих десятилетий оказывалось недоверие как со стороны экономистов-неолибералов, которые вслед за Фридрихом фон Хайеком настойчиво утверждали, что государству никогда не сравниться с рынком в качестве инструмента решения экономических проблем, так и со стороны граждан, у которых политика приватизации и отказа от государственного регулирования рынков отнюдь не прибавляла доверия государству. В итоге государство в глазах граждан стало выглядеть как предприятие по оказанию услуг, ориентирующееся в своей деятельности на опросы общественного мнения. Из-за этого государство само испытывает сегодня глубокий кризис доверия, которое ему будет очень нелегко вернуть. На фоне кризисного состояния современной экономики и политики все более явной становится хрупкость всего общественного порядка в целом.

Причины того, что развитие современного общества пошло именно по этому пути, многообразны. Однако есть одна причина, которая заслуживает особого внимания. Речь в данном случае идет, как показывает Ричард Мюнх, о постепенном истощении потенциала доверия и широком распространении недоверия в современном обществе. Этот процесс находит свое воплощение в замене общественной иерархии рынками, общественной ответственности — частной инициативой, профессиональной этики — конкуренцией за потребителей, бюрократии — политикой *New Public Management*, а служащих — предпринимателями. Все эти социальные изменения привели к замене чувства доверия и ответственности за порученное дело повсеместным недоверием, которое затронуло

не только бизнес-структуры и повседневную жизнь, но и официальные власти, утратившие понимание того, что собой представляет общее благо и есть ли оно вообще помимо множества частных интересов. По словам Мюнха, «общество, которое превращает все, к чему бы оно ни прикоснулось, в рынки, не знает никаких стабильных отношений доверия и живет в атмосфере недоверия»¹. В результате в нем складывается целая культура недоверия, видящая в стабильных отношениях доверия не более чем иллюзию, вводящую нас в заблуждение. Именно поэтому современность оказывается столь беззащитной перед кризисами, которые — по причине господства в современном обществе культуры недоверия — становятся все более затяжными и глубокими.

Исчерпанность социально-политической программы «третьего пути». Наконец, в связи с тенденциями системного кризиса, переживаемого в последние годы глобальным капитализмом, в значительной степени исчерпанной оказывается и социально-политическая проблематика «третьего пути». Разработанные Гидденсом концепции радикализованной современности и ее глобализации оказали непосредственное воздействие на его попытки выработать в 1990–2000-е годы компромиссную политическую позицию, которые вылились в идейно-политическую программатiku «третьего пути» и нашли отражение в таких его работах, как «По ту сторону правого и левого: Будущее радикальной политики» (1994), «Третий путь: Обновление социальной демократии» (1998) и «Третий путь и его критики» (2000). Еще в работе «Последствия современности»

¹ Münch R. Die Kultur des Misstrauens // Blätter für deutsche und internationale Politik. 2009. No 1. S. 21.

Гидденс отмечал, что окончание всемирно-исторического противостояния двух систем — капиталистической и государственно-социалистической — и подъем новых социальных движений являются теми двумя наиболее яркими симптомами, которые указывают на переход современных обществ к качественно новому, постсовременному состоянию. В этих условиях, как полагал Гидденс, сформировался и требовал неотложного удовлетворения запрос на общественно-политическую альтернативу, которая сочетала бы в себе достоинства цивилизованного и социально укрощенного капитализма, но в то же время была бы лишена недостатков «реального социализма». В 1990-е годы эта идея получила широкий резонанс и поддержку со стороны президента США Билла Клинтона и премьер-министра Великобритании Тони Блэра и какое-то время она претендовала на то, чтобы не только задавать тон в интеллектуальных дискуссиях, но и служить ориентиром для практической политики.

В настоящее время события, подобные современному мировому кризису, изменяют как параметры идущей общественной дискуссии, так и спектр общественно-политических альтернатив, считающихся осуществимыми. Сегодня, когда неолиберальные догмы либерализации финансовых рынков, приватизации сектора общественных услуг и минимального государства оказались под огнем ожесточенной критики, а общественные организации и движения не смогли овладеть социально-политической инициативой и взять на себя решение тех задач, которые прежде возлагались на рынки или на государство, исчерпанной оказалась также и программатика «третьего пути», которая в западной политике была связана с деятельностью администрации Клинтона и идеей «нового лейборизма» Блэра. Как отмечает в

связи с этим Юрген Хабермас, что придет им на смену, пока остается не вполне ясным, однако главное, на что можно надеяться в сложившейся ситуации, — что нам больше не доведется стать свидетелями возрождения неолиберальных догм, за последние годы серьезно скомпрометировавших себя в глазах общества. Сама идея подчинения жизненного мира императивам рынка должна быть подвергнута тщательному и критическому изучению, которое позволило бы не повторять прежних ошибок¹.

В заключение подведем некоторые итоги. Не приходится сомневаться в том, что в основе как теоретической программы, так и практических рекомендаций Энтони Гидденса лежат надежды на более безопасный, предсказуемый и комфортный для проживания людей мир. Будущее покажет, в какой степени им суждено сбыться. Не стоит только забывать о том, что свой вклад в это будущее вносят и теоретики социально-научного знания, которое, как напоминает нам Гидденс, функционирует в режиме двойной герменевтики, благодаря чему мы, выдвигая и обсуждая значимые общественно-политические альтернативы, в определенной мере способствуем их осуществлению в будущем. Хотя современный мир и не поддается всеобъемлющему контролю, выдвижение альтернативных образов и картин будущего способно — в силу рефлексивного характера современности — внести свой вклад в формирование нового мирового порядка. Именно в этом, пожалуй, заключается одно из главных достоинств концепции современности Энтони Гидденса.

Тимофей Дмитриев

¹ *Habermas J. Nach dem Bankrott // Die Zeit*, 6 November 2008.

**ПОСЛЕДСТВИЯ
СОВРЕМЕННОСТИ**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга написана в форме расширенного очерка. Я разделил ее скорее на части, нежели на главы, ради того, чтобы не прерывать нить аргументации. Идеи, о которых в ней идет речь, непосредственно связаны с моими предшествующими работами, поэтому я часто ссылаюсь на них. Я надеюсь, что читатель поймет и простит мне такое частое самоцитирование, которое продиктовано вовсе не заносчивостью, а стремлением подвести основания под те притязания, которые не могут быть подробно обоснованы из-за небольшого объема книги. Основой для книги послужили лекции в память о Рэймонде Фреде Уесте, прочитанные в Стэнфордском университете (Калифорния) в апреле 1988 года. Я очень благодарен их организаторам в Стэнфорде за проявленное радушие и гостеприимство. В особенности я благодарен Гранту Барнсу, сотруднику издательства Стэнфордского университета, который сыграл важную роль в приглашении меня прочитать лекции и без которого этой работы не было бы.

РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ

Рисунки

1. Институциональные измерения современности	182
2. Измерения глобализации	197
3. Измерения утопического реализма	301
4. Типы социальных движений	304
5. Очертания постсовременного порядка	309
6. Измерения постдефицитной системы	313
7. Высокозначимые риски современности	319

Таблицы

1. Среды доверия и риска в досо временных и современных культурах	- 236
2. Сравнение концепций «постсовременности» и «радикали зованной современности»	292

Что, если сегодня — последняя ночь мира?

Джон Донн, *Обращения к Господу*
в час нужды и смерти

Воображаемое время неотделимо от направлений во времени. Если человек может пойти на север, он может повернуться на сто восемьдесят градусов и пойти на юг; точно так же, если человек может идти вперед в воображаемом времени, он должен быть способен развернуться и пойти назад. Это означает, что нет принципиальных различий в направлении вперед и назад в воображаемом времени. С другой стороны, когда мы смотрим на «реальное» время, существует большое различие между движением вперед и назад, и это нам хорошо известно. Откуда берется эта разница между прошлым и будущим? Почему мы помним прошлое, но не будущее?

Стивен У. Хокинг, *Краткая история времени*

В марте 1986 года англоязычном издании журнала «Советская жизнь» была опубликована девятистраничная статья о Чернобыльской АЭС под заголовком «Полная безопасность». Лишь месяц спустя, 26—27 апреля на станции — вот так — случилась крупнейшая термоядерная авария.

Джеймс Беллини,
Высокотехнологичный холокост

Когда мы обнаруживаем, что существует несколько культур, а не одна, и когда мы осознаем конец культурной монополии, неважно, была ли она действительной или воображаемой, мы оказываемся под угрозой своего собственного открытия. Внезапно оказывается, что существуют только *другие*, и мы сами лишь «другие» среди других. Все смыслы и цели улетучиваются, и становится возможным путешествовать по цивилизациям как по следам и развалинам. Все человечество становится одним воображаемым музеем, и встает вопрос: куда мы поедем на эти выходные — рассматривать руины Ангкор-Вата или же прогуливаться по Тиволи в Копенгагене.

Поль Рикер, *Цивилизации и национальные культуры,*
в книге «История и истина»

I

ВВЕДЕНИЕ

В рамках нижеследующего текста я провожу институциональный анализ современности в связи с ее культурным и эпистемологическим подтекстом. В этом состоит существенное отличие моего анализа от большинства сегодняшних дискуссий о современности, где указанные акценты перевернуты. Что есть современность? В качестве первого приближения к ответу скажем лишь следующее: «современность» означает способы социальной жизни или организации, которые возникли в Европе, начиная примерно с XVII века и далее, и влияние которых в дальнейшем более или менее охватило весь мир. Такое описание привязывает современность к определенному временному периоду и исходному географическому местоположению, но пока что оставляет ее основные характеристики как бы надежно упрятыми в некоем «черном ящике».

Сегодня, в конце XX века, многие уверяют, что мы находимся в начале новой эры, наступление которой должно быть осмыслено социальными науками, и которая выводит нас за пределы современности как таковой. Для выражения этого перехода было предложено сбивающее с толку многообразие терминов, некоторые из них (такие, как «информационное общество» или «общество потребления») прямо указывают на возникнове-

ние нового типа социальной системы, хотя большая их часть скорее наводит на мысль о том, что предшествовавшее ей состояние дел подходит к концу («постсовременность», «постмодернизм», «постиндустриальное общество», «посткапитализм» и т. д.). Некоторые из дискуссий по этому поводу сосредоточиваются главным образом вокруг институциональных преобразований, особенно тех из них, в которых выдвигается тезис о том, что мы движемся от системы, основанной на производстве материальных благ, к системе, в большей степени ориентированной на информацию. Однако гораздо чаще такая полемика сфокусирована, прежде всего, на философских и эпистемологических проблемах. Такая точка зрения характерна, например, для автора, который несет основную ответственность за популяризацию понятия «постсовременность», а именно, для Жана-Франсуа Лиотара¹. По его описанию, постсовременность означает отход от попыток обоснования эпистемологии и от веры в прогресс, сконструированный людьми. Отличительной чертой состояния постсовременности является исчезновение «великого нарратива» — всеобъемлющей «сюжетной линии», посредством которой мы помещаемся в определенную точку истории в качестве существ с определенным прошлым и предсказуемым будущим. Вместо него постсовременный взгляд встречает лишь многообразие разнородных претензий на знание, среди которых наука не пользуется никакими привилегиями.

Стандартная реакция на идеи, подобные тем, что высказывает Лиотар, состоит в поиске доказательства возможности непротиворечивой эпистемологии — и достижимости обобщаемого знания о социальной жизни и моделях социального развития¹¹. Но я хотел бы подойти к вопросу по-ино-

му. Дезориентация, которая выражается в чувстве невозможности систематического познания социальной организации, возникает прежде всего, как я покажу, из ощущения, которое многие из нас испытывают, находясь в гуще не вполне понятных и по большей части не контролируемых нами событий. Чтобы проанализировать, как это состояние стало свершившимся фактом, недостаточно просто изобрести новые термины, такие как «постсовременность» и прочие. Вместо этого нам следует еще раз взглянуть на природу современности, которая, по ряду вполне конкретных причин, до сих пор была плохо понята социальными науками. Вместо постсовременности мы вступаем в период большей, чем когда-либо, радикализации и универсализации последствий современности. За пределами современности мы можем различить, как я покажу далее, очертания нового и отличного от нее социального порядка, который является «постсовременным»; но он сильно отличается от того, что в настоящее время называют «постсовременностью».

Взгляды, которые я буду развивать, восходят к тому, что я в другом месте обозначил в качестве «дисконтинуистской» интерпретации современного социального развитияⁱⁱⁱ. Я указываю таким образом на то, что современные социальные институты в ряде отношений являются уникальными, то есть отличаются от любых типов традиционного социального порядка. Я буду утверждать, что понимание природы связанных с этими отличиями разрывов является необходимой предпосылкой анализа того, чем в действительности является современность и, равным образом, предпосылкой выявления ее последствий для нас сегодняшних.

Мой подход требует, кроме того, краткого критического обсуждения ряда точек зрения, доминирующих в социологии — дисциплине, наиболее существенным образом вовлеченной в изучение современной общественной жизни. В силу своей культурной и эпистемологической направленности полемика о современности и постсовременности по большей части не касалась недостатков общепризнанных воззрений в социологии. Однако применительно к интерпретации, сфокусированной, подобно моим рассуждениям, в основном на институциональном анализе, сделать это необходимо.

Используя эти наблюдения как отправную точку для моего исследования, в основной его части я попытаюсь по-новому описать природу и современности, и того постсовременного социального порядка, который может возникнуть по ту сторону нашей эпохи.

РАЗРЫВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Идея о том, что человеческая история отмечена определенным рода «разрывами» и не образует единого процесса ничем не стесненного развития, конечно же, не нова, и играет важную роль в различных версиях марксизма. Мое использование этого термина, однако, не связано существенным образом с историческим материализмом и не направлено на описание человеческой истории в качестве единого целого. Несомненно, разрывы возникают на разных стадиях человеческой истории — например, в периоды перехода от племенных сообществ к аграрным государствам. Но меня интересуют не они. Напротив, я хотел бы особым образом обозначить тот конкретный разрыв или

множество разрывов, которые связаны с периодом современности.

Формы жизни, созданные современностью, оторвали нас от *всех* традиционных типов социального порядка и сделали это способом, не имеющим исторических прецедентов. По своему масштабу и глубине они превосходят почти все типы социальных изменений, характерные для предыдущих эпох. В количественном отношении они привели к установлению форм социальной связи, охватывающих весь мир; в качественном отношении им удалось изменить наиболее интимные и глубоко личные характеристики нашего повседневного существования. Очевидно, существует и преемственность между традиционным и современным, и ни то, ни другое не является полностью однородным; заблуждения, к которым может привести слишком обобщенное их противопоставление, широко известны. Но изменения, происходящие на протяжении последних трех или четырех столетий — что весьма малозначительно с исторической точки зрения — были столь драматичны и имели столь широкое влияние, что наше знание предшествовавших им переходных эпох может оказать лишь частичную поддержку нашим попыткам их интерпретации.

Длительное воздействие социального эволюционизма составляет одну из причин недооценки разрывной природы современности. Даже теории, подчеркивающие значимость разрывных переходов, как теория Маркса, рассматривают человеческую историю в качестве имеющей некое единое направление и управляемой общими динамическими принципами. Эволюционные теории и вправду представляют собой «великие нарративы», хотя они и не обязательно вдохнов-

ляются представлением о некоей конечной цели. Согласно эволюционизму, «история» может быть рассказана в виде некоей «сюжетной линии», придающей мешанине производимых людьми событий вид упорядоченной картины. История «начинается» с малых, изолированных культур охотников и собирателей, движется через развитие земледельческих и скотоводческих общин, а от них к образованию аграрных государств, достигая своей наивысшей точки с появлением современных западных обществ.

Вытеснение этого эволюционного нарратива или деконструкция его сюжетной линии не только помогают прояснить задачу анализа современности, но и изменяют направленность некоторой части дискуссий о так называемой постсовременности. История не имеет той «тотальной» формы, которую ей приписывают эволюционные концепции — и эволюционизм, в той или иной форме, имел гораздо больше влияния на социальную мысль, нежели телеологические философии истории, составляющие основной объект нападок Лиотара и других мыслителей. Деконструкция социального эволюционизма означает согласие с тем, что история не может рассматриваться как некое единство или как отражение некоторых объединяющих ее принципов организации и трансформации. Но отсюда не следует, что все есть хаос или что может быть написано бесконечное число индивидуальных «историй». Например, в истории существуют определенные переходные периоды, которые могут быть охарактеризованы, и по поводу которых могут быть сделаны обобщения^{iv}.

Каким образом могут быть обнаружены разрывы, которые отделяют современные социальные институты от традиционных социальных

порядков? Здесь имеют значение некоторые специфические признаки. Один из них — сам *темп изменений*, запускаемый эпохой современности. Традиционные цивилизации были гораздо динамичнее других систем, предшествовавших современности, но скорость изменений в условиях современности предельна. Хотя эта особенность, скорее всего, наиболее очевидна для технологии, она проникает и во все прочие сферы социальной жизни. Второй разрыв составляет *масштаб изменений*. По мере того, как различные участки земного шара приводятся во взаимную связь друг с другом, волны социальных трансформаций проносятся практически через всю земную поверхность. Третий признак связан со специфической *природой современных социальных институтов*. Некоторые современные формы социальной жизни попросту не встречаются в предшествующие исторические периоды — например, политическая система национального государства, массовая зависимость производства от небиологических источников энергии или радикальное превращение в товар продуктов производства и наемного труда. Другие имеют лишь видимую преемственность с ранее существовавшими социальными порядками. Примером такой формы социальной жизни является город. Современные поселения городского типа зачастую включают территории традиционных городов, и может показаться, будто бы они лишь расширяют их. Фактически же современный городской быт организован на основании совершенно иных принципов, чем те, что отделяли досовременный город от сельской местности в более ранние эпохи^у.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОПАСНОСТЬ, ДОВЕРИЕ И РИСК

В ходе моего исследования природы современности я хотел бы посвятить значительную часть своих рассуждений проблемам противопоставления *безопасности и опасности*, и, соответственно, *доверия и риска*. Современность, как может видеть каждый, кто живет в завершающие двадцатое столетие годы, есть вещь обоюдоострая. Развитие современных социальных институтов и их распространение по всему миру создали людям гораздо большие возможности для того, чтобы вести защищенную и приносящую удовлетворение жизнь, нежели любой из типов социальных систем, предшествовавших современности. Но современность имеет и свои мрачные стороны, особенно ярко проявившиеся в текущем столетии.

В целом «аспект новых возможностей» современности более других подчеркивался основателями классической социологии. И Маркс, и Дюркгейм рассматривали современность как грозную эпоху. Но оба они считали, что благоприятные возможности, открытые эпохой современности, перевешивают ее негативные моменты. Маркс рассматривал классовую борьбу как источник фундаментальных конфликтов внутри капиталистического строя, но в то же время предвидел возникновение более гуманной социальной системы. Дюркгейм полагал, что дальнейшая экспансия индустриализма приведет к гармоничной и насыщенной социальной жизни за счет сочетания принципа разделения труда с моральным индивидуализмом. Макс Вебер был наиболее пессимистичным из трех отцов-основателей социологии и рассматривал современный мир как пара-

доксальную систему, где материальный прогресс достигается лишь ценой разрастания бюрократии, подавляющей творческое начало индивидуумов и их самостоятельность. Но даже он не смог в полной мере предвидеть, насколько обширной окажется темная сторона современности.

Например, все три указанных автора видели, что современный индустриальный труд ведет к деградации, подчиняя огромное число людей распорядку тупой однообразной работы. Но они не представляли тех возможностей для крупномасштабного разрушения окружающей среды, которое сопутствует развитию «производительных сил». Экологические соображения занимают не такое уж важное место в традициях мысли, воплощенных в социологии, и то, что сегодня социологи, приступая к их систематическому рассмотрению, сталкиваются с трудностями, не вызывает удивления.

Вторым примером является интенсивное использование политической власти, в особенности в той форме, в которой его являют возникающие время от времени тоталитарные режимы. Произвол в использовании политической власти представлялся основателям социологии прежде всего атрибутом прошлого (хотя и находящим порой подражателей в настоящем, как показывает марксов анализ правления Луи-Наполеона). «Деспотизм», казалось, был характерен лишь для государств, предшествовавших эпохе современности. Рассматривая результаты распространения фашизма, Холокоста, сталинизма и других эпизодов истории XX века, мы видим, что возможности для тоталитарного варианта развития событий предполагаются институциональными параметрами современности, а не исключаются ими. Тоталитаризм отличается от традиционного деспо-

тизма, но тем более страшен в качестве результата. Тоталитарное правление объединяет политическую, военную и идеологическую власть в более концентрированной форме, чем это было возможно до появления современных национальных государств^{vi}.

Развитие военной мощи, рассмотренное в общем виде, представляет собой еще один показательный пример. И Дюркгейм, и Вебер прожили достаточно, чтобы стать свидетелями ужасов первой мировой войны, хотя Дюркгейм умер до ее окончания. Война пошатнула ранее существовавшие у Дюркгейма расчеты на то, что естественным следствием индустриализма станет мирный и всеобъемлющий индустриальный порядок, и как оказалось, война не могла быть встроена в интеллектуальную схему, развитую этим мыслителем в качестве основания его социологии. Вебер уделял больше внимания роли военной мощи, нежели Маркс или Дюркгейм. Однако он не развил объяснения феномена войн в эпоху современности, сделав основными объектами своего анализа рационализацию и бюрократизацию. Ни один из классиков-основателей социологии не рассматривал систематически явление «индустриализации войны»^{vii}.

Социальные мыслители, писавшие в конце XIX и начале XX веков, не могли предвидеть изобретения ядерного оружия. Но связь технических новшеств

* И тем не менее, в одной из работ, написанных в 1914 г., буквально накануне первой мировой войны, Г. Уэллс сделал такое предсказание под влиянием физика Фредерика Содди, коллеги Эрнеста Резерфорда. Произведение Уэллса «Освобожденный мир» излагает историю войны, вспыхнувшей в Европе в 1958 г. и распространившейся отсюда по всему миру. В ходе этой войны используется ужасное оружие, сконструированное на основе радиоактивного вещества под названием каролиний. Сотни таких бомб, названных Уэллсом «атомными бомбами», сбра-

и организации производства с военной мощью восходит к истокам современной индустриализации как таковой. То, что эта связь во многом осталась непроанализированной в социологии, показывает устойчивость мнения о том, что недавно возникший социальный порядок современности будет в основе своей мирным, в противоположность милитаризму, характерному для предшествующих эпох. Не только угроза ядерного столкновения, но и фактические обстоятельства военных конфликтов образуют важную часть «темной стороны» современности в текущем столетии. XX век — это век войн, и количество военных столкновений, повлекших серьезные человеческие потери, в нем выше, чем в любом из двух предыдущих веков. По состоянию на сегодняшний день, в текущем столетии было убито более 100 миллионов человек, что составляет большую часть населения земного шара, чем число убитых в девятнадцатом веке, даже с учетом общего роста населения^{viii}. В случае же военного конфликта даже с ограниченным применением ядерного оружия, человеческие потери были бы ошеломительными, а полномасштабный конфликт сверхдержав мог бы полностью уничтожить человечество.

Мир, в котором мы живем, опасен и чреват различными возможностями. И это не просто ослабляет или заставляет ограничить рядом оговорок предположение о том, что возникновение современности приведет к формированию более благополучного и безопасного социального порядка. Потеря веры в «прогресс» является, конечно же, одним из фак-

сываются на крупнейшие города мира, вызывая грандиозные разрушения. За этим следует период массового голода и политического хаоса, после чего учреждается новая общемировая республика, война в которой запрещается навеки.

торов, лежащих в основе распада «нарративов» истории. И все же на карту здесь поставлено нечто гораздо большее, чем простой вывод о том, что история «никуда не ведет». Нам придется развить институциональный анализ современности. При его осуществлении нам следует восполнить некоторые ограничения классических социологических воззрений, ограничения, и сегодня влияющие на социологическую мысль.

СОЦИОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Социология является весьма обширной и неоднородной дисциплиной, и любые простые обобщения, рассматривающие ее в целом, являются спорными. Но мы можем указать на три широко распространенные концепции, возникающие отчасти на основе продолжающегося влияния классической социальной теории в социологии, препятствующие убедительному анализу институтов современности. Первая из них относится к институциональному диагнозу современности; вторая связана с главным предметом социологического анализа, «обществом»; третья имеет отношение к связям между социологическим знанием и теми характеристиками современности, к которым относится это знание.

1. Важнейшие теоретические традиции в социологии, включая те, начало которым было положено в трудах Маркса, Дюркгейма и Вебера, в своих интерпретациях современности склонны к поиску некоей единой преобладающей динамики трансформаций. Для авторов, находящихся под влиянием Маркса, такой основной преобразующей силой, создающей мир современности,

является капитализм. С упадком феодализма, аграрное производство, основой которого является замкнутое на себе поместье, сменяется производством для рынков национального и международного масштаба, применительно к которому не только любые виды материальных благ, но и человеческая рабочая сила принимают характер товара. Возникающий социальный строй современности является *капиталистическим* и в плане своей экономической системы, и в плане прочих его институтов. Неустойчивый и мобильный характер современности объясняется на основе цикла инвестиции—прибыль—инвестиции, который вместе с общей тенденцией к падению ставки прибыли создает в системе постоянную предрасположенность к расширению.

Эта точка зрения была подвергнута критике Дюркгеймом и Вебером, которые способствовали возникновению альтернативных интерпретаций, в дальнейшем оказавших сильное влияние на социологический анализ. В духе Сен-Симона Дюркгейм приписал природу институтов современности влиянию *индустриализма*. Для Дюркгейма капиталистическая конкуренция не является основным элементом возникающего социального порядка, а некоторые из тех его особенностей, которым Маркс придавал большое значение, он рассматривал как случайные и преходящие. Быстро меняющийся характер современной социальной жизни, по сути, возникает не благодаря капитализму, а в результате живительного воздействия сложного разделения труда, связывающего производство с человеческими потребностями посредством индустриальной эксплуатации природы. Мы живем не при капиталистическом, а при индустриальном социальном строе.

Вебер же говорил скорее о существовании «капитализма», чем о существовании индустриального социального строя, но в некоторых ключевых моментах его взгляды ближе к Дюркгейму, нежели к Марксу. «Рациональный капитализм», как его описывает Вебер, охватывает экономические механизмы, выделенные Марксом, включая придание товарного характера наемному труду. И все же «капитализм» в этом смысле, несомненно, означает нечто иное, чем тот же термин в работах Маркса. «Рационализация», в своем выражении в технологии и организации человеческой деятельности в форме бюрократии, является здесь ведущей идеей.

Живем ли мы сейчас при капиталистическом социальном строе? Является ли индустриализм основной силой, формирующей институты современности? Не следует ли нам скорее рассматривать рационализированный контроль над информацией в качестве главной характеристики, задающей для них основу? Я покажу, что в такой форме на эти вопросы невозможно ответить — точнее, что нам не следует рассматривать эти описания как взаимоисключающие. Я утверждаю, что современность *многомерна на уровне институтов*, и каждый из элементов, выделяемых этими различными традициями, играет в ней некоторую роль.

2. Понятие «общество» находится в фокусе многих социологических рассуждений. «Общество», конечно же, является неоднозначным понятием, указывающим как на «социальное объединение» в самом общем смысле, так и на вполне определенную систему социальных отношений. Меня интересует здесь лишь второе из этих значений, которое, несомненно, имеет отношение к основа-

ниям каждой из доминирующих систем социологических воззрений. Хотя авторы марксистского направления иногда предпочитают термину «общество» термин «общественная формация», тем не менее и у этого выражения сохраняется похожая коннотация «система с фиксированными границами».

В не-марксистских системах воззрений, особенно в тех, что связаны с влиянием Дюркгейма, понятие общества увязано с определением самой социологии. Привычное определение социологии, с которого начинается практически каждый учебник — «социология есть изучение человеческих обществ» или «социология есть изучение современных обществ», — является прямым выражением таких взглядов. Очень немногие современные авторы — если таковые вообще существуют — вслед за Дюркгеймом рассматривают общество почти мистическим образом как некое «сверх-существо», по отношению к которому отдельные его члены, как и полагается, проявляют благоговейный ужас. Но приоритет «общества» в качестве центрального понятия социологии признается весьма широко.

Почему привычное использование понятия общества в социологической мысли должно вызывать у нас возражения? На это имеется две причины. Мыслители, рассматривающие социологию как изучение обществ, даже если они не говорят об этом прямо, подразумевают общества, связанные с современностью. Осмысляя их, они думают о достаточно четко ограниченных системах, обладающих присущим только им внутренним единством. Но, понятые таким образом, «общества» являются просто-напросто *национальными государствами*. Тем не менее, хотя

социолог, говорящий о конкретном обществе, может время от времени использовать вместо слова «общество» термин «нация» или «страна», особенности национального государства редко получают теоретическую оценку. Для объяснения природы современных обществ нам необходимо ухватить специфические особенности национального государства — типа социальной общности, находящегося в резком контрасте с государствами, предшествовавшими современности.

Вторая причина имеет отношение к определенным теоретическим интерпретациям, которые были тесно связаны с понятием общества. Одно из наиболее влиятельных толкований такого рода принадлежит Толкотту Парсонсу^{ix}. Согласно Парсонсу, важнейшей задачей социологии является решение «проблемы порядка». Проблема порядка является основной для понимания замкнутости социальных систем, поскольку она определена как вопрос об интеграции — что удерживает систему от распада перед лицом разницы интересов, ведущей к «противостоянию всех против всех»?

Я не считаю полезным такой способ мышления о социальных системах^x. Нам следует переформулировать вопрос о порядке как вопрос о том, как получается, что социальные системы «связывают» время и пространство. Проблема порядка здесь рассматривается как проблема *дистанции времени и пространства*, то есть условий, при которых время и пространство организуются таким образом, чтобы связывать присутствие и отсутствие. Концептуально этот вопрос следует отличать от вопроса о «замкнутости» социальной системы. Современные общества (национальные государства) хотя бы в некоторых отношениях

имеют четко определенные границы. Но все такие общества, кроме того, переплетены друг с другом посредством связей и отношений, рассекающих социополитическую систему государства и культурный строй «нации». Фактически ни одно из обществ, предшествовавших эпохе современности, не было ограничено столь четко, как современные национальные государства. Аграрные цивилизации имели «рубежи» в географическом смысле этого слова, тогда как земледельческие сообщества меньшего размера и общества охотников и собирателей, как правило, незаметно переходили в окружающие их группы и не имели территориального характера в том же смысле, в каком его имели территориальные общества, возникающие на основе государств.

В условиях современности, уровень дистанциации времени и пространства гораздо выше, чем даже в самых развитых из аграрных цивилизаций. Но в этом есть нечто большее, чем просто увеличение способности социальных систем к покрытию пространства и времени. Нам следует несколько углубиться в проблему того, как социальные институты современности оказываются «размещенными» во времени и пространстве, чтобы описать некоторые отличительные особенности современности в целом.

3. В различных, несогласных друг с другом в прочих отношениях, направлениях мысли, социология рассматривается как наука, вырабатывающая знание о современной социальной жизни, которое может быть использовано для предсказания и контроля. Особенно известны два варианта этого сюжета. Один из них — это мнение о том, что социология предоставляет информацию о социальной жизни, которая может дать нам

некий контроль над социальными институтами, подобный тому контролю, который обеспечивают нам физические науки в отношении природы. Считается, что социологическое знание находится в инструментальном отношении к тому социальному миру, о котором оно говорит; такое знание может быть применено подобно некоей технологии для осуществления вмешательства в социальную жизнь. Прочие мыслители, включая Маркса (или по крайней мере Маркса в соответствии с некоторыми интерпретациями его работ), приняли другую точку зрения. Для них ключевой является идея «использовать историю для того, чтобы делать историю»: сведения, добытые социальной наукой, не могут быть просто применены к некоему пассивному предмету, но должны быть обработаны самосознанием социальных агентов.

Это последнее воззрение, несомненно, является более утонченным, чем предыдущее, но и оно все же неадекватно, поскольку используемая им концепция рефлексивности слишком проста. Связь между социологией и ее предметом — действиями людей в условиях современности — следует понимать скорее в терминах «двойной герменевтики»^{xi}. Развитие социологического знания паразитирует на понятиях «обычных» социальных агентов; с другой стороны, понятия, вводимые в оборот в метаязыках социальных наук, регулярно возвращаются в универсум действий, для описания или объяснения которых они были изначально сформулированы. Но само по себе это не делает социальный мир понятным. *Социологическое знание развивается по спирали, входя в универсум социальной жизни и отталкиваясь от него, реконструируя и себя, и этот универсум в качестве неотъемлемой части этого процесса.*

Это некая модель рефлексивности, но в ней нет параллелизма между накоплением социального знания, с одной стороны, и постепенно расширяющимся контролем над социальным развитием — с другой. Социология (и другие науки, имеющие дело с живыми людьми) не создает кумулятивно накапливающегося знания в том же смысле, в каком это можно сказать о естественных науках. Напротив, «проникновение» социологических понятий или претензий на знание в социальный мир — процесс, не поддающийся простому управлению как со стороны тех, кто их выдвигает, так и со стороны групп влияния и органов государственного управления. Тем не менее практическое влияние социальной науки и социологических теорий огромно, и социологические понятия и открытия существенным образом участвуют в определении того, что *есть* современность. Ниже я раскрою значимость этого момента несколько более детально.

Я намерен показать, что если мы заинтересованы в адекватном понимании природы современности, то нам необходимо отойти от существующих в социологии воззрений во всех вышеупомянутых отношениях. Нам придется объяснить предельный динамизм и глобальное распространение институтов современности и выяснить природу их разрывов с традиционными культурами. Я обращусь к характеристике этих институтов позднее, прежде всего поставив вопрос о том, каковы источники динамической природы современности. В ходе формулирования ответа на этот вопрос может быть выделено несколько групп элементов, каждая из которых имеет отношение как к динамизму, так и к «всемирности» институтов современности.

Динамизм современности проистекает из *разделения времени и пространства* и их воссоединения в формах, допускающих точное пространственно-временное «зонирование» социальной жизни; *высвобождения* социальных систем (феномена, тесно связанного с факторами, задействованными при разделении времени и пространства); и *рефлексивного упорядочивания и перегруппировки* социальных отношений на основе непрерывного входящего потока знаний, оказывающего влияние на действия индивидов и групп. Я проанализирую все эти явления несколько более детально (что требует некоего предварительного обзора природы доверия), начав с упорядочивания пространства и времени.

СОВРЕМЕННОСТЬ, ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ

Для понимания тесной связи между современностью и трансформацией пространства и времени нам следует начать с ряда противопоставлений их пространственно-временным отношениям в мире, предшествовавшем современности.

Все предшествовавшие современности культуры обладали некоторыми способами вычисления времени. Календарь, например, является столь же характерной особенностью аграрных государств, как и изобретение письменности. Но расчет времени, безусловно составлявший основу повседневной жизни для большинства населения, всегда связывал время с местом — и был, как правило, неточен и неустойчив. Никто не мог определить время суток без отсылки к маркерам социального пространства: «когда» было почти всегда связано с «где» или

определялось посредством повторяющихся природных явлений. Изобретение механических часов и их появление практически у всех членов популяции (явление, возникновение которого может быть датировано, самое раннее, концом XVIII века) имели ключевое значение для отделения времени от пространства. Часы выражали собой единый параметр «пустого» времени, данный в количественной форме таким образом, чтобы сделать возможным четкое обозначение «зон» дня (например, «рабочего дня») ^{xii}.

Связь времени с пространством (и местом) должно было сохраняться до тех пор, пока стандартизация измерений времени посредством механических часов не была дополнена стандартизованной социальной организацией времени. Сдвиг в этом отношении начался вместе с (пространственным) расширением современности и не был закончен до настоящего столетия. Одним из основных его аспектов является всемирная стандартизация календарей. Сегодня каждый следует одной и той же системе датировок: наступление «двухтысячного года», к примеру, является глобальным событием. Различные даты празднования Нового года продолжают сосуществовать, но встраиваются в метод датировки, ставший универсальным для любых видов задач. Другим аспектом является стандартизация времени в различных регионах. Еще в конце XIX века различные территории в рамках одного государства часто жили по разным «временам», а при переходе от одного государства к другому ситуация становилась еще более хаотичной ^{xiii}.

«Опустошение времени» во многом является предпосылкой «опустошения пространства» и стоит, поэтому, выше него в иерархии причинно-следственных связей. Ибо, как я буду утверждать

ниже, координация во времени является основой контроля над пространством. Появление «пустого пространства» может быть понято в терминах отделения пространства от *места*. Важно подчеркнуть различие между двумя этими понятиями, поскольку они зачастую используются как более или менее синонимичные. «Место» лучше всего осмысливать с помощью понятия «округа», отсылающего к физическому окружению социальной деятельности в его географическом расположении^{xiv}. В обществах, предшествовавших современности, пространство и место во многом совпадают, поскольку пространственные параметры социальной жизни для большей части населения и в большинстве отношений заняты «присутствием», то есть деятельностью в определенном окружении. Наступление современности все больше отрывает пространство от места, способствуя развитию отношений между «отсутствующими» другими, удаленными в смысле своего местоположения от любой данной ситуации личного взаимодействия. В условиях современности место становится все более и более *фантастическим*: то есть отдельные округа оказываются полностью заполненными и оформленными посредством весьма отдаленных от них социальных влияний. То, что определяет структуру округа, попросту не является тем, что находится на виду; «видимая форма» округа скрывает дистанцированные отношения, определяющие ее природу.

Удаление пространства от места не находится, как в случае со временем, в тесной связи с появлением единых способов измерения. Средства устойчивого подразделения пространства всегда были доступнее средств единообразного измерения времени. Возникновение «пустого пространства» свя-

зано прежде всего с двумя группами факторов: позволяющими представить пространство без ссылок на избранную округу, образующую в нем особого рода наблюдательный пункт и обеспечивающими возможность взаимных подстановок различных пространственных объектов. «Открытие» «отдаленных» частей света западными путешественниками и первооткрывателями было необходимым условием и тех и других. Прогрессирующее картирование земного шара, приведшее к созданию всеобщих карт, где перспектива играла лишь незначительную роль в представлении географического положения и формы, утвердила пространство в качестве «независимого» от какого-либо конкретного места или региона.

Отделение времени от пространства не должно рассматриваться в качестве прямолинейного процесса, никогда не обращавшегося вспять или имеющего всеобщий характер. Напротив, как любая из тенденций развития, он обладает диалектическими свойствами, провоцируя на противоположные описания. Более того, разъединение пространства и времени создает основу для их воссоединения в отношении к социальной деятельности. Это легко показать на примере расписания. Расписание, например указатель времени отправления поездов, может на первый взгляд показаться всего лишь временным графиком. Но фактически это инструмент упорядочивания пространства-времени, показывающий одновременно и куда, и когда прибывают поезда. Как таковое, расписание обеспечивает комплексную координацию поездов и перевозимых ими пассажиров и грузов на протяжении значительных отрезков пространства-времени.

Почему разделение пространства и времени имеет решающее значение для предельного динамизма современности?

Во-первых, оно является основной предпосылкой процессов высвобождения, которые вскоре станут предметом моего анализа. Разделение пространства и времени и их оформление в виде стандартизированных «пустых» параметров проникают сквозь связи между социальной деятельностью и ее «связыванием» в мельчайших подробностях контекстов присутствия. Высвобожденные институты значительно расширяют сферу дистанциации времени и пространства и для достижения этой цели ставятся в зависимость от координации в пространстве и времени. Это явление благоприятствует раскрытию многообразия возможностей изменения посредством освобождения от ограничений, накладываемых местными обычаями и практиками.

Во-вторых, оно составляет приводной механизм для такой характерной особенности современной жизни, как рационализованная организация. Организации (включая современные государства) могут порой обладать некоторой статичностью и инертностью, которую Вебер связывал с бюрократией, но чаще они проявляют динамизм, находящийся в резком контрасте с социальными порядками, предшествовавшими современности. Современные организации в состоянии связать местное и глобальное способами, которые были бы немыслимы в более традиционных обществах, и поступая таким образом, они ежедневно оказывают влияние на жизни миллионов людей.

В-третьих, связанный с современностью радикальный историзм зависит от способов «внедрения» в пространство и время, недоступных пред-

ществовавшим ей цивилизациям. «История» как систематическое освоение прошлого с целью помочь в формировании будущего получила первый важный стимул для своего развития с появлением ранних аграрных государств, но развитие институтов современности придало ей принципиально новый импульс. Стандартизированная система датировок, теперь признанная повсеместно, позволяет обрести единое прошлое независимо от степени, в которой такая «история» подвергается противоположным интерпретациям. Кроме того, учитывая всеобщее нанесение поверхности земного шара на карту, принимаемое ныне как само собой разумеющееся, единое прошлое — это такое прошлое, которое всемирно; время и пространство воссоединяются, создавая подлинно всемирно-историческую систему координат для действия и опыта.

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ

Теперь я перехожу к рассмотрению высвобождения социальных систем. Под высвобождением я понимаю «вынесение» социальных отношений из местных контекстов взаимодействия и их перестройку в неограниченных пространственно-временных масштабах.

Социологи часто обсуждали переход от традиционного к современному миру в терминах понятий «дифференциация» и «функциональная специализация». Переход от мелких социальных систем к аграрным цивилизациям, а затем к современным государствам, в соответствии с этим воззрением может рассматриваться как процесс нарастающей внутренней диверсификации. Против такой точки зрения можно выдвинуть разно-

образные возражения. Она часто сочетается с эволюционным мирозерцанием, не уделяет внимания «проблеме границ» при анализе социальных систем и довольно часто основана на функционалистских представлениях^{xv}. Для настоящей дискуссии, однако, важнее тот факт, что такой взгляд не дает приемлемого решения вопроса дистанциации времени и пространства. Понятия дифференциации и функциональной специализации не приспособлены должным образом к рассмотрению феномена разграничения пространства и времени социальными системами. А вот термин «высвобождение» удачнее передает идею сдвига настроек пространства и времени, имеющего большое значение в качестве базового элемента социальных изменений вообще и природы современности в частности.

Я хотел бы выделить два типа механизмов высвобождения, существенным образом задействованных в развитии современных социальных институтов. Первый из них я обозначу как создание *символических знаковых систем*; второй назову образованием *экспертных систем*.

Под символическими знаковыми системами я подразумеваю средства обмена, которые могут «находиться в обороте» независимо от специфических свойств индивидов или групп, использующих их в каждый данный момент. Можно выделить различные типы символических маркеров, например, средства политической легитимации; здесь я сосредоточу свое внимание на маркере «деньги».

Природа денег широко обсуждалась в социологии и, по очевидным причинам, неизменно остается в центре внимания экономики. В своих ранних работах Маркс говорит о деньгах как о «наложнице всесветной», о средстве обмена, которое отрицает со-

держание товаров и услуг, подставляя вместо них некий безличный стандарт. Деньги позволяют обменивать что угодно на что угодно, независимо от наличия у вовлеченных в обмен товаров какого-либо существенного сходства. Критические комментарии Маркса по поводу понятия денег предвосхищают проведенное им в дальнейшем различие между потребительной и меновой стоимостью. Деньги дают возможность обобщить второе из этих понятий благодаря своей роли «чистого товара»^{xvi}.

Однако наиболее глубокое и утонченное объяснение связей между деньгами и современностью принадлежит Георгу Зиммелю^{xvii}. Вскоре я вернусь к этой теме, поскольку буду опираться на это объяснение в моих рассуждениях о деньгах как механизме высвобождения. Между тем следует заметить, что интерес к социальному характеру денег в более позднее время присутствует в работах Толкотта Парсонса и Никласа Лумана. Основным автором здесь является Парсонс. Согласно ему, деньги являются одним из типов «средств обмена» в современных обществах, остальными же типами являются власть и язык. Хотя подходы Парсонса и Лумана имеют ряд сходств с тем, о чем я буду говорить ниже, для меня неприемлема основа их исследований. Ни власть, ни язык не могут быть поставлены на одну доску с деньгами и прочими механизмами высвобождения. Власть и использование языка являются существенными чертами социального действия в самом общем плане, а не специфическими социальными формами.

Что есть деньги? Экономисты так и не пришли к согласию по поводу ответа на этот вопрос. Однако работы Кейнса, по-видимому, представляют собой наилучшую отправную точку для его рассмотрения. Среди моментов, которым Кейнс уделяет особое

внимание — самостоятельный характер денег, строгий анализ которого отделяет его работы от тех вариантов неоклассической экономической мысли, где, по выражению Леона Вальраса, «деньги не существуют»^{xviii}. Кейнс прежде всего проводит различие между деньгами как средством расчета и собственно деньгами^{xix}. В своей ранней форме деньги отождествляются с долгом. «Товарные деньги», поэтому, могут быть обозначены в качестве первого шага на пути преобразования бартерной экономики в денежную. Основной сдвиг начинается тогда, когда расписки о признании долга могут замещать собственно товары в ходе урегулирования сделок. Такая «расписка о добровольном признании долга» может быть выпущена любым банком и представляет собой «деньги банковского оборота». Деньги банковского оборота являются признанием частного долга до тех пор, пока они не получают более широкого распространения. Это движение к деньгам в собственном смысле слова подразумевает вмешательство государства, выступающего как гарант их ценности. Только государство (под которым здесь подразумевается современное национальное государство) в состоянии трансформировать сделки по поводу частных долгов в общепринятое средство обмена — другими словами, сбалансировать дебет и кредит в отношении неопределенно большого числа таких сделок.

Таким образом, деньги в их развитой форме определяются прежде всего в терминах долга и кредита, где эти последние относятся к множеству широко рассеянных взаимных обменов. Именно по этой причине Кейнс тесно связывает деньги со временем^{xx}. Деньги — это способ отсрочки платежа, дающий средства для того, чтобы свести доходы с долговыми обязательствами в

ситуации, где непосредственный обмен продуктами невозможен. Деньги, мы могли бы сказать, есть средство сжатия времени и, таким образом, извлечения сделок из уникального окружения данного акта обмена. Говоря точнее, в терминах, введенных выше, деньги есть средство дистанциации времени и пространства. Деньги обеспечивают вступление в силу сделок между агентами, далеко отстоящими друг от друга в пространстве и времени. Пространственный подтекст денег хорошо описан Зиммелем, который указывает, что «роль денег связана с пространственной дистанцией между индивидом и его имуществом... Только в том случае, когда прибыль предприятия принимает форму, в которой она может быть легко передана в любое другое место, она гарантирует собственности и ее владельцу, через их пространственное разделение, высокую степень независимости, или, другими словами, самостоятельности действий... Способность денег сжимать расстояния позволяет владельцу и его имуществу существовать на таком удалении друг от друга, чтобы каждый из них мог действовать по своему усмотрению в большей степени, нежели в те времена, когда владелец и его имущество все еще находились в непосредственной взаимосвязи, и когда каждое экономическое взаимодействие было также личным взаимодействием»^{xxi}.

Высвобожденность, обеспеченная в рамках современных денежных экономик, гораздо выше той, что имела в любой из предшествовавших современности цивилизаций, в которых существовали деньги. Даже наиболее развитые денежные системы эры, предшествовавшей современности, такие как денежная система Римской империи, несколько не продвинулись за пределы, в терминологии

Кейнса, товарных денег в вещественной форме звонкой монеты. Сегодня же «собственно деньги» независимы от средств их представления и принимают форму чистой информации, оседающей в виде цифр на распечатках с компьютера. Плохая метафора — рассматривать деньги, как это делает Парсонс, как «средства обмена». В виде монеты или наличных деньги находятся в обороте; но в современной экономике значительная часть сделок с деньгами не принимает такой формы. Ченчини указывает, что привычные идеи о том, что деньги «обращаются» и что о них можно думать как о «потоке», по сути, вводят в заблуждение^{xxii}. Если бы деньги были потоком, скажем, подобным водному потоку, то их обращение выражалось бы непосредственно в терминах времени. Отсюда следовало бы, что чем больше его скорость, тем более узкий поток требуется для того, чтобы то же количество денег протекло за единицу времени. В случае денег это означало бы, что их количество, необходимое для данной сделки, пропорционально скорости их обращения. Но это просто-напросто чепуха — утверждать, что выплата £100 вполне могла быть произведена с помощью £50 или £10. Деньги связаны со временем (точнее, с пространством-временем) не в качестве потока, а в качестве средства разграничения пространства-времени посредством сцепления сиюминутности и отсрочки, присутствия и отсутствия. Говоря словами Р. С. Сайерса: «Ни один актив не работает в качестве средства обмена вне самого момента передачи от одного владельца другому при урегулировании некоторой сделки»^{xxiii}.

Деньги являются примером механизмов высвобождения, связанных с современностью; я не буду пытаться детализировать здесь существенный вклад развитой денежной экономики в определе-

ние характера институтов современности. Однако «собственно деньги», конечно же, являются существенной частью современной социальной жизни, и, в равной степени, особым типом символических знаковых систем. Они имеют фундаментальное значение для высвобождения современной экономической деятельности в целом. Одной из наиболее характерных форм высвобождения современного периода, к примеру, является расширение капиталистических рынков (включая денежные рынки), которые сравнительно рано приобретают международный масштаб. «Собственно деньги» неотделимы от удаленных сделок, предполагаемых существованием таких рынков. Кроме того, как указывает Зиммель, они являются существенной предпосылкой особенностей владения собственностью и возможности ее отчуждения в современной экономической деятельности.

Все механизмы высвобождения — и символические знаковые системы, и экспертные системы — зависят от *доверия*. Доверие поэтому фундаментальным образом вовлечено в институты современности. Доверием здесь облечены не индивиды, а абстрактные позиции. Каждый, кто использует денежные знаки, делает так в предположении, что другие, с которыми он или она никогда не сталкиваются, признают их ценность. Но тем, чему доверяют, являются деньги как таковые, а не только лишь, и даже не преимущественно, те лица, с которыми производятся конкретные сделки. Я рассмотрю общие свойства доверия несколько ниже. Ограничивая пока наше внимание конкретным примером денег, можно отметить, что связи между деньгами и доверием особым образом выделяются и анализируются Зиммелем. Подобно Кейнсу, он связывает

доверие в ходе сделок с деньгами с «уверенностью общества в выпускающем деньги правительстве».

Зиммель различает уверенность в деньгах и «слабое индуктивное знание», задействованное во многих фьючерсных сделках. Так, если бы фермер не был уверен, что поле даст урожай в будущем году такой, как в предыдущие годы, он или она не стали бы сеять. Доверие же к деньгам подразумевает нечто большее, чем расчет достоверности наступления неких вероятных в будущем событий. Доверие существует, утверждает Зиммель, когда мы «верим в» кого-то или в какой-то принцип: «Оно выражает чувство, что между нашей идеей о бытии и самим бытием имеется определенная связь и единство, некая согласованность в нашем понимании его, а также убежденность и отсутствие сопротивления в уступке нашего Я этому пониманию, которое может опираться на какие-то конкретные основания, но не может быть объяснено ими»^{xxiv}. Доверие, коротко говоря, есть форма «веры (faith)», в которой уверенность, придаваемая возможным результатам действий, выражает некое обязательство, а не просто суждение о знании. В действительности, и ниже я рассмотрю это более подробно, модусы доверия, используемые институтами современности, по природе своей основаны на нечетком и частичном понимании их «базы знаний».

Рассмотрим теперь природу экспертных систем. Под экспертными системами я подразумеваю системы технического исполнения или профессиональной экспертизы, организующие значительные фрагменты материального и социального окружения, в котором мы сегодня живем^{xxv}. Большинство «обычных людей» обращаются к консультациям «профессионалов» — адвокатов,

архитекторов, врачей и т. д. — лишь периодически или от случая к случаю. Но системы, объединяющие в единое целое знания экспертов, оказывают на многие аспекты того, что мы делаем, *постоянное* влияние. Просто сидя у себя дома, я уже вовлечен в экспертную систему или последовательность таких систем, на которые полагаюсь. Я не испытываю особых страхов, поднимаясь вверх по лестнице моего жилища, хотя и знаю, что в принципе вся эта конструкция может обрушиться. Я мало что знаю о своде знаний, использованных архитектором и строителем при проектировании и постройке этого дома, но тем не менее я «верую» в то, что они сделали. Я «верую» не столько в них, хотя мне и приходится доверять их квалификации, сколько в подлинность применяемого ими экспертного знания, то есть во что-то, что сам я не могу полностью проверить.

Когда я выхожу из дома и сажусь в автомобиль, я попадаю в окружение, во все элементы которого проникает экспертное знание — относящееся к проектированию и изготовлению автомобилей, шоссе, перекрестков, светофоров и многих других предметов. Каждому известно, что вождение автомобиля — опасное занятие, влекущее риск попасть в аварию. Предпочитая отправиться в путь на автомобиле, я принимаю этот риск, но полагаюсь на вышеупомянутые компетенции как на гарантию того, что этот риск минимизирован настолько, насколько это возможно. Я знаю очень мало о том, как работает автомобиль, и в состоянии самостоятельно исправить лишь незначительные поломки в случае, если с ним что-то будет не так. Я почти ничего не знаю о технических подробностях способов постройки дорог, техобслуживания и ремонта дорожных

покрытий или о компьютерах, помогающих контролировать движение транспортных потоков. Когда я паркую автомобиль в аэропорту и сажусь на самолет, я попадаю в сферу действия других экспертных систем, мои технические познания о которых находятся, самое большее, в зачаточном состоянии.

Экспертные системы являются механизмами высвобождения, поскольку, как и символические знаковые системы, они вычлениают социальные отношения из их непосредственного контекста. Оба типа механизмов высвобождения предполагают, но также и поддерживают процессы отделения времени от пространства как необходимое условие поощряемого ими процесса дистанциации времени и пространства. Экспертная система высвобождает, как и символические знаковые системы, путем предоставления гарантий ожиданиям, дистанцированным в пространстве и времени. Такое «растягивание» социальных систем достигается благодаря безличной природе тестов, применяемых для оценки технических знаний, и публичной критике (на которой основано производство технических знаний), используемой для надзора за их формой.

Повторим: для «обычного» человека доверие к экспертным системам не зависит ни от полного понимания всех этих процессов, ни от владения связанными с ними знаниями. Доверие неизбежно оказывается в некоторых отношениях чем-то вроде религиозного догмата. Это утверждение не следует понимать чересчур упрощенно. Момент «слабого индуктивного знания» Зиммеля, несомненно, очень часто присутствует в экспертных системах. В этих «догмах» имеется прагматический элемент, основанный на опытной знании о том,

что эти системы в целом работают так, как они должны работать. К тому же над профессиональными ассоциациями часто стоят разрешающие органы, созданные для защиты потребителей экспертных систем — структуры, лицензирующие промышленные установки, осуществляющие надзор за стандартами, используемыми производителями самолетов и т. д. Все это, однако, не отменяет истинности наблюдения о том, что все механизмы высвобождения подразумевают отношение доверия. Рассмотрим теперь, как следует понимать идею «доверия», какова общая связь между доверием и дистанциацией времени и пространства.

ДОВЕРИЕ

Термин «доверие» довольно часто используется в обычной речи^{xxvi}. Некоторые из смыслов этого термина, хотя и обладают общим сходством с другими способами его употребления, содержат не вполне очевидный подтекст. Человек, говорящий «Я полагаю, что Вы в порядке» (I trust you are well), хочет сказать этим вежливым обращением лишь немногим больше, чем «Я надеюсь, что Вы в добром здравии», хотя даже здесь «полагаю» утверждает больше, чем «надеюсь», подразумевая нечто более близкое к «Я надеюсь и не имею причин сомневаться». Здесь уже может быть обнаружена установка упования или уверенности, входящая в доверие в качестве его составной части в некоторых более насыщенных смыслами контекстах. Когда кто-то говорит: «Можете положиться на то, что X поведет себя таким-то образом» (Trust X to behave that way), этот смысл становится более явным, хотя он лишь

немногим сильнее «слабого индуктивного знания». Считается, что можно положиться на то, что X реализует указанное поведение, если даны соответствующие условия. Но эти варианты словоупотребления не так уж интересны с точки зрения вопросов, рассматриваемых в настоящем рассуждении, поскольку они не отсылают к социальным отношениям, включающим доверие. Они не связаны с системами обеспечения доверия, но являются знаками, отсылающими к поведению других; от индивида, участвующего в их использовании, не ожидается проявления той «веры», которая подразумевается доверием в более характерных его смыслах.

Основное определение доверия в Оксфордском словаре английского языка описывает его как «упование на или уверенность в наличии некоторого качества или атрибута у какого-либо лица или вещи, или в истинности некоторого утверждения», и это определение является удобной отправной точкой для нашего обсуждения. «Уверенность» и «упование», несомненно, как-то связаны с той «верой», о которой, вслед за Зиммелем, я уже говорил. Признавая тесную связь между уверенностью (confidence) и доверием (trust), Луман проводит между ними различие, составляющее основу его работ, посвященных доверию^{xxvii}. Доверие, говорит он, должно быть понято именно в его связи с «риском», термином, возникающим только в период современности*. Это понятие было вызвано к жизни пониманием того, что непредвиденные

* Слово «риск», судя по всему, проникло в английский язык в XVII веке и, вероятно, происходит от испанского мореходного термина, означающего столкновение с опасностью или движение в сторону утесов.

результаты могут быть скорее следствием наших собственных действий и решений, чем выражением скрытых замыслов природы или неизреченных намерений Божества. Риск в значительной мере занимает место того, о чем раньше думали как о *fortuna* (жребий или судьба), и теряет связь с космологиями. Доверие предполагает осознание обстоятельств риска, тогда как уверенность — нет. И доверие, и уверенность отсылают к ожиданиям, которые могут быть подавлены или угнетены. Уверенность, как ее понимает Луман, означает более или менее общепринятую установку на то, что знакомые вещи не изменятся: «Стандартным примером является уверенность. Вы уверены в том, что не разочаруетесь в своих ожиданиях: что политики попытаются избежать войны, что автомобили не будут ломаться или внезапно съезжать с проезжей части, чтобы сбить вас во время воскресной прогулки. Вы не можете жить, не формируя каких-либо ожиданий в отношении случайных событий, и при этом вам приходится в той или иной мере пренебрегать возможностью разочарования в них. Вы пренебрегаете ей, потому что она незначительна, но также и потому, что вы не знаете, что с этим делать. Единственная альтернатива здесь — жить в постоянной нерешительности, убегая от своих ожиданий и не будучи в состоянии чем-либо заменить их»^{xxviii}.

Там, где замешан риск, по мнению Лумана, альтернативы сознательно учитываются индивидом в процессе его решения вести себя определенным образом. Тот, кто покупает подержанный автомобиль вместо нового, рискует приобрести рухлядь. Он или она доверяется продавцу или репутации фирмы в том отношении, что они

постараются избежать этого неприятного исхода. Так что индивид, не рассматривающий альтернативы, находится в ситуации уверенности, тогда как тот, кто рассматривает эти альтернативы и пытается принять меры в отношении признаваемых таким образом рисков, вовлекается в ситуацию доверия. В ситуации уверенности человек реагирует на разочарование обвинениями в адрес других; в обстановке доверия она или он должен взять на себя часть вины и может сожалеть о том, что доверился кому-то или чему-то. Различие между доверием и уверенностью зависит от того, влияет ли предшествующее поведение человека на возможность неудачи, а следовательно, от связанного с ним различия между риском и опасностью. Поскольку понятие риска возникло не так давно, утверждает Луман, возможность развести риск и опасность должна быть порождена социальными характеристиками современности. По сути, она вытекает из осознания того факта, что большая часть случайностей, влияющих на человеческие действия, создана людьми, а не установлена Богом или природой.

Подход Лумана имеет большое значение и привлекает наше внимание к ряду понятийных различий, которые следует провести в процессе осмысления доверия. И все же я не считаю, что можно согласиться с деталями его концептуализации. Он, безусловно, прав, проводя различие между доверием и уверенностью и между риском и опасностью и утверждая, что все они некоторым образом тесно связаны друг с другом. Но бесполезно связывать понятие доверия со специфической ситуацией сознательного размышления индивидов над различными доступными им образами действий. Состояние доверия обычно длится гораздо

дольше, чем предполагается в этом случае. Оно, как я утверждаю ниже, скорее является особым видом уверенности, нежели чем-то отличным от нее. Аналогичные замечания имеют силу и для риска и опасности. Я не согласен с утверждением Лумана, что «если вы воздерживаетесь от действия, то вы не рискуете»^{xxix} — другими словами, ни на что не отбавиваясь, ничего (потенциально) не теряешь. Бездействие часто является рискованным, и существуют риски, с которыми нам всем приходится иметь дело, нравится нам это или нет, такие как риски экологической катастрофы или ядерной войны. Более того, нет внутренней связи между уверенностью и опасностью, даже если понимать их в соответствии с определениями Лумана. Опасность существует в ситуации риска и фактически связана с определением того, чем является риск, — риски, связанные с пересечением Атлантического океана на маленькой лодке, к примеру, значительно выше рисков того же путешествия, предпринятого на большом лайнере, в силу изменения вовлеченного в них элемента опасности.

Я предлагаю иное осмысление доверия и сопутствующих ему понятий. Для удобства изложения я расположу составляющие его элементы в виде последовательности из десяти пунктов, включающих определение доверия и, кроме того, дающих в развернутой форме ряд связанных с ним наблюдений.

1. Доверие связано с отсутствием во времени и в пространстве. Нет нужды доверять кому-то, чьи действия постоянно на виду, а мыслительные процессы полностью прозрачны, или доверять некоторой системе, чья работа до конца известна и понятна. Утверждалось, что доверие есть «инструмент для работы со свободой других»^{xxx},

но главным условием необходимости доверия является не недостаток силы, а отсутствие полной информации.

2. Доверие в основании своем связано не с риском, а со случайностью. Доверие всегда подразумевает надежность вопреки случайности полученных результатов, независимо от того, относятся ли они к действиям индивидов или к работе систем. В случае доверия к человеческим агентам презумпция надежности содержит приписывание им «добраго имени» (репутации) или любви. Вот почему доверие к людям важно в психологическом отношении для доверяющего индивида: морально он становится заложником судьбы.

3. Доверие — не то же самое, что вера в надежность человека или системы; оно есть то, что возникает из этой веры. Доверие — это именно связь между верой и уверенностью, и именно это отличает его от «слабого индуктивного знания». Последнее есть уверенность, основанная на некоторого рода власти над обстоятельствами, в которых уверенность является оправданной. *Всякое же доверие есть в некотором смысле слепое доверие.*

4. Мы можем говорить о доверии к символическим знаковым системам или к экспертным системам, но оно опирается на веру в правильность неизвестных принципов, а не на веру в «моральную устойчивость» (добрые намерения) других. Конечно, доверие к людям всегда до определенной степени учитывается в доверии к системам, но оно относится, скорее, к их *правильной* работе, а не к их деятельности как таковой.

5. Здесь мы подходим к определению доверия. Доверие можно определить как уверенность в надежности человека или системы в отношении некоторого данного множества ожидаемых результатов

или событий, где эта уверенность выражает веру в доброе имя или любовь другого или в правильность абстрактных принципов (технического знания).

6. В условиях современности доверие существует в контексте (а) общего сознания того, что человеческая деятельность — включая и воздействие технологии на материальный мир — скорее создается в обществе, чем дана в природе вещей или посредством божественного вмешательства; (б) сильно возросших возможностей человеческого действия к преобразованиям, вызванных динамическим характером социальных институтов современности. Понятие риска занимает место понятия *fortuna*, но не потому, что агенты до наступления современности были не в состоянии различать между риском и опасностью. Скорее оно выражает такое изменение в восприятии предзаданного и случайного, согласно которому человеческие моральные императивы, естественные причины и вероятность занимают господствующее место, вытесняя религиозные космологии. Идея вероятности в ее современном смысле возникает в то же время, что и риск.

7. Опасность и риск тесно связаны, но не совпадают. Разница между ними не зависит от того, сознательно ли индивид взвешивает альтернативы, размышляя над определенным планом действий или реализуя его. Риск предполагает именно опасность (не обязательно осознанную). Человек, рискующий чем-то, навлекает на себя опасность, где опасность понимается как угроза достижению желательного исхода. Каждый, кто принимает на себя «обдуманый риск», осознает угрозу или угрозы, которые вводятся в игру определенным образом действий. Но, несомненно, можно предпринимать действия или попадать в ситуации, которые сами

по себе являются рискованными, не осознавая всей их рискованности. Иными словами, не осознавая опасностей, которым подвергаешься.

8. Риск и доверие переплетаются, причем доверие, как правило, служит для минимизации опасностей, которым подвергаются определенные типы действий. Имеются некоторые обстоятельства, в которых стереотипные формы принятия риска становятся институтами в рамках окружающей их обстановки доверия (инвестиции на фондовом рынке, физически опасные виды спорта). Здесь умение и удача ограничивают риск, но обычно риск сознательно просчитывается. Во всех ситуациях доверия приемлемый риск попадает под рубрику «слабого индуктивного знания», при этом практически всегда имеется баланс между доверием и расчетом рисков в этом смысле. То, что рассматривается как «допустимый» риск, т. е. минимизация опасности, различно в различных контекстах, но почти всегда играет основную роль в поддержании доверия. Так, путешествие по воздуху может показаться само по себе опасным, поскольку самолет, как представляется, пренебрегает законами тяготения. Те, кто занят бизнесом в сфере авиаперевозок, парируют эти соображения, доказывая с помощью статистики, насколько низки риски воздушных перелетов с точки зрения количества смертей на одну пассажиро-милю.

9. Сфера риска не ограничена действиями индивидов. Существуют «ситуации риска», которые в совокупности влияют на крупные скопления индивидов — в некоторых случаях они способны охватить все население Земли, как, например, риск экологической катастрофы или ядерной войны. Мы можем определить «безопасность» как ситуацию, в которой определенное множест-

во опасностей нейтрализовано или минимизировано. Опыт безопасности обычно основывается на равновесии между доверием и допустимым риском. И как факт, и как опыт, безопасность может отсылать к большим совокупностям или коллективам людей — вплоть до глобальной безопасности включительно — или к индивидам.

10. Приведенные выше замечания ничего не говорят о том, что *противоположно* доверию — и эта противоположность не есть, как я буду утверждать ниже, всего лишь недоверие. Эти положения, кроме того, не так уж много говорят об условиях возникновения или исчезновения доверия; я буду обсуждать их несколько более детально в ниже следующих разделах.

РЕФЛЕКСИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОСТИ

Идея современности включает противопоставление традиции. Как мы уже отмечали, в реальных социальных ситуациях могут быть обнаружены многочисленные комбинации современного и традиционного. Действительно, некоторые мыслители утверждали, что их взаимосвязь настолько тесна, что лишает всякой ценности любое общее сравнение между ними. Но это, конечно же, неверно, в чем мы убедимся, исследовав отношение между рефлексивностью и современностью.

В некотором фундаментальном смысле рефлексивность является определяющим свойством любых человеческих действий. Все люди постоянно «находятся в курсе» мотивов своих действий, что является неотъемлемой частью этих действий. В другом своем исследовании я назвал это «рефлексивным мониторингом действия», используя эту фразу

для того, чтобы привлечь внимание к привычности происходящих здесь процессов^{xxx1}. Человеческое действие включает не цепи взаимодействий и мотивов, но последовательный — и, как показал нам прежде всего Ирвинг Гофман, никогда не ослабевающий — мониторинг поведения и его контекстов. Это не тот смысл, в котором рефлексивность особым образом связана с современностью, но он является необходимой основой для такого смысла.

В традиционных культурах прошлое находится в почете, и ценность символов состоит в том, что они вбирают и увековечивают опыт поколений. Традиция есть способ объединения рефлексивного мониторинга действий с пространственно-временной организацией сообщества. Это способ обращения с пространством и временем, который включает любое действие или опыт в непрерывную последовательность прошлого, настоящего и будущего, которые, в свою очередь, структурированы циклическими социальными практиками. Традиция не является полностью статичной, поскольку ее приходится заново изобретать каждому новому поколению, пока оно перенимает свое культурное наследие от предыдущих поколений. Традиция не столько противится изменениям, сколько находится в контексте, где существует лишь незначительное число отделенных друг от друга пространственных и временных маркеров, посредством которых изменению может быть придан какой-то смысл.

В устных культурах традиция как таковая неизвестна, хотя эти культуры и являются наиболее традиционными. Понимание традиции как чего-то отличного от других форм организации действий и опыта требует такого вторжения в пространство-время, которое становится воз-

можным только с изобретением письменности. Письменность повышает уровень дистанциации времени и пространства и создает перспективу прошлого, настоящего и будущего, в которой рефлексивное усвоение знания может быть отделено от того, что признано традицией. Однако в цивилизациях, предшествовавших современности, рефлексивность все еще во многом сводится к повторным толкованиям и разъяснению традиции, так что на весах времени чаша «прошлого» перевешивает чашу «будущего». Более того, поскольку грамотность монополизирована небольшой группой людей, привычный характер повседневной жизни остается связанным с традицией в старом смысле слова.

С наступлением современности рефлексивность принимает иной характер. Она включается в самую основу воспроизводства системы, так что мысль и действие приобретают постоянную отсылку друг к другу. Привычность повседневной жизни не связана существенным образом ни с каким прошлым, разве что в той мере, в какой то, что «делалось раньше», оказывается совпадающим с тем, что может быть обосновано со всей строгостью в свете приобретенного знания. Поддержка некоей практики только потому, что она традиционна, более не приемлется; традиция может быть оправдана, но только с точки зрения знания, подлинность которого не удостоверяется традицией. В сочетании с инерцией привычки это означает, что даже в наиболее модернизированных современных обществах традиция все еще играет некоторую роль. Но эта роль обычно гораздо менее значительна, чем предполагают авторы, внимание которых сосредоточено на интеграции традиции и современности в сегодняшнем мире. Ибо оправданная

традиция есть перереженная традиция, и источником ее идентичности является рефлексивность современного.

Рефлексивность современной социальной жизни заключается в том факте, что социальные практики постоянно исследуются и реформируются в свете вновь поступающей информации об этих же практиках, меняясь в результате этого в самых своих основах. Нам следует четко представлять себе природу этого явления. Все формы социальной жизни отчасти создаются знанием о них агентов. Знание того, «как продолжить» в смысле Витгенштейна, является существенной частью соглашений, используемых и воспроизводимых человеческой деятельностью. Во всех культурах социальные практики ежедневно меняются в свете непрерывно подпитывающих их открытий. Но только в эпоху современности пересмотр соглашений становится достаточно радикальным для того, чтобы охватить (в принципе) все аспекты человеческой жизни, включая технологическое вмешательство в состояние материального мира. Часто говорят, что для современности характерен вкус к новизне, но, возможно, эта характеристика не совсем точна. Характерной чертой современности является не принятие нового просто в силу его новизны, а презумпция всеобщей рефлексивности, включающая, разумеется, и рефлексии о природе самой рефлексии.

По всей вероятности, мы только сегодня, в конце XX века, приступаем к полному осознанию того, насколько глубокий разлад вносится этим воззрением в нашу жизнь. Ведь тогда, когда требования разума вытесняли требования традиции, казалось, что они обеспечивают большее

чувство уверенности, чем ранее существовавшие догмы. Но эта мысль представляется убедительной лишь до тех пор, пока мы не замечаем, что рефлексивность в действительности подрывает разум, во всяком случае там, где разум понимается как приобретение достоверного знания. Современность образуется в рамках и посредством рефлексивно применяемого знания, но приравнивание знания к достоверности оказалось неверно понятым. Мы заброшены в мир, который с начала и до конца образован посредством рефлексивно применяемых знаний, но в котором мы в то же время, никогда не можем быть уверены в том, что какой-либо данный элемент этого знания не будет пересмотрен.

Даже философы, с наибольшим упорством отстаивающие претензии науки на достоверность, например Карл Поппер, признают, что, как выражается сам Поппер, «основания любой науки подобны зыбучим пескам»^{xxxii}. В науке *ничто* не достоверно и ничего не может быть доказано, даже если усилия науки обеспечивают нам самую надежную информацию о мире, на которую мы только можем надеяться. В самой сердцевине мира строгой науки спонтанно движется современность.

Никакое знание в условиях современности не *есть* знание в «старом» смысле, где «знать» значит «знать достоверно». Это равным образом относится к естественным и к социальным наукам. Однако в случае социальных наук имеются дополнительные соображения. В этом пункте нам следует вспомнить сделанные ранее замечания относительно рефлексивных компонентов социологии.

В социальных науках к изменчивому характеру любого эмпирического знания мы должны

добавить «подрывной эффект» возвращения способов рассуждений, используемых в социальных науках, в те контексты, которые ими анализируются. Рефлексия, формализованной версией которой являются социальные науки (особый тип экспертного знания), является фундаментом рефлексивного характера современности в целом.

В силу тесной связи между Просвещением и защитой претензий разума, естественные науки обычно рассматривались как наиболее значимая область деятельности, создающая различия между современным мировоззрением и тем, что было до него. Даже те, кто предпочитает понимающую социологию натуралистической, как правило, рассматривают социологию как бедного родственника естественных наук, особенно учитывая масштабы технологического развития, вытекающего из соответствующих научных открытий. Но в действительности социальные науки гораздо глубже естественных вовлечены в современность, поскольку постоянный пересмотр социальных практик в свете знания об этих практиках включен в самые основы институтов современности^{xxxiii}.

Все социальные науки принимают участие в этой рефлексивной зависимости, хотя социология здесь занимает особенно важное место. Возьмем, для примера, дискурс современной экономики. Такие понятия, как «капитал», «инвестиция», «рынки», «индустрия» и многие другие, в их современных смыслах были разработаны в ходе ранних стадий развития экономики в качестве самостоятельной дисциплины в XVIII и начале XIX века. Эти понятия и связанные с ними эмпирические выводы были сформулированы в целях анализа из-

менений, связанных с возникновением институтов современности. Но они не могут быть отделены и не являются независимыми от действий и событий, которые они обозначают. Они стали существенной частью того, чем в действительности является «современная экономическая жизнь», и не отделимы от нее. Современная экономическая деятельность не была бы такой, как она есть, если бы не факт усвоения всеми членами популяции этих и неопределенно большого числа других понятий.

«Обычный» индивид не обязательно способен дать формальные определения таких терминов, как «капитал» или «инвестиция», но каждый, кто пользуется, скажем, сберегательным счетом в банке, проявляет подразумевающееся и практическое понимание этих понятий. Подобные им концепты и теории, а также связанная с ними эмпирическая информация, не являются лишь удобными инструментами, с помощью которых агенты в состоянии несколько более четко осознать свое поведение, нежели без них. Данные понятия активно формируют то, чем является такое поведение, и оказывают поддержку мотивам, на основании которых оно предпринимается. Невозможно четко отделить литературу, доступную экономистам, от той литературы, которая читается или проникает иным образом к заинтересованным группам в популяции: руководителям компаний, государственным служащим и частным лицам. Экономическая конъюнктура подвергается постоянным изменениям в свете этих новых данных, тем самым создавая ситуацию непрерывного взаимодействия между экономическим дискурсом и деятельностью, к которой он отсылает.

Ключевая позиция социологии в рамках рефлексивного характера современности возникает из выполняемой ею роли наиболее общего способа размышления о современной социальной жизни. Рассмотрим пример из «точной части» натуралистической социологии. Официальная статистика, публикуемая правительствами относительно, к примеру, численности населения, браков и разводов, преступлений и правонарушений и т. д., на первый взгляд, дает средство для точного изучения социальной жизни. Для первых представителей натуралистической социологии, таких как Дюркгейм, эта статистика представляла собой достоверные данные, на основании которых соответствующие аспекты современных обществ могут быть изучены более тщательно, чем без этих цифр. И все же официальная статистика не есть лишь аналитическое описание социальной активности, но, опять же, участвует в образовании того социального универсума, в котором она собирается или подсчитывается. С самого начала деятельность по обработке данных официальной статистики определяла характер государственной власти, а также многих других способов социальной организации. Согласованный административный контроль, которого добились современные правительства, неотделим от повседневного мониторинга «официальных данных», которым занимаются все ныне существующие государства.

Сведение воедино данных официальной статистики само по себе является рефлексивной деятельностью, пронизанной результатами тех самых социальных наук, которые используют эти данные. Практика судебных следователей, к примеру, является основой для сбора статистических данных о самоубийствах. Однако в своей интер-

претации причин/мотивов смерти следователи руководствуются понятиями и теориями, направленными на объяснение природы самоубийства. Не было бы ничего необычного в существовании судебного следователя, читавшего Дюркгейма.

Не ограничена рефлексивность официальной статистики и сферой государства. Каждый житель западной страны, начинающий семейную жизнь, к примеру, знает, что доля разводов высока (и может также знать много других фактов о демографии брака и семьи, каким бы неполным и несовершенным ни было бы это знание). Осведомленность о высокой доле разводов может повлиять на само решение о вступлении в брак, равно как и на решения по связанным с этим вопросам — мерам, принимаемым в отношении собственности и т. д. Знание об уровне разводов, кроме того, обычно представляет собой нечто гораздо большее, чем просто осознание голого факта. Оно теоретически оценивается «обычным» агентом способами, проникнутыми социологическим мышлением. Так, каждый, кто размышляет о браке, имеет некоторое представление о том, как изменялся институт брака, об изменениях социального положения мужчин и женщин относительно друг друга, о смене сексуальных нравов и т. д. — и все эти идеи участвуют в процессах дальнейших изменений, которые они рефлексивным образом поддерживают. Брак и семья не были бы тем, чем они являются сегодня, если бы они не были с начала и до конца «социологизированы» и «психологизированы».

Дискурс социологии и понятия, теории и сведения из других социальных наук непрерывно «пронизывают своими циркуляциями» то, о чем они говорят. В ходе этого они рефлексивно перестраи-

вают свой собственный предмет, который и сам приобрел способность мыслить социологически. *Современность как таковая по своей природе глубоко социологична.* Источником многих проблем для положения социолога в качестве поставщика экспертных знаний об общественной жизни является тот факт, что он или она не более чем на один шаг опережает занимающихся этими вопросами образованных непрофессионалов.

Поэтому тезис о том, что увеличение знаний о социальной жизни (даже если эти знания настолько основательно подкреплены опытом, насколько это вообще возможно) равносильно усилению контроля над нашей судьбой, ложен. Этот тезис (как можно показать) истинен относительно физического мира, но не относительно универсума общественных событий. Развитие нашего понимания социального мира могло бы вести нас ко все более ясному пониманию человеческих институтов, и, следовательно, к постоянно нарастающему «технологическому» контролю над ними, если бы социальная жизнь была либо полностью отделена от человеческого знания о ней, либо это знание могло непрерывно проникать в область мотивов социального действия, вызывая последовательное увеличение «рациональности» поведения относительно определенных целей.

Оба эти условия фактически выполнены во многих ситуациях и контекстах социальной деятельности. Но каждому из них еще очень далеко до того всеохватывающего влияния, которое выдвигается в качестве цели интеллектуальным наследием эпохи Просвещения. Дело обстоит таким образом из-за влияния четырех групп факторов.

Первая из них – фактически весьма значимая, но логически наименее интересная, или, во вся-

ком случае, наименее сложная для аналитической обработки – связана с разницей потенциалов. Усвоение знания не происходит единообразно, но зачастую преимущественным образом доступно лицам, находящимся у власти, способным поставить его на службу интересам своей группы.

Вторая группа влияний связана с ролью ценностей. Изменения в иерархии ценностей зависят от новых моментов в когнитивной ориентации, возникающих в результате изменений в воззрениях на социальный мир. Если бы новое знание могло быть связано с трансцендентальным рациональным основанием ценностей, эта ситуация не возникла бы. Но такого рационального основания ценностей не существует, и связь между изменениями в мирозерцании, вызванными поступлением новых знаний, и изменениями в ценностных ориентациях нестабильна.

К третьей группе факторов относятся воздействия непреднамеренных последствий человеческой деятельности. Никакой объем знаний, собранных о социальной жизни, не был бы в состоянии охватить все обстоятельства их применения, даже если бы эти знания были полностью отделены от среды их применения. Если бы наше знание социального мира лишь улучшалось, сфера непреднамеренных последствий наших действий могла бы сужаться, а нежелательные последствия становиться все более и более редкими. Однако рефлексивность современного мира отсекает эту возможность, и как таковая составляет четвертую группу участвующих здесь факторов влияния. Хотя она менее всего обсуждалась в связи с вопросом о пределах разума в понимании, характерном для эпохи Просвещения, она, несомненно, столь же значима, как и все прочие группы факторов.

Суть ее не в том, что не существует стабильного социального мира в качестве объекта познания, а в том, что знание об этом мире участвует в придании ему нестабильного или изменчивого характера.

Рефлексивность современности, которая напрямую задействована в непрерывном образовании систематического знания о себе, не придает устойчивости отношениям между экспертным знанием и знанием, применяемым в действиях «обычных» людей. Знание, на которое претендуют наблюдатели из числа экспертов (в некоторой части, и многими различными способами), возвращается в свою предметную область, тем самым (в принципе, но обычно и на практике) изменяя ее. У этого процесса нет параллелей в естественных науках; это совсем не то же самое, что происходит в физике микромира, где вмешательство наблюдателя изменяет то, что исследуется.

СОВРЕМЕННОСТЬ ИЛИ ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ?

Теперь мы можем связать обсуждение рефлексивности с полемикой относительно постсовременности. Термин «постсовременность» часто используется так, как если бы он был синонимичен с постмодернизмом, постиндустриальным обществом и т. д. Хотя идея постиндустриального общества, во всяком случае, в том виде, в каком она была разработана Дэниэлом Беллом^{xxxiv}, является вполне четкой, два оставшихся понятия, упомянутых выше, несомненно, не таковы. Здесь я буду проводить между ними различие. Постмодернизм, если это слово вообще хоть что-то значит, лучше зарезервировать для обозначения стилей и движений в

литературе, живописи, скульптуре и архитектуре. Он относится к аспектам *эстетического отображения* природы современности. Модернизм, хотя порой весьма нечетко намеченный, есть или был вполне определенным мирозерцанием в этих различных направлениях искусства, и о нем можно сказать, что он был вытеснен другими течениями постмодернистского свойства. (По этому вопросу, который я не буду здесь анализировать, могла быть написана отдельная работа.)

Постсовременность относится к чему-то совершенно иному, по крайней мере, согласно моему определению этого понятия. Если мы вступаем в стадию постсовременности, это означает, что траектория социального развития отдаляет нас от институтов современности в направлении нового и отличного от них типа социального строя. Постмодернизм, если он существует в чистом виде, мог бы выразить осознание такого перехода, но сам по себе еще не доказывает его существования.

Что обычно обозначает понятие постсовременности? За исключением общего смысла, означающего жизнь в период, несоответствие которого прошлому явным образом обозначено, этот термин обычно имеет одно или несколько из следующих значений: что мы обнаружили, что ни о чем невозможно знать с какой-либо степенью достоверности, поскольку была показана ненадежность всех ранее существовавших «оснований» эпистемологии; что в «истории» отсутствует какая-либо телеология и, следовательно, невозможно убедительное оправдание ни одного из вариантов «прогресса» и что образовалась новая социальная и политическая повестка дня, в которой все более важную роль играют экологические соображения и, возможно, новые социальные движения в целом.

Едва ли кто-то сегодня отождествляет постсовременность с тем, что некогда многими рассматривалось в качестве ее значения — вытеснением капитализма социализмом. Вытеснение этого перехода на периферию в действительности является одним из основных факторов, вызвавших нынешние дискуссии о возможном распаде современности, с учетом наиболее общих взглядов Маркса на историю.

Прежде всего, отбросим как не заслуживающую серьезного рассмотрения идею о том, что невозможно никакое систематическое знание о человеческих действиях или тенденциях социального развития. Если бы кто-нибудь придерживался таких взглядов (если они вообще достаточно развиты для того, чтобы их придерживаться), то они вряд ли написали бы книгу об этом. Единственной возможностью в этом случае было бы полное отречение от любой интеллектуальной активности — даже «игривой деконструкции» — в пользу, скажем, оздоровительной физкультуры. Что бы ни значило отсутствие поисков последних оснований эпистемологии (foundationalism), оно точно не имеет такого смысла. В качестве более приемлемой отправной точки мы можем обратиться к «нигилизму» Ницше и Хайдеггера. Несмотря на различия между двумя этими философами, кое в чем их взгляды сходятся. Оба они связывают с современностью идею о том, что «история» может быть понята как монотонно возрастающее обретение рациональных оснований знания. По их мнению, эта идея выражена в понятии «преодоление»: формирование нового понимания служит для распознавания того, что ценно, а что нет, в рамках накопленного запаса знаний^{xxxv}. Каждый из них считает необходимым дистанцироваться от характерных для Просвещения заявлений по

поводу оснований знания, не будучи тем не менее в состоянии критиковать эти заявления с позиции неких лучших или лучше обоснованных заявлений. Поэтому они отказываются от понятия «критическое преодоление», играющего столь важную роль в просвещенческой критике догм.

Однако тот, кто усматривает во всем этом основной переход от современности к постсовременности, сталкивается с большими трудностями. Одно из основных возражений против таких взглядов очевидно и широко известно. Разговор о постсовременности как о чем-то вытесняющем современность, как представляется, подразумевает именно то, что объявлено невозможным: приращение истории некоей связности и указание нашего места в ней. Более того, если Ницше был главным философом, отделяющим постсовременность от современности, каковое отделение, как предполагается, фактически происходит сегодня, как он мог осознать все это почти сто лет назад? Почему Ницше оказался в состоянии предпринять такой прорыв, не осуществив, как он сам признал, ничего, кроме разоблачения скрытых предпосылок самого Просвещения?

Трудно не прийти к выводу о том, что разрыв с программой поиска последних оснований (foundationalism) является значительным водоразделом философской мысли, истоки которого находятся во второй половине XIX века. Но, несомненно, все это скорее может быть понято как «обретение современностью понимания самой себя», нежели как преодоление современности как таковой^{xxxvi}. Мы можем интерпретировать это в рамках того, что я в дальнейшем обозначу как *провиденциальные* мирозозерцания. Мысль эпохи Просвещения, и западная культура в целом,

произошли из религиозного контекста, в котором особое значение придавалось телеологии и стяжанию божественной благодати. Божественное провидение долгое время было ведущей идеей христианской мысли. Без предшествовавшей ему ориентации, заданной этими идеями, Просвещение едва ли было бы возможно в принципе. Неудивительно, что оправдание освобожденного разума всего лишь придало новую форму провиденциальным идеям, вместо того, чтобы вытеснить их. Один тип достоверности (божественный закон) сменился другим (достоверность наших чувств, эмпирического наблюдения), а божественное провидение было заменено предопределенным (providential) прогрессом. Кроме того, провиденциальное понятие о разуме совпало по времени с ростом европейского господства над прочими частями мира. Рост европейского могущества фактически предоставил наглядное доказательство предположения о том, что новое мировоззрение покоится на твердом основании, которое и обеспечивает его надежность и позволяет освободиться от традиционных догм.

И все же зачатки нигилизма с самого начала присутствовали в мысли эпохи Просвещения. Если в своей области разум полностью свободен, то никакое знание не может покоиться на неоспоримых основаниях, поскольку тогда даже наиболее устойчивые представления могут рассматриваться как общезначимые лишь «в принципе» или «впредь до новых указаний». Иначе они превратились бы в догмы и оказались бы выделены из области разума, который, в первую очередь, и определяет, что такое общезначимость. Хотя большинство рассматривало свидетельства наших чувств в качестве наиболее надежной информации, которую

мы в состоянии получить, даже мыслители раннего Просвещения вполне четко осознавали, что в принципе такое «свидетельство» всегда вызывает сомнение. Чувственные данные никогда не в состоянии обеспечить полностью надежное основание для претензий на знание. Учитывая, что сегодня в большей степени осознается то, что наблюдение посредством чувств проникнуто теоретическими категориями, философская мысль в целом достаточно далеко ушла от эмпиризма. Более того, со времен Ницше мы гораздо лучше осознаем циркулярность разума, равно как и загадочные отношения между знанием и властью.

Все эти события не столько выводят нас «за пределы современности», сколько обеспечивают более полное понимание рефлексивности, внутренне присущей самой современности. Современность вносит разлад не только в силу цикличности разума, но и потому, что природа этой цикличности в конечном счете непонятна. Как можем мы оправдать преданность разуму от имени разума? Парадоксально, что именно логические позитивисты натолкнулись на эту проблему самым непосредственным образом вследствие тех усилий, которые они затратили на удаление любых остатков традиции и догм из рационального мышления. В сердцевине своей современность оказывается загадочной, и, судя по всему, эта загадка не может быть «преодолена» никакими способами. Мы остаемся с вопросами там, где, как нам когда-то казалось, у нас были ответы, и впоследствии я покажу, что это понимают не только философы. Общее сознание этого феномена просачивается в страхи, которые давят на каждого.

Постсовременность связывали не только с окончанием поиска предельных оснований, но и с

«концом истории». Поскольку я уже обращался к нему выше, нет необходимости детально обсуждать это понятие здесь. «История» не обладает внутренней формой и не подчинена общей телеологии. Может быть написано множество историй, и они не могут быть зафиксированы с помощью ссылки на некую архимедову точку опоры (такую как идея о наличии у истории направления эволюции). Историю не следует приравнивать к «историчности», так как последняя находится в определенной связи с институтами современности. Марксов исторический материализм ошибочно их отождествляет и тем самым не только приписывает ложное единство историческому развитию, но и оказывается не в состоянии адекватно выделить особые свойства современности. Затрагиваемые здесь вопросы были достаточно полно освещены в знаменитой полемике между Леви-Строссом и Сартром^{xxxvii}. «Использование истории для создания истории», по сути, своей есть современное явление, а не общий принцип, который может быть применен к любым эпохам — это один из вариантов рефлексивности, присущей современности. Да и сама история как датирование, составление графика изменений, произошедших между различными датами, есть специфический способ кодирования временности.

Мы должны быть внимательны к способам нашего понимания историчности. Ее можно было бы определить как использование прошлого в качестве подспорья для формирования настоящего, но она не основана на уважении к прошлому. Напротив, историзм означает использование знаний о прошлом как средства для разрыва с ним — или, во всяком случае, для сохранения лишь того, что может быть оправдано с точки зрения общих принципов^{xxxviii}. Историзм фактически ориенти-

рует нас главным образом на будущее. Будущее рассматривается как в основе своей открытое, и тем не менее находящееся в контрфактической условной зависимости от последовательности действий, предпринимаемых с учетом будущих возможностей. Это фундаментальный аспект пространственно-временного «растяжения», которое в условиях современности становится и возможным, и необходимым. «Футурология» — составление диаграммы возможных/вероятных/достижимых вариантов будущего — становится более важной, чем составление диаграммы прошлого. Каждый из типов механизмов высвобождения, упомянутых выше, предполагает эту разновидность ориентации на будущее.

Разрыв с провиденциальными взглядами на историю и распад программы поиска конечных оснований вместе с возникновением контрфактического, ориентированного на будущее типа мышления и «истощением» прогресса посредством непрерывных изменений настолько отличаются от воззрений, составляющих ядро эпохи Просвещения, что дают основания полагать, что произошел ряд изменений, чреватых серьезными последствиями. И все же говорить об этих явлениях как о постсовременности — это ошибка, препятствующая четкому пониманию их природы и последствий. Все случившиеся разделения следует рассматривать скорее как результаты самоочищения современной мысли в ходе избавления ее от пережитков традиции и провиденциального мировоззрения. Мы не вышли за пределы современности, но живем непосредственно в период ее радикализации.

Постепенный упадок глобальной гегемонии Запада и Европы, оборотной стороной которого яв-

ляется нарастающий процесс распространения институтов современности по всему миру, есть лишь один из основных факторов влияния, задействованных здесь. Прогнозируемый «упадок Запада» был, конечно же, излюбленной темой ряда авторов начиная с конца XIX века. Используемое в этом контексте, данное словосочетание обычно отсылало к концепции циклического характера исторических изменений, в рамках которой современная цивилизация рассматривается всего лишь как одна из расположенных в определенном регионе цивилизаций в ряду прочих, предшествовавших ей в других частях мира. У цивилизаций имеются свои периоды юности, зрелости и старости, и по мере того, как они вытесняются другими цивилизациями, изменяется региональное распределение глобальной власти. Но современность *не есть* лишь одна из ряда цивилизаций в соответствии с «разрывной» (discontinuist) интерпретацией истории, выдвинутой мною выше. Слабеющая хватка Запада по отношению ко всему остальному миру не есть результат снижения влияния институтов, возникших здесь, но, напротив, есть результат их глобального распространения. Экономическая, политическая и военная мощь, доставившие Западу его главенство, основанные на сочетании четырех институциональных измерений современности, к обсуждению которых я вскоре перейду, более не отличают сколько-нибудь заметным образом западные страны от других стран, разбросанных по всему свету. Мы можем интерпретировать этот процесс как процесс *глобализации*, и этот последний термин должен занять ключевую позицию в словаре социальных наук.

Как же обстоит дело с прочими группами изменений, часто связываемых, в том или ином

смысле, с постсовременностью: подъемом новых социальных движений и возникновением ранее не существовавших политических повесток дня? Они и в самом деле важны, как я постараюсь показать ниже. Однако нам следует тщательно выбирать наш путь посреди различных теорий и выдвинутых на их основе интерпретаций. Я проанализирую постсовременность как последовательность внутренних переходов от — или «за пределы» — различных групп институтов современности, которые будут выделены в дальнейшем. Мы еще не живем в постсовременном социальном универсуме, но мы все же в состоянии уловить некоторые проблески возникновения новых способов жизни и форм социальной организации, отклоняющихся от тех способов и форм, которым благоприятствуют современные институты.

С помощью такого анализа легко понять, почему радикализация современности настолько выбивает из колеи и имеет такое большое значение. Наиболее заметные ее черты — *распад эволюционизма, исчезновение телеологии в истории, признание всепроникающей, имеющей определяющий характер рефлексивности, а также постепенное исчезновение привилегированной позиции Запада* — вводят нас в мир нового, выводящего из равновесия опыта. Если «мы» здесь все еще означает главным образом тех, кто живет на самом Западе — или, точнее, в участках мира, прошедших индустриализацию, — то последствия этих изменений ощущаются повсюду.

ВЫВОДЫ

Теперь мы можем подвести итоги проведенного обсуждения. Были выделены три основных источника динамизма современности, связанных друг с другом.

Разделение времени и пространства. Это условие дистанциации времени и пространства неопределенно больших масштабов; оно создает средства четкого временного и пространственного зонирования.

Развитие механизмов высвобождения. Они «извлекают» социальную деятельность из локализованных контекстов, реорганизуя социальные отношения на больших пространственно-временных интервалах.

Рефлексивное усвоение знания. Производство систематических знаний о социальной жизни становится неотделимым от системы воспроизводства, отделяя социальную жизнь от стабильных элементов традиции.

Вместе взятые, эти три черты современных институтов помогают объяснить, почему жизнь в современном мире больше похожа на пребывание в качестве пассажира неудержимо несущейся вперед колесницы (образ, который я более детально раскрою ниже), нежели на пребывание в тщательно контролируемом и управляемом профессионалом автомобиле. Рефлексивное усвоение знания, по природе своей связанное с побуждением к действию, но в то же время лишенное какой-либо стабильности, расширяется, охватывая огромные фрагменты пространства-времени. Механизмы высвобождения обеспечивают средства для такого расширения, вычлняя социальные отношения из их специфических контекстов.

Механизмы высвобождения могут быть представлены следующим образом.

Символические знаковые и экспертные системы используют *доверие* как нечто отличное от уверенности, основанной на слабом индуктивном знании.

Доверие работает в ситуациях риска, где могут быть достигнуты различные уровни безопасности (защиты от опасностей).

Здесь отношение между доверием и механизмами высвобождения остается абстрактным. Ниже нам придется исследовать, каким образом доверие, риск, безопасность и опасность смыкаются в условиях современности. Нам также придется рассмотреть обстоятельства, при которых доверие утрачивает силу, и то, каким образом следует понимать ситуации отсутствия доверия.

Знание (под которым здесь, как правило, следует понимать «притязания на знание»), будучи рефлексивным образом применено к социальной деятельности, определяется в своем движении четырьмя группами факторов.

Разница потенциала. Некоторые индивиды и группы в состоянии быстрее других усваивать специализированное знание.

Роль ценностей. Ценности и эмпирическое знание связаны сетью взаимных влияний.

Влияние непреднамеренных последствий. Знание о социальной жизни выходит за рамки намерений тех, кто применяет его в целях преобразования.

Циркуляция социального знания в рамках двойной герменевтики. Знание в своем рефлексивном применении к системе воспроизводства изменяет природу ситуаций, к которым оно изначально относилось.

ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

В дальнейшем мы проследим последствия этих черт рефлексивности для ситуаций доверия и риска, обнаруживаемых в ныне существующем социальном мире.

II

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Выше я упоминал о стремлении большинства социологических теорий и систем воззрений к поискам единого основного типа институциональных связей в современных обществах: являются ли современные общества капиталистическими или индустриальными? Эта многолетняя полемика никоим образом не утратила своего значения и сегодня. Тем не менее отчасти она основана на ошибочных предпосылках, поскольку в каждом из предложенных вариантов ответа предполагается некий редукционизм — либо индустриализм рассматривается как подвид капитализма, либо наоборот. В противоположность этому редукционизму, нам следует рассматривать капитализм и индустриализм как два различных «организационных блока» или измерения, включенных в институты современности. Здесь я определяю их следующим образом.

Капитализм есть система производства товаров, сосредоточенная вокруг отношения между частным владением капиталом и лишенным собственности наемным трудом, причем это отношение служит главным стержнем классовой системы. Капиталистическое предприятие рассчитано на производство для рынков со свободной конкуренцией, причем цены здесь в одинаковой степени являются сигналами для инвесторов, производителей и потребителей.

Основной характеристикой *индустриализма* является использование неодушевленных источников физической энергии при производстве изделий, в сочетании с центральной ролью машинного оборудования в процессе производства. «Машину» можно определить как искусственный объект, выполняющий поставленные задачи и использующий в качестве средств для своей работы указанные источники энергии. Индустриализм предполагает упорядочение социальной организации производства в целях координации человеческих действий, машин, входящих и исходящих партий сырья и изделий. Индустриализм не следует понимать в слишком узком смысле — к чему нас склоняет его происхождение из «промышленной революции». Эта фраза вызывает в воображении картины установок, использующих энергию угля и пара, а также массивного, тяжелого машинного оборудования, лязгающего внутри закопченных цехов и фабрик. Понятие индустриализма не в меньшей степени, чем к таким ситуациям, применимо и к высокотехнологичной обстановке, где единственным источником энергии является электричество, а единственными механическими приспособлениями — электронные микросхемы. Кроме того, индустриализм оказывает влияние не только на рабочее место, но и на транспортировку, обмен информацией и домашний быт.

Мы можем признать *капиталистические общества* в качестве особого подвида современных обществ в целом. Капиталистическое общество есть система, обладающая рядом специфических институциональных особенностей. Во-первых, его экономический строй включает указанные выше характеристики. Высококонтурная и экспан-

сионистская природа капиталистического предприятия означает, что технологические новшества имеют тенденцию стать постоянными и всеобъемлющими. Во-вторых, экономика достаточно сильно отделена или «изолирована» от прочих мест социального действия, в особенности от политических институтов. Учитывая высокий уровень инноваций в экономической сфере, экономические отношения оказывают значительное влияние на прочие институты. В-третьих, изоляция экономики от государственного устройства (которая может принимать разнообразные формы) основана на преобладании объектов, находящихся в частной собственности, среди средств производства. (Частная собственность здесь необязательно означает частную предпринимательскую деятельность, но скорее широкое распространение частного владения инвестициями.) Владение капиталом напрямую связано с феноменом «отсутствия собственности» — придания товарного характера наемному труду — в рамках классовой системы. В-четвертых, условием, хотя и не определяющим фактором в сильном смысле этого слова, автономии государства является его опора на накопление капитала, контролируемое им далеко не полностью.

Но почему капиталистическое общество вообще является обществом? Этот вопрос останется без ответа, если мы лишь охарактеризуем капиталистический социальный строй в терминах его основных институциональных настроек (alignments). Ибо, учитывая ее экспансионистские характеристики, капиталистическая экономическая жизнь лишь в немногих отношениях связана границами определенных социальных систем. С самого своего начала капитализм имеет международный масштаб. Капиталистическое общество является

«обществом» лишь потому, что оно — национальное государство. Характеристики национального государства в некоторой их существенной части должны быть объяснены и проанализированы вне обсуждения капитализма или индустриализма. Административную систему капиталистического государства и современных государств в целом следует интерпретировать в терминах достигаемого ею согласованного контроля над территориально ограниченными местами действия. Как было отмечено выше, ни одно из предшествовавших современности государств не было в состоянии даже близко подойти к тому уровню административного согласования, который был развит в рамках национального государства.

Такой уровень административной концентрации зависит, в свою очередь, от развития способностей к надзору, которые выходят далеко за рамки соответствующих возможностей традиционных цивилизаций; механизмы надзора образуют третье институциональное измерение, связанное, подобно капитализму и индустриализму, с возникновением современности. Надзор означает наблюдение за деятельностью подвластного населения в политической сфере — хотя его значение в качестве основания административной власти никоим образом не ограничено этой сферой. Наблюдение может быть прямым (как во многих случаях, обсуждаемых Фуко, таких как тюрьмы, школы или открытые производственные площадки)^{xxxix}, но более типично не прямое наблюдение, основанное на контроле над информацией.

Имеется и четвертое институциональное измерение, которое следует выделить: *контроль над средствами осуществления насилия*. Военная мощь всегда была основной характеристикой

предшествовавших современности цивилизаций. И все же политический центр этих цивилизаций никогда не был в состоянии надолго обеспечить себе прочную военную поддержку и, как правило, не имел успеха в сохранении монопольного контроля над средствами осуществления насилия на своих территориях. Военная сила органов власти зависела от союзов с местными князьками и полевыми командирами, которые всегда склонялись либо к тому, чтобы разорвать отношения с правящими группами, либо к тому, чтобы напрямую оспаривать их авторитет. Успешная монополия на средства насилия в пределах четко обозначенных в территориальном отношении границ является отличительной чертой современного государства. Таково же и существование особого рода связей с индустриализмом, пронизывающих как организацию войск, так и системы вооружения, находящиеся в их распоряжении. «Индустриализация войны» радикально меняет характер военных действий, возвещая наступление эпохи «тотальной войны», а позднее — ядерного века.

Клаузевиц является автором классического толкования отношений между войной и национальным государством в XIX веке, но в действительности его взгляды в значительной мере устарели еще в тот момент, когда он их развивал. Для Клаузевица война была дипломатией, осуществляемой другими средствами: она была тем, что применяется, когда обычные переговоры и другие средства убеждения и принуждения не дают результата в отношениях между государствами^{х1}. Тотальная война делает неэффективным использование войны в качестве инструмента дипломатии, поскольку страдания, причиняемые обеим сторонам, скорее всего, значительно превзойдут

любые дипломатические выгоды, которые могут быть приобретены с ее помощью. Возможность ядерной войны делает это очевидным.



Рис. 1. Институциональные измерения современности

Четыре основных институциональных измерения современности и их взаимоотношения могут быть представлены так, как это сделано на рис. 1.

Начнем с левой части этого круга. Капитализм предполагает отделение экономического от политического на фоне конкуренции на рынке труда и рынках сбыта. Надзор, в свою очередь, имеет фундаментальное значение для всех типов организации, связанных с возникновением современности, особенно для национального государства, которое было исторически переплетено с капитализмом в ходе их совместного развития. Сходным образом, имеются тесные связи по существу между операциями национальных государств по осуществлению надзора и изменившейся в период

современности природой военного могущества. Успешное осуществление монополии на средства насилия со стороны современного государства покоится на светской поддержке новых кодексов уголовного права вместе с присматривающим контролем «отклонений». Войска становятся относительно дальним резервом для внутренней гегемонии гражданских властей, и вооруженные силы по большей части «направлены вовне», на другие государства.

Двигаясь дальше по кругу, отметим, что имеется непосредственная связь между военной мощью и индустриализмом, одним из основных выражений которой является индустриализация войны. Такие же четкие взаимосвязи могут быть установлены между индустриализмом и капитализмом — взаимосвязи, достаточно знакомые и хорошо подтвержденные документально, несмотря на вышеупомянутую дискуссию о приоритете, связанную с их интерпретацией. Индустриализм становится главной осью взаимодействия людей с природой в условиях современности. В большинстве культур, предшествовавших современности, даже в больших цивилизациях, люди в основном рассматривали себя в неразрывной взаимосвязи с природой. Их жизни зависели от причуд и капризов природы — доступности естественных источников средств к существованию, процветания зерновых и изобилия пастбищных животных или их отсутствия, влияния стихийных бедствий. Современная промышленность, сформировавшаяся в результате союза науки и технологии, преобразует мир природы способами, недоступными воображению предшествующих поколений. На индустриализированных участках земного шара — да и, все в большей степени, везде — люди живут в *созданной внешней*

среде, в условиях деятельности, которые, конечно же, остаются физическими, но уже не являются лишь природными. Не только антропогенная среда городских районов, но и, равным образом, большинство прочих ландшафтов ставятся в подчинение человеческой координации и контролю.

Прямые линии на диаграмме показывают дополнительные связи, которые могут быть подвергнуты анализу. Например, надзор был достаточно тесно вовлечен в развитие индустриализма, укрепляя административную власть в пределах заводов, фабрик и цехов. Однако, вместо того, чтобы развивать эти соображения, я обращусь к краткому — очень краткому, учитывая объем затрагиваемой проблематики — обзору того, как различные институциональные блоки были связаны друг с другом в ходе развития современных институтов.

Мы можем согласиться с Марксом в том, что капиталистическое предприятие сыграло основную роль в разрыве современной социальной жизни с институтами традиционного мира. Капитализм обладает высокой внутренней динамикой в силу связей, установленных между экономическим предприятием, работающим в условиях конкуренции, и общей тенденцией к превращению всего в товар. По причинам, выявленным Марксом, капиталистическая экономика является существенно нестабильной и внешне и внутренне (внутри сферы компетенции национального государства и за ее пределами) и находится в постоянном движении. Любое экономическое воспроизводство в рамках капитализма является «расширенным воспроизводством», поскольку экономический порядок не в состоянии сохранять более или менее статичное равновесие, как это было в большинстве традиционных систем.

Возникновение капитализма, как говорит Маркс, предшествовало развитию индустриализма и фактически придало значительный импульс появлению последнего. Индустриальное производство и связанное с ним постоянное революционизирование технологии содействуют появлению более эффективных и дешевых производственных процессов. Превращение рабочей силы в товар было особенно важным связующим звеном между капитализмом и индустриализмом, потому что «абстрактный труд» может быть непосредственным образом учтен при технологическом проектировании производства.

Образование абстрактной рабочей силы также создало одну из важнейших точек соединения капитализма, индустриализма и изменяющейся природы контроля над средствами осуществления насилия. Труды Маркса также могут быть использованы для анализа этой взаимосвязи, хотя он и не развил их явным образом в соответствующем направлении^{хli}. В государствах, предшествовавших современности, классовые системы редко были целиком и полностью экономическими: отношения классовой эксплуатации отчасти поддерживались силой или угрозой ее применения. Господствующий класс был в состоянии применить такую силу благодаря прямому доступу к средствам осуществления насилия — зачастую это был класс воинов. С возникновением капитализма природа классового господства стала существенно иной. Капиталистический трудовой договор, средоточие вновь возникающей классовой системы, подразумевал скорее наем абстрактной рабочей силы, чем порабощение «целого человека» (рабство), определение объема рабочей недели (барщинный труд) или произведенного продукта (церковная десятина или налог в

натуральной форме). Капиталистический трудовой договор не опирается на прямое владение средствами осуществления насилия, и наемный труд номинально свободен. Классовые отношения тем самым оказываются напрямую включены в структуру капиталистического производства, а не существуют открыто и при поддержке насилия. Протекание этого процесса исторически совпало со сосредоточением контроля над средствами осуществления насилия в руках государства. Насилие, фактически, было «вытеснено» из трудового договора и сконцентрировано в руках органов государственной власти.

Если капитализм был одним из крупных институциональных элементов, содействующих запуску и распространению институтов современности, то другим элементом было национальное государство. Национальные государства и система национальных государств не могут быть объяснены на основе возникновения капиталистического предприятия, насколько бы схожими ни были порой интересы государств и интересы капиталистического благосостояния. Система национальных государств оформилась как результат несметного числа случайностей на основе разбросанной на большой территории группы постфеодальных королевств и княжеств, существование которых отличало Европу от централизованных аграрных империй. Распространение институтов современности по всему свету изначально было европейским явлением и находилось под влиянием всех четырех институциональных измерений, упомянутых выше. Национальные государства сосредоточивали административную власть гораздо эффективнее, чем это были в состоянии сделать традиционные государства,

и вследствие этого даже достаточно небольшие государства могли мобилизовать социальные и экономические ресурсы, превосходящие то, что было доступно государствам, существовавшим до эпохи современности. Капиталистическое производство, особенно в сочетании с индустриализмом, обеспечило огромный рывок вперед в плане экономического благосостояния, а также военной мощи. Благодаря комбинации всех этих факторов экспансия Запада стала казаться неотразимой.

В основе этих институциональных измерений лежат три ранее выделенных нами источника динамики современности: дистанциация времени и пространства, высвобождение и рефлексивность. Как таковые, они не являются типами институтов, но, скорее, условиями, содействующими историческим изменениям, о которых говорилось в предыдущих параграфах. Без них разрыв между современностью и традиционными социальными порядками не мог бы свершиться столь радикальным образом и так быстро, не смог бы охватить весь мир. Они задействованы в рамках институциональных измерений современности и, в равной степени, обусловлены ими.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Современность по природе своей связана с глобализацией — об этом ясно говорят некоторые из самых существенных характеристик институтов современности, включающие, прежде всего, их высвобожденность и рефлексивность. Но чем именно является глобализация, как это явление может быть осмыслено? Я рассмотрю здесь эти вопросы

достаточно подробно, поскольку узловому значению протекающих сегодня процессов глобализации соответствует не так уж много развернутых обсуждений этого понятия в социологической литературе. Мы можем начать с повторения некоторых ранее высказанных замечаний. Вместо излишне активного использования социологами идеи «общества», в значении замкнутой системы, нам следует взять, в качестве отправной точки, сконцентрированной на анализе того, каким образом общественная жизнь упорядочена в пространстве и времени, проблематику пространственно-временной дистанциации. Система понятий, связанных с дистанциацией времени и пространства, привлекает наше внимание к комплексным отношениям между *локальной вовлеченностью* (обстоятельствами соприсутствия) и *взаимодействием на расстоянии* (связям присутствия и отсутствия). В эпоху современности уровень дистанциации времени и пространства гораздо выше, чем в любой из предшествующих периодов, и отношения между местными и отдаленными социальными формами и событиями соответственно «растягиваются». Глобализация означает, по сути, этот процесс растягивания, в той мере, в какой способы связи между различными социальными контекстами или регионами целиком охватывают своей сетью поверхность земного шара.

Глобализация поэтому может быть определена как интенсификация распространенных по всему миру социальных отношений, которые связывают отдаленные местности таким образом, что местные события формируются явлениями, происходящими за много миль от них, и наоборот. Это диалектический процесс, потому что такие местные события могут развиваться в направлении, противоположном тем дистан-

цированным связям, которые формируют их. *Локальная трансформация* в такой же степени является частью глобализации, как и горизонтальное расширение социальных связей во времени и пространстве. Поэтому тот, кто изучает нынешние города в любой части мира, сознает, что происходящее в местной общине, по всей вероятности, испытывает влияние факторов — таких как мировые деньги и товарные рынки, действующих на сколь угодно большом расстоянии от этой общины. Результат не обязательно и даже не в большинстве случаев оказывается обобщенным множеством изменений, действующих в едином направлении, но состоит из противодействующих друг другу тенденций. Растущее благосостояние городского района Сингапура может находиться в причинной связи посредством сложной сети глобальных экономических связей с обнищанием района в Питсбурге, чьи продукты местного производства не выдерживают конкуренции на мировых рынках.

Еще один из очень большого числа возможных примеров представляет собой возникновение местных националистических настроений в Европе и других местах. Развитие глобализированных социальных отношений, вероятно, способствует ослаблению некоторых аспектов националистических чувств, связанных с национальными государствами (или какими-то другими государствами), но может стать одной из причин интенсификации националистических настроений более локального характера. В ситуации все убыстряющейся глобализации национальное государство стало «слишком маленьким для больших жизненных проблем, но слишком большим для малых жизненных проблем»^{xlii}.

В то же время, по мере того как социальные отношения становятся территориально все более растянутыми, мы наблюдаем, в качестве составной части этого процесса, усиление давления в пользу признания местных автономий и региональной культурной самобытности.

ТЕОРИЯ: ДВА ВЗГЛЯДА

За исключением работ Маршалла Маклюэна и небольшого числа других, стоящих особняком авторов, обсуждение глобализации, как правило, происходит в литературе двух разновидностей, сильно отличающихся друг от друга. Одна из них — это литература о международных отношениях, а другая — литература, посвященная «теории мировых систем», особенно ее разновидности, связанной с Иммануилом Валлерстайном и стоящей достаточно близко к марксистским позициям.

Специалисты по теории международных отношений обычно уделяют основное внимание развитию системы национальных государств, анализу ее истоков в Европе и ее дальнейшему распространению по всему миру. Национальные государства рассматриваются в качестве субъектов, контактирующих друг с другом на международной арене — и с другими организациями транснационального характера (межправительственными организациями или негосударственными субъектами международного права). Хотя в этой литературе представлены различные теоретические позиции, большинство исследователей, анализируя нарастание глобализации, рисуют достаточно похожие картины^{xliii}. Предполагается, что суверенные государства первоначально воз-

никают как преимущественно обособленные образования, обладающие более или менее полным административным контролем в пределах своих границ. По мере того как система европейских государств достигает своей зрелости и затем становится глобальной системой национальных государств, конфигурации взаимной зависимости между ее элементами становятся все более и более развитыми. Они находят свое выражение не только в связях, которые государства образуют между собой на международной арене, но и в росте межправительственных организаций. Эти процессы намечают движение к «единому миру», хотя они постоянно нарушаются войной. Утверждается, что национальные государства постепенно становятся менее суверенными, чем они были до того в плане контроля над их внутренними делами, хотя мало кто сегодня ожидает в ближайшем будущем возникновения «мирового государства», которое многие в начале этого столетия рассматривали как реальную перспективу.

Хотя такие взгляды не являются полностью неверными, по их поводу следует высказать ряд серьезных оговорок. Прежде всего, они вновь охватывают лишь одно всеобщее измерение глобализации, в том смысле, в котором я использую здесь это понятие, а именно — международную координацию государств. Рассмотрение государств в качестве субъектов имеет определенную сферу применений и обладает смыслом в некоторых контекстах. Однако большинство специалистов по теории международных отношений не объясняют, *почему* такая практика имеет смысл; а ведь она имеет его только применительно к национальным государствам, но не к государствам, предшествовавшим

современности. Причина этого имеет отношение к ранее обсуждавшейся теме — национальные государства концентрируют административную власть в гораздо большей степени, чем их предшественники, в рамках которых было бы довольно бессмысленно говорить о «правительствах», ведущих переговоры с другими «правительствами» от имени соответствующих наций. Кроме того, трактовка государств в качестве субъектов, находящихся в отношениях друг с другом и с другими организациями на международной арене, затрудняет рассмотрение социальных отношений, возникающих не между государствами или за их пределами, но попросту находящихся в иной плоскости, чем разделения между государствами.

Еще один недостаток подходов такого типа относится к их описанию нарастающей унификации системы национальных государств. Суверенное право современных государств сформировалось не до их включения в системы национальных государств, даже не до их включения в систему европейских государств, а параллельно с ним. В действительности, суверенитет современного государства с самого начала *зависел от отношений между государствами*, исходя из которых каждое государство (в принципе, хотя на практике далеко не всегда) признавало автономию других государств в пределах их собственных границ. Никакое государство, каким бы могущественным оно ни было, не обладало той степенью суверенного контроля, которая сохранялась за ним в рамках правовых принципов. Так что история последних двух веков не есть история потери суверенитета национальным государством. Здесь нам вновь следует отдать должное диалектичности глобализации, а также влиянию процессов неравномерного разви-

тия. Потеря автономии некоторыми государствами или группами государств часто сопровождалась *усилением* автономии других государств в результате союзов, войн или разнотипных политических и экономических изменений. К примеру, хотя суверенный контроль некоторых из «классических» западных наций мог снизиться в результате усиления глобального разделения труда в течение последних тридцати лет, суверенный контроль некоторых стран Дальнего Востока — во всяком случае, в некоторых отношениях — вырос.

Поскольку точка зрения теории мировых систем очень сильно отличается от того, что имеется в теории международных отношений, неудивительно, что оба этих вида литературы находятся друг от друга на почтительном расстоянии. Оценка Валлерстайном мировой системы вносит значительный вклад в развитие как теории, так и эмпирического анализа^{xliv}. Немаловажен тот факт, что он обходится без обычного для социологов пристрастия к «обществам», чье место занимает гораздо более широкая концепция глобализированных отношений. Валлерстайн также проводит четкое различие между эпохой современности и предшествующими веками, исходя из тех явлений, которые его интересуют. То, что он обозначает как «мировые экономики» — сети экономических связей, протяженных в географическом отношении, — существовало и до периода современности, но эти мировые экономики значительно отличались от мировой системы, сложившейся в течение последних трех или четырех веков. Более ранние мировые экономики обычно были сосредоточены вокруг больших государств имперского типа и никогда не выходили за пределы определенных регионов, где была сконцентрирована власть этих государств. Возникновение капитализма, соглас-

но его анализу Валлерстайном, возвещает приход весьма отличного от них типа социального строя, впервые имеющего подлинно глобальный масштаб и основанного более на экономическом, чем на политическом могуществе, — «мировой капиталистической экономики». Мировая капиталистическая экономика, истоки которой находятся в XVI и XVII веках, обретает единство посредством коммерческих и производственных связей, а не благодаря наличию единого политического центра. В действительности, имеются многочисленные политические центры, а именно, национальные государства. Современная мировая система разделена на три компонента: ядро, полупериферию и периферию, хотя принадлежность к ним отдельных регионов со временем изменяется.

Согласно Валлерстайну, влияние капитализма установилось в качестве общемирового в самом начале периода современности: «Капитализм с самого начала был проектом в рамках мировой экономики, а не национальных государств... Капитал никогда не допускал, чтобы его стремления определялись границами национальных государств»^{xlv}. Капитализм был настолько основополагающим фактором глобального влияния ровно потому, что он является экономическим, а не политическим строем; он был в состоянии заполнить собой раскинувшиеся по всему миру территории, которые породившие его государства никогда не были в состоянии полностью подчинить своему политическому господству. Колониальная администрация дальних стран могла в некоторых ситуациях помочь закрепить экономическую экспансию, но она никогда не была главной опорой распространения капиталистического предприятия в глобальном масштабе. В конце XX века, когда колониализм

в его исходной форме почти исчез, мировая капиталистическая экономика продолжает вызывать огромные диспропорции между ядром, полупериферией и периферией.

Валлерстайн успешно отбрасывает некоторые ограничения, характерные для большей части ортодоксальной социологической мысли, особенно четко выраженную тенденцию уделять основное внимание «эндогенным моделям» социальных изменений. Но и его труды обладают некоторыми недостатками. Он все еще считает лишь одну господствующую институциональную связь (капитализм) ответственной за современные преобразования. Так что теория мировых систем в основном сосредоточена на экономических влияниях и испытывает трудности в объяснении именно тех феноменов, которые ставятся во главу угла специалистами по теории международных отношений: возникновение национального государства и системы национальных государств. Более того, различия между ядром, полупериферией и периферией (сами по себе, возможно, имеющие сомнительную ценность), основанные на экономических критериях, не позволяют пролить свет на процессы концентрации политической или военной силы, не полностью согласованные с экономическими разделениями.

ИЗМЕРЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Я же буду, напротив, рассматривать мировую капиталистическую экономику как одно из четырех измерений глобализации, следуя четырехчленной классификации институтов современности, упомянутой выше (см. рис. 2)^{xlvi}. Вторым измерением

является система национальных государств; как показало проведенное выше обсуждение, хотя эти два измерения связаны между собой различными способами, ни одно из них не может быть исчерпывающим образом объяснено в терминах другого.

Если мы рассмотрим наше время, то в каком смысле можно утверждать, что процесс организации мировой экономики находится под властью капиталистических экономических механизмов? С ответом на этот вопрос связан ряд соображений. Основными точками приложения силы в мировой экономике являются капиталистические государства — государства, где предприятие капиталистической экономики (с подразумеваемыми классовыми отношениями) является основной формой производства. Внутренняя и международная экономическая политика этих государств включает множество форм регулирования экономической деятельности, но, как уже было отмечено, их институциональная организация обеспечивает «отделение» экономического от политического. Это создает широкое поле для глобальной деятельности деловых корпораций, главным местом базирования которых всегда является определенное государство, но которые могут многообразно проявлять свое присутствие в других регионах.

Деловые предприятия, в особенности транснациональные корпорации, могут обладать огромной экономической властью и способны оказывать влияние на политический курс в странах их основного базирования и за их пределами. На сегодня крупнейшие транснациональные компании обладают бюджетами, превосходящими по размеру бюджет любой, за несколькими исключениями, нации. Но существует ряд ключевых отношений, в которых их власть не может соперничать с влас-

тью государств — и особенно важную роль среди них играют факторы защиты своей территории и контроля над средствами осуществления насилия. Нет таких участков земной поверхности, за частичным исключением полярных областей, на включение которых в признанную сферу своего контроля не претендовало бы то или иное государство. Все современные государства более или менее успешно монополизируют контроль над средствами осуществления насилия в рамках своих территорий. Как бы огромна ни была их экономическая власть, промышленные корпорации не являются военными организациями (каковыми были некоторые из них в период колониализма) и не могут утвердить себя в качестве политических образований/юридических субъектов, управляющих данной территориально ограниченной областью.



Рис. 2. Измерения глобализации

Если национальные государства являются основными «субъектами» в рамках глобального

политического порядка, то корпорации являются господствующим типом агентов в рамках мировой экономики. В своих торговых отношениях друг с другом, а также с государствами и потребителями, компании (производственные корпорации, финансовые фирмы и банки) зависят от производства ради прибыли. Поэтому распространение их влияния несет с собой глобальное расширение товарных рынков, включая рынки денег. Однако даже в своих истоках мировая капиталистическая экономика никогда не была лишь рынком для обмена товаров и услуг. Она включала, и включает сегодня, придание товарного характера рабочей силе в рамках классовых отношений, отделяющих работников от контроля над их средствами производства. Этот процесс, конечно же, чреват последствиями, имеющими отношение к глобальному неравенству.

Все национальные государства, экономический строй которых представляет собой капитализм или государственный социализм, расположенные в «развитых» регионах мира, при создании благосостояния, служащего основой налоговых отчислений, поступающих в их бюджет, в основном опираются на индустриальное производство. Социалистические страны образуют нечто вроде анклава в рамках мировой капиталистической экономики в целом, где промышленность более непосредственным образом подчинена политическим императивам. Эти государства едва ли являются посткапиталистическими, но влияние капиталистических рынков на распределение товаров и рабочей силы здесь в значительной степени подавлено. Стремление к экономическому росту со стороны западных и восточноевропейских обществ неизбежно выдвигает

гает экономические интересы на главное место в рамках политических доктрин, которым следуют государства на международной арене. Но, несомненно, всем, исключая тех, кто находится под влиянием исторического материализма, ясно, что реальные взаимодействия государств не определяются лишь экономическими выгодами, реальными или кажущимися. Влияние каждого отдельного государства в рамках глобального экономического порядка во многом обусловлено уровнем его благосостояния (и соотношением между благосостоянием и военной мощью). Однако государства получают свою власть благодаря их способности к осуществлению суверенитета, как подчеркивает Ханс Моргентау^{xvii}. Они функционируют не как экономические машины, но как субъекты, ревниво оберегающие свои территориальные права, заинтересованные в поддержке национальных культур и вовлеченные в стратегические геополитические взаимодействия с другими государствами или союзами государств.

Система национальных государств долгое время разделяла то свойство рефлексивности, которое характерно для современности в целом. Само существование суверенитета следует понимать как нечто, отслеживаемое рефлексивным образом, по уже указанным причинам. Суверенитет связан с заменой «рубежей» «границами» в ходе ранних этапов развития системы национальных государств: автономия в рамках данной территории, заявленная данным государством, утверждается посредством признания его границ другими государствами. Как было отмечено, это один из основных факторов, отличающих систему национальных государств от системы государств

эпохи, предшествовавшей современности, где существовали лишь отдельные рефлексивно упорядоченные отношения такого типа и где само понятие «международные отношения» не имело никакого смысла.

Одним из аспектов диалектической природы глобализации является борьба (“push-and-pull”) между тенденциями к централизации, характерными для рефлексивной природы системы государств, с одной стороны, и суверенитетом отдельных государств — с другой. Так, согласованное взаимодействие между странами в некоторых отношениях снижает индивидуальный суверенитет задействованных в нем наций, и, тем не менее, объединяя их мощь в других отношениях, оно повышает их влияние в рамках системы государств. Это же верно и для ранних конгрессов, которые в ходе войн устанавливали и пересматривали границы государств — и для подлинно глобальных учреждений, таких как Организация Объединенных Наций. Свое глобальное влияние (все еще сильно ограниченное тем фактом, что она не имеет территориального характера и сколько-нибудь существенного доступа к средствам осуществления насилия) ООН обретает не только путем ограничения суверенитетов национальных государств — дело обстоит куда более сложным образом. Очевидным примером являются «новые нации» — автономные национальные государства, образовавшиеся на некогда колонизированных территориях. Вооруженная борьба против стран-колонизаторов чаще всего была одним из основных факторов, склонявших колонизаторов к уходу. Но обсуждения в ООН сыграли ключевую роль в организа-

ции бывших колониальных территорий в качестве государств с признанными на международном уровне границами. Как бы ни были слабы в военном и экономическом отношении некоторые из новых наций, их возникновение как национальных государств (или, во многих случаях, как государствообразующих наций) является признаком увеличения совокупного объема суверенитета, по сравнению с более ранним положением дел в этих странах.

Третьим измерением глобализации является мировой военный порядок. В ходе описания его природы нам придется проанализировать связи между индустриализацией войны, перемещением систем вооружения и техник военной организации из одних частей света в другие, и союзами, образуемыми государствами между собой. Военные союзы не обязательно нарушают монополию на средства осуществления насилия, удерживаемую государствами в пределах их территорий, хотя в некоторых обстоятельствах, они несомненно, способны к этому привести.

Прослеживая взаимодействие между военной мощью и суверенитетом государств, мы обнаруживаем ту же борьбу ("push-and-pull") между противонаправленными тенденциями, которая была отмечена нами выше. В текущей ситуации, два наиболее развитых в военном отношении государства, США и Советский Союз, выстроили биполярную систему военных союзов поистине глобальных масштабов. Страны, включенные в эти союзы, поневоле соглашаются с ограничениями, накладываемыми на их возможности по выработке независимых военных стратегий вне этих союзов. Они могут также утратить полно-

ту монополии на военный контроль в рамках их собственных территорий, поскольку размещенные в них американские или советские вооруженные силы подчиняются приказам из-за рубежа. И все же, в результате огромной разрушительной силы современных систем вооружения, почти все государства обладают военной силой, далеко превосходящей силы даже наиболее крупных из предшествовавших современности цивилизаций. Многие слабые в экономическом отношении страны третьего мира являются сильными в военном отношении. В некотором важном смысле в отношении систем вооружения вообще нет никакого «третьего мира», есть только «первый мир», поскольку большинство стран поддерживают в рабочем состоянии свои запасы технологически продвинутого вооружения и провели всеобъемлющую модернизацию вооруженных сил. Даже обладание ядерным оружием не ограничено кругом экономически развитых государств.

Глобализация военной силы, очевидно, не ограничивается системами вооружений и союзами между вооруженными силами различных государств — она относится и к самой войне. Две мировые войны показывают, каким образом локальные конфликты становятся поводами для глобальных столкновений. К участию в обеих войнах привлекались люди практически из всех регионов мира (хотя вторая мировая война в большей степени была общемировым явлением). В эру ядерного оружия индустриализация войны дошла до той точки, в которой, как было отмечено выше, устаревание основной доктрины Клаузевица стало очевидным каждому^{xiviii}. Единственный смысл обладания ядерным ору-

жием — кроме его символического значения в мировой политике — в том, чтобы отпугнуть других от его использования.

Хотя такая ситуация может привести к прекращению войн между ядерными державами (нам всем приходится надеяться на нечто вроде этого), она едва ли помешает им пускаться в военные авантюры за пределами их собственных территорий. Две сверхдержавы в наибольшей степени заняты устройством того, что может быть названо «срежиссированными войнами» на периферии распределения военной мощи. Под такими войнами я подразумеваю военные столкновения с правительствами других государств или с партизанскими движениями, или и с теми и с другими, в которых войска данной сверхдержавы могут и вовсе не участвовать, но где эта сверхдержава выступает основной организующей силой.

Четвертое измерение глобализации касается индустриального развития. Наиболее очевидным его аспектом является расширение глобального разделения труда, включающее разграничения между более и менее индустриализованными участками мира. Современная индустрия существенным образом основана на разделении труда, не только на уровне профессиональных задач, но и на уровне региональной специализации в плане типа промышленности, навыков и производства сырья. Без всякого сомнения, после окончания второй мировой войны произошло значительное расширение глобальной взаимозависимости в рамках разделения труда. Это способствовало осуществлению ряда изменений в глобальном размещении производств, включающем де-индустриализацию некоторых регионов в развитых странах и возникновение в рамках третьего мира «стран, вступив-

ших на путь индустриализации». Несомненно, это также помогло снизить уровень внутренней экономической гегемонии многих государств, в особенности тех, что обладали высоким уровнем индустриализации. Теперь капиталистическим странам труднее управлять своими экономиками, чем раньше, с учетом нарастающих темпов установления глобальной экономической взаимозависимости. Можно быть практически уверенным в том, что это составляет одну из основных причин нынешнего упадка влияния кейнсианской экономической политики в ее применениях на уровне национальной экономики.

Одной из основных черт ведущих к глобализации последствий индустриализма является распространение по всему миру машинных технологий. Влияние индустриализма, очевидно, не ограничивается сферой производства, но затрагивает многие аспекты повседневной жизни, и, равным образом, воздействует на общий характер взаимодействия людей с материальной внешней средой.

Даже в государствах, которые остаются в основном аграрными, современная технология зачастую применяется таким образом, что существенно изменяет отношения, ранее существовавшие между социальной организацией людей и внешней средой. Такие изменения имеют место, например, при использовании удобрений или других агротехнических приемов искусственного происхождения, внедрении современной сельскохозяйственной техники и т. д. Распространение индустриализма создало «единый мир» в более негативном и угрожающем смысле, чем только что упомянутый, — мир, в котором имеются действительные или потенциальные экологи-

ческие изменения пагубного свойства, способные затронуть каждого жителя планеты. И тем не менее индустриализм также во многом сформировал само ощущение того, что мы живем в «едином мире». Ибо одним из важнейших эффектов индустриализма стало преобразование технологий коммуникации.

Это замечание выводит еще к одному аспекту глобализации, имеющему достаточно фундаментальное значение и лежащему в основе каждого из упомянутых многообразных институциональных измерений, и этот аспект может быть обозначен как культурная глобализация. Сильное влияние механизированных технологий коммуникации на все аспекты глобализации ощущалось, начиная с первых практических применений механической печати в Европе. Они образуют важный элемент рефлексивного характера современности и разрывов, отбросивших современное от традиционного.

Глобализирующее воздействие средств массовой информации отмечалось многочисленными исследователями в течение периода раннего развития газет с массовыми тиражами. Так, один из комментаторов отмечал в 1892 году, что благодаря существованию современных газет захолустная деревня имеет более широкое понимание современных событий, чем премьер-министр сто лет тому назад. Житель деревни, читающий газетный номер, «начинает интересоваться революцией в Чили, партизанской войной в восточной Африке, резней в северном Китае и голодом в России одновременно»^{xlix}.

Смысл этих замечаний не в том, что люди случайным образом узнают о множестве событий, происходящих по всему свету, относительно которых ранее они остались бы в неведении.

Их смысл в том, что глобальное расширение институтов современности было бы невозможно, если бы не накопление знания, представленного «новостями». Это, возможно, менее очевидно на уровне общего культурного сознания, нежели в более специальных контекстах. Например, существующие сегодня глобальные рынки денег включают прямой и одновременный доступ к информации, накопленной индивидами, расположенными на большом расстоянии друг от друга.

III

В условиях современности все большее и большее число людей живут в обстоятельствах, при которых высвобожденные институты, связывающие локальные практики с глобальными социальными отношениями, организуют основные аспекты повседневной жизни. В следующих разделах этого исследования я хочу более пристально рассмотреть то, как поддержание доверия соотносится с этим феноменом, а также как связаны между собой вопросы безопасности, риска и опасности в современном мире. Перед этим я связывал, весьма абстрактно, доверие с дистанциацией пространства и времени, но теперь мы должны рассмотреть сущность отношений доверия в условиях современности. Если непосредственное влияние глобализации на эту дискуссию не видно напрямую, то я надеюсь, что оно станет таковым чуть позже.

Чтобы продолжать далее, нам нужно провести некоторые концептуальные различия в дополнение к тем, которые уже сформулированы.

ДОВЕРИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Во-первых, я хочу дополнить понятие высвобождения понятием *нового усвоения*. Под этим я подразумеваю новое присвоение или изменение высвобождающих социальных отношений касательно их точного определения (пускай, только частично или временно) к условиям времени

и места. Я также хочу провести различие между тем, что я буду называть *личные обязательства* и *безличные обязательства*. Первые отсылают к доверительным отношениям, которые поддерживаются или выражаются в социальных связях, установленных в условиях соприсутствия. Вторые связаны с развитием веры в символические или экспертные системы, которые, взятые вместе, я буду называть термином *абстрактные системы*. Я утверждаю, что все механизмы высвобождения взаимодействуют с вновь усвоенными контекстами действия, которые могут как поддерживать, так и подрывать их; и эти безличные обязательства также сходным образом связаны с обязательствами, требующими личного присутствия.

Отправной точкой данного обсуждения послужит широко известное социологическое наблюдение о том, что в современной социальной жизни многие люди значительную часть времени взаимодействуют с другими, не знакомыми им людьми. Как заметил Зиммель, значение термина «незнакомец» меняется с приходом современности¹. В досовременных культурах, где локальное сообщество всегда является основанием более широкой социальной организации, «незнакомец» отсылает к «человеку как таковому» — тому, кто приходит извне и кто потенциально подозрителен. Может быть много причин, по которым личность, попавшая в маленькое сообщество извне, терпит неудачу в своих попытках завоевать доверие у его членов; возможно, ей не удастся даже после того, как она прожила в этом сообществе много лет. В современных обществах, напротив, мы обычно не взаимодействуем с незнакомцами как с «людьми как таковыми». В частности, в условиях города мы взаимодействуем более или

менее продолжительно с теми, кого либо не очень хорошо знаем, либо никогда раньше не видели, но это взаимодействие принимает форму относительно скоротечных контактов.

Многообразие мимолетных встреч, наполняющих повседневную жизнь в анонимной обстановке современной социальной деятельности, протекают в первую очередь посредством того, что Гофман назвал «вежливым невниманием»¹¹. Это явление требует сложного и разветвленного контроля поведения со стороны тех, кто его проявляет даже в том случае, когда оно включает в себя на первый взгляд совсем незначительные знаки и сигналы. Два человека приближаются и расходятся друг с другом на городском тротуаре. Что может быть более банальным и безынтересным? Подобное событие может произойти миллион раз на дню даже в одном районе города. Тем не менее здесь происходит нечто, что связывает совершенно незначительные аспекты управления телом с некоторыми из наиболее глубоких особенностей современности. Эта выказанная «невнимательность» не есть безразличие. Скорее, это тщательно контролируемая демонстрация того, что могло быть названо вежливой отчужденностью. Когда эти два человека приближаются друг к другу, каждый из них быстро изучает лицо другого, отворачиваясь, пройдя мимо, — Гофман называет это совместным «переключением на ближний свет». Взгляд означает признание другого в качестве действующего лица и в качестве потенциального знакомого. Лишь беглое удержание взгляда другого, переходящее во взгляд вперед, когда каждый проходит мимо, связывает подобную установку с внутренней уверенностью в отсутствии враждебных намерений.

По всей видимости, поддержание вежливого невнимания является очень важной предпосылкой доверия, требуемого в ходе обычных встреч с незнакомцами в общественных местах. Насколько это важно, можно легко увидеть в обстоятельствах, где оно отсутствует или дает трещину. Например «ненавидящий взгляд», который, как замечает Гофман, белые на юге Соединенных Штатов в известном прошлом бросали на чернокожих в общественных местах, отражал отрицание прав чернокожих на участие в некоторых общепринятых формах взаимодействия белых с себе подобными. Можно привести и пример иного свойства: так, человек, идущий по беспокойному району, может идти быстро, смотря все время вперед или бросая взгляд украдкой, в обоих случаях избегая любого зрительного контакта с другими прохожими. Отсутствие исходного доверия относительно возможных намерений других заставляет человека уклоняться от встречи взглядами, поскольку это может привести к потенциально враждебному контакту.

В условиях современности вежливое невнимание является самым главным видом личных обязательств, присутствующих в мимолетных встречах с незнакомцами в условиях современности. Оно включает не только мимику лица самого по себе, но и едва различимое изменение телесной позы и положения в пространстве, говорящих «ты можешь доверять мне в том, что я не имею враждебных намерений» — на улице, в общественных зданиях, в поездах и автобусах или во время церемоний, а также на вечеринках или других собраниях. Вежливое невнимание есть доверие в качестве «фонового шума» — не как произвольный набор звуков, но как аккуратно сдерживаемые и контролируемые социальные ритмы. Это харак-

терно для того, что Гофман называет «несфокусированным взаимодействием».

Механизмы «сфокусированного взаимодействия» или встреч являются совершенно иными. Эти встречи, будь то с незнакомцами, знакомыми или близкими друзьями, предполагают обобщенные практики, связанные с поддержанием доверия. Как замечает Гофман, переход от вежливого невнимания к началу встречи сопряжен с неблагоприятными возможностями для каждого вовлеченного индивида. Исходное доверие, которое предполагает любое начало встречи, тяготеет к тому, чтобы быть санкционированным восприятием «установленной доверительности» и/или поддержанием неформальных ритуалов — опять же обычно сложного вида. Встречи с незнакомцами или знакомыми (людьми, которых индивид встречал ранее, но не знает хорошо) уравнивают доверие, такт и власть. Такт и ритуалы вежливости являются взаимными защитными механизмами, которые незнакомцы или знакомые намеренно используют (по большей части на уровне практического сознания) как вид неявного социального контакта. Разница потенциала, особенно там, где она очень заметна, может нарушать или искажать нормы ритуалов такта и вежливости, точно так же, как тесное общение может устанавливать доверительные отношения между друзьями и близкими.

ДОВЕРИЕ К АБСТРАКТНЫМ СИСТЕМАМ

Гораздо больше можно сказать о переплетении доверия, такта и власти при встречах с людьми, не являющихся близкими; но на этом этапе я хотел

бы сконцентрироваться на доверительности — особенно в отношении к символическим знаковым и экспертным системам. Доверительность бывает двух видов. Первая устанавливается между индивидами, которые хорошо знакомы друг другу и которые на основе долговременного знакомства сделали действительными доверительные отношения, делающие каждого из них надежным человеком в глазах другого. Доверительность в отношении механизмов высвобождения имеет другую форму, несмотря на то, что надежность и здесь играет главную роль, а доверительные отношения также имеют место. В некоторых обстоятельствах доверие к абстрактным системам не предполагает каких-либо встреч с индивидами или группами, которые несут определенную «ответственность» за их функционирование. Но во многих случаях эти индивиды или группы присутствуют, и я буду ссылаться на контакты с ними обыкновенных людей как на точки доступа абстрактных систем, которые являются местом встречи личных и безличных обязательств.

Отправная точка моего рассуждения будет заключаться в том, что *природа современных институтов глубоко связана с механизмами доверия к абстрактным системам*, особенно к экспертным системам. В условиях современности будущее всегда открыто не просто в смысле обычной неопределенности обстоятельств, а в смысле рефлексивности знания, в сопряжении с которым организованы социальные практики. Этот контрфактический, ориентированный на будущее характер современности структурирован посредством доверия, которым наделяются абстрактные системы, и которое по самой своей природе фильтруется доверием к авторитетной экспертизе. Особенно важно ясно понимать,

к чему это приводит. Доверие к экспертным системам, проявляемое простыми людьми, не является, как это было характерно для досовременного мира, проявлением чувства безопасности по отношению к независимо данному миру событий. Оно порождается вычислением прибылей и рисков в обстоятельствах, когда экспертное знание не просто обеспечивает это вычисление, но в действительности создает (или воспроизводит) универсум событий в качестве результата продолжительного рефлексивного осуществления самого этого знания.

Сказанным выше предполагается, что в ситуации, когда множество аспектов современности стали глобализированными, никто не может полностью отказаться от контактов с абстрактными системами, включенными в современные институты. Это наиболее очевидно на примере таких явлений, как риск ядерной войны или экологическая катастрофа. Сказанное еще более верно по отношению ко многим аспектам обыденной жизни большинства населения. В досовременных условиях индивиды, как в принципе, так и на практике, могут игнорировать то, что говорят священнослужители, мудрецы, колдуны, и преуспевать при этом в рутинных практиках повседневной деятельности. Но в современном мире в отношении экспертного знания дело обстоит иначе.

По этой причине контакты с экспертами или их представителями или уполномоченными, происходящие в форме встреч в соответствующих точках доступа, особенно важны в современных обществах. То, что это так, в общем признается и обычными людьми и операторами или поставщиками абстрактных систем. Обычно это сопряжено с разнообразными соображениями. Встречи с представителями абстрактных систем, конечно,

могут быть упорядоченными и могут легко приобретать характеристики доверительности, связанные с дружбой и близкими отношениями. Так, например, может происходить в случае с доктором, дантистом или агентом бюро путешествий, с которым человек регулярно имел дело на протяжении нескольких лет. Тем не менее многие контакты с представителями абстрактных систем носят более эпизодический или преходящий характер. Нерегулярные встречи, по всей видимости, таковы, что в них очевидные критерии уверенности должны быть особенно осторожно спланированы и защищены, даже если подобные критерии также проявляются во всем диапазоне контактов профессионалов с обычными людьми.

В точках доступа личные обязательства, которые подключают простых людей к отношениям доверия, обычно включают в себя демонстративную доверительность и честность, соединенные с установкой «нормальной работы» или невозмутимостью. Тем не менее все осведомлены, что настоящее хранилище доверия находится скорее в абстрактной системе, чем в индивидах, в специфических контекстах «представляющих» ее; в точках доступа заложено напоминание, что операторы системы это люди из плоти и крови (потенциально могущие ошибаться). Личные обязательства находятся в сильной зависимости от того, что может быть названо *манерой вести себя* представителей или операторов системы. Мрачная рассудительность судьи, формальный профессионализм доктора или стереотипная веселость команды самолета, обслуживающей пассажиров, — все это подпадает под эту категорию. Все участники понимают, что уверенность необходима и что это уверенность двойного вида: в надежности отдельных вовлеченных

индивидов и в (по необходимости скрытых) знаниях или навыках, к которым обычный человек фактически не имеет доступа. Установка «обычного дела», по всей видимости, скорее является особенно важной там, где включенные опасности открыты для взгляда, а не там, где формируется фундамент чистых контрфактических рисков. В случае с примером воздушного рейса умышленная несерьезность и спокойная приветливость персонала команды самолета, вероятно, так же важны для успокоения пассажиров, как любое число объявлений, статистически демонстрирующих то, как безопасны путешествия по воздуху.

Фактически, всегда имеет место случай, когда в точках доступа делается строгое разделение между представлениями переднего и заднего планов (еще два понятия, заимствованные у Гофмана). Нам не нужно функционалистское «объяснение», чтобы увидеть, почему это так. Управление границами между передним и задним планами является частью сущности профессионализма. Почему эксперты сохраняют скрытым от других многое из того, чем они занимаются? Одна из причин вполне ясна: проведение экспертизы обычно требует специального окружения, а также напряженной работы ума, которой тяжело бы было достичь на глазах у публики. Но есть и другие причины. Существует различие между экспертизой и экспертом, которое те, кто работает в точках доступа, обычно желают минимизировать настолько, насколько это только возможно. Эксперты могут заблуждаться, давая ошибочное истолкование или будучи некомпетентными в экспертизе, которая от них требуется.

Явное различие переднего и заднего планов поддерживает манеру держать себя в качестве способа уменьшения влияния несовершенства

умений и человеческой склонности к ошибкам. Пациенты, вероятно, не доверяли бы медицинским работникам так безоговорочно, если бы имели полную осведомленность об ошибках, которые были сделаны в больничных палатах и на операционном столе. Следующая причина касается области непредвиденных обстоятельств, которые всегда сохраняется в работе абстрактных систем. Не существует навыка, столь тщательно отточенного и нет формы экспертного знания столь всесторонней, чтобы элементы риска или удачи не влияли на них. Эксперты обычно предполагают, что обычные люди будут чувствовать себя более уверенно, если у них не будет возможности следить за тем, как часто эти элементы влияют на осуществление экспертизы.

Механизмы доверия затрагивают не только связи между обычными людьми и экспертами: они также тесно связаны с деятельностью тех, кто находится «внутри» абстрактных систем. Коды профессиональной этики, в некоторых случаях поддерживаемые правовыми постановлениями, образуют тот способ, при помощи которого доверительность коллег или партнеров управляется изнутри. Однако даже для того кто, мог казаться изнутри наиболее преданным абстрактным системам, которые поддерживают эти коды, личные обязательства наиболее важны как способ образования преемственности доверительности. Этим образуется один из типов нового усвоения социальных отношений. Новое усвоение здесь представляет способ закрепления доверия к доверительности и честности коллег. Как указывает Дейдра Боден: «Бизнесмен, который спрашивает, “Когда ты будешь в Нью-Йорке?”, или же обеды представителей шоу-бизнеса на бульваре Сансет, равно как и

ученые, которые пересекают континенты для того, чтобы прочитать пятнадцатиминутный доклад в кондиционированных аудиториях без окон, не интересуются ни туристической, ни кулинарной, ни учёной деятельностью. Им нужно, как старым солдатам, увидеть закатившиеся глаза коллег и врагов, чтобы вновь подтвердить и, что даже более важно, обновить фундамент доверия»ⁱⁱⁱ.

Новое усвоение в подобных контекстах, как показывает цитата, соединяет уверенность в отношении абстрактных систем с их рефлексивной подвижной природой, а заодно обуславливает встречи и ритуалы, которые поддерживают коллегальную доверительность.

Подводя итог вышесказанного, мы можем представить эти положения следующим образом.

Отношения *доверия* являются базисными для расширения дистанциации времени и пространства, ассоциируемой с современностью.

Доверие к системам принимает форму *безличных обязательств*, в которых вера поддерживается благодаря функционированию знания, в котором простой человек, как правило, не разбирается.

Доверие к людям включает *личные обязательства*, следование которым (в рамках данной области действия) рассматривается как проявление индивидами их порядочности.

Новое усвоение отсылает к процессам, посредством которых безличные обязательства поддерживаются или трансформируются благодаря личному участию.

Вежливое невнимание является фундаментальным аспектом отношений доверия в широкомасштабных и анонимых условиях современности. Это успокаивающий «шум», который образует

своего рода фон для возникновения и разрешения столкновений, которые включают свои собственные специфические механизмы доверия в виде личных обязательств.

Точки доступа являются точками связи между обычными людьми или коллективами и представителями абстрактных систем. Они являются слабыми местами абстрактных систем, но в то же самое время — узловыми точками, в которых доверие может быть сохранено или создано.

ДОВЕРИЕ И ЭКСПЕРТИЗА

Наблюдения, сделанные до сих пор в этом разделе, скорее касались того, как доверие управляется в отношении к абстрактным системам, нежели отвечали на вопрос: почему большинство людей обычно доверяют практикам и социальным механизмам, о которых они обладают весьма скудным техническим знанием или же вообще лишены такового? На этот вопрос можно ответить различными способами. Мы достаточно знаем о нежелании, с которым на ранней фазе современного социального развития люди адаптируются к новым социальным практикам (таким, как введение профессиональных форм медицины), чтобы признать важность социализации в отношении к подобному доверию. Влияние этого «скрытого курса обучения» в процессах формального образования играет здесь, вероятно, решающую роль. Ребенку при изучении науки передается не только содержание технических открытий, но и, что намного важнее для основных социальных установок, атмосфера уважения к техническому знанию всех видов. В большинстве современных систем обра-

зования обучение наукам всегда начинается с «первых принципов», а знание рассматривается, в той или иной степени, как не подлежащее сомнению. Только если кто-то продолжит изучать науку еще некоторое время, то она или он, вероятно, столкнется со спорными вопросами или же станет полностью осведомлен о потенциальной ошибочности всех положений научного знания.

Наука, таким образом, имеет давно поддерживаемый образ надежного знания, который перетекает в установку уважения к большинству форм технической специализации. Однако в то же время установки «человека с улицы» в отношении науки и технического знания в целом обычно являются двойственными. Эта двойственность лежит в центре всех доверительных отношений, будь то доверие к абстрактным системам или к индивидам. Потребность в доверии возникает лишь там, где есть неведение — как в случае утверждений о знании технических экспертов, так и в случае мыслей и намерений близких, которым человек доверяет. Однако неведение всегда предоставляет основания для скептицизма или, по крайней мере, для осторожности. Популярные представления о научной и технической экспертизе по преимуществу ставятся в один ряд с установками враждебности или страха, наподобие стереотипов «изобретателя» — будь то лишенного юмора технаря, мало понимающего обычных людей, будь то сумасшедшего ученого. На профессии, чье требование к специальному знанию видится в основном как «закрытое предприятие», а обладание внутренней терминологией кажется изобретенным для защиты от «людей с улицы» — как это имеет место с юристами и социологами, — обычно смотрят особенно подозрительно.

Уважение к техническому знанию обычно сочетается с прагматической установкой в отношении абстрактных систем, в основе которой лежит либо скептицизм, либо почтение. Многие люди как будто приходят к «соглашению с современностью», выражая доверие символическим знаковым и экспертным системам. Природа соглашения определяется особыми сочетаниями почтения и скептицизма, комфорта и страха. Поскольку мы не можем избежать воздействия социальных институтов, постольку внутри широких рамок установок прагматического принятия могут существовать многие возможные ориентации (или сосуществовать в настоящей неопределенности). Например, индивид скорее может решить переехать в другой район, чем будет пить фторированную воду или скорее пить воду из бутылок, чем воду из-под крана. Тем не менее, полный отказ от использования воды из трубопровода будет экстремальной установкой.

Доверие отличается от «слабого индуктивного знания», но вера, которую оно предполагает, не всегда предполагает сознательный акт обязательства. В условиях современности установки доверия в отношении абстрактных систем обычно инкорпорированы в преювентивность каждодневной деятельности и во многом являются навязанными внутренними условиями ежедневной жизни. Таким образом, доверие в намного меньшей степени является «преградой к обязательству,» чем молчаливое принятие условий, в которых другие альтернативы большей частью исключаются. Однако было бы серьезной ошибкой рассматривать эту ситуацию просто как разновидность неохотно допускаемой пассивной зависимости (об этом я еще скажу ниже).

Установки доверия (или его отсутствия) в отношении специфических абстрактных систем в точках доступа подвержены сильной зависимости от опыта, равно как и от обновления знания, которое через средства массовой информации и другие источники поставляется как обычным людям, так и техническим экспертам. Тот факт, что точки доступа являются узлами напряжения между скептицизмом «человека с улицы» и профессиональной экспертизой, делает их источниками уязвимости для абстрактных систем. В некоторых случаях человек, имеющий неудачный опыт контакта с данной точкой доступа, где относящиеся к делу технические навыки являются относительно простыми, может попытаться уклониться от отношения, в котором он выступает как клиент-непрофессионал. Таким образом, дама, обнаружившая, что «эксперт», которых она наняла, не смогли установить центральное отопление должным образом, может решить сделать это сама, изучив предварительно основные принципы, связанные с этой процедурой. В других случаях неудачный опыт в точках доступа может вести как к разновидности покорного цинизма, так и, где это возможно, к отсоединению от системы в целом*. Индивид, инвестирующий в

* Современное государственное управление зависит от сложных отношений доверия между политическими лидерами и простым народом. Электоральные системы могли бы быть рассмотрены не только как способ охраны представительства интересов, но и как институционализированные точки доступа, соединяющие политиков и народные массы. Избирательные лозунги и прочая пропаганда являются методами демонстрации доверительности, что обычно приводит к увеличению случаев нового усвоения, — кричат барышни «ура» и в воздух чепчики бросают. Доверие в политической экспертизе само по себе является отдельной темой; но поскольку это область отношений доверия довольно часто становилась предметом анализа, я не буду здесь обсуждать

определенные акции по совету биржевого маклера и теряющий деньги, может решить вместо этого оставлять деньги на кредитном счете. Человек может даже решить в будущем хранить средства только в золоте. Но опять же, будет очень трудно полностью освободиться от монетарной системы, и это может быть сделано только в том случае, если индивид попытается жить в самодостаточной бедности.

Перед тем как более явно рассмотреть обстоятельства, в которых доверие появляется или утрачивается, мы должны дополнить предшествующее обсуждение анализом доверия скорее к людям, чем к системам. Это подводит нас к проблемам, связанным с психологией доверия.

ДОВЕРИЕ И ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Существуют некоторые аспекты доверия и процессы личного развития, которые встречаются во всех культурах, как досовременных, так и современных. Я не буду пытаться дать исчерпывающее освещение данной проблемы, а сконцентрируюсь на связях между доверием и *онтологической безопасностью*. Онтологическая безопасность является одной, но очень важной, формой ощущения безопасности в том широком смысле, в котором я

ее в деталях. Тем не менее следует отметить, что избавление от систем государственного управления сегодня является практически невозможным в силу глобального распространения системы национальных государств. Покинуть страну, где государственная политика чрезвычайно жестока или противна вашим взглядам, можно, лишь перейдя на территорию другого государства и став субъектом его юрисдикции.

использовал этот термин ранее^{liii}. Эта фраза относится к уверенности, испытываемой большей частью людей как по отношению к сохранению своей самоидентичности, так и по отношению к постоянству окружающей социальной и природной среды действия. Ощущение надежности людей и вещей, играющее центральную роль в понятии доверия, является также базовым для чувства онтологической безопасности; таким образом, в психологическом плане оба они тесно связаны между собой.

Онтологическая безопасность соотносится с «бытием» или, в терминах феноменологии, с «бытием-в-мире». Но это скорее эмоциональный, нежели когнитивный феномен, который глубоко укоренен в бессознательном. Философы показали нам, что на когнитивном уровне существует крайне мало (если только существует) аспектов нашего личного существования, относительно которых мы можем обладать достоверным знанием. Возможно, наличие такой познавательной неопределенности является частью рефлексивности современности, но она определенно не ограничена одним только специфическим историческим периодом. На некоторые вопросы — «Существую ли я на самом деле?», «Тот ли я человек сегодня, которым был вчера?», «Существуют ли на самом деле другие люди?», «Будет ли продолжать существовать то, на что я сейчас смотрю, если я повернусь к нему спиной?» — нельзя дать бесспорный ответ при помощи рациональных аргументов.

Философы ставят вопросы о природе бытия, но они не находят, как мы можем предположить, в ситуации онтологической опасности в своих обычных действиях и в этом отношении они находятся в согласии с большей частью населения. Подобное

нельзя сказать о меньшинстве людей, которые рассматривают нашу неспособность знать твердые ответы на эти вопросы не просто как интеллектуальную обеспокоенность, а как глубинное беспокойство, влияющее на множество их действий. Человек, который экзистенциально неуверен в том, является ли он или она собой, или существуют ли на самом деле другие люди, или существует ли реально что-либо из воспринимаемого нами, может быть совершенно неспособным обитать в том же социальном мире, что и другие люди. Определенные категории индивидов, которые думают и действуют подобным образом, считаются другими людьми душевнобольными (например, шизофреники)^{liv}.

Какие бы иные черты не демонстрировало подобное шизофреническое поведение, его тем не менее нельзя истолковать как следствие недостатка интеллектуальных способностей. То же самое справедливо и в отношении многих видов состояния тревоги в его критических или мягких вариантах. Представим, что некто без каких-либо внешних симптомов постоянно страдает по поводу того, что другие вынашивают в отношении него или нее какие-то тайные злые замыслы. Или представим человека, постоянно беспокоящегося о возможности ядерной войны и неспособного выкинуть мысль об этом риске из своей головы. В то время как «нормальные» индивиды могут считать подобные тревоги, — особенно когда они сильны и постоянны, — иррациональными, эти чувства будут являться скорее результатом повышенной эмоциональной чувствительности, нежели иррациональности. Для риска ядерной войны в современном мире всегда есть имманентная возможность; и коль скоро ни один индивид не имеет прямого доступа к мыслям другого, никто

не *может* быть абсолютно уверен (скорее в логическом, чем в эмоциональном смысле), что злой умысел не присутствует в умах других людей, с которыми он или она взаимодействуют.

Почему все люди не находятся постоянно в состоянии высокой степени онтологической небезопасности, продиктованной чудовищностью подобных потенциальных экзистенциальных тревог? Источники той безопасности, которую в отношении к этим возможным само-вопросаниям большинство людей испытывает большую часть времени, должны быть найдены в определенном характерном опыте раннего детства. Я буду утверждать, что «нормальные» индивиды получают на первоначальном этапе жизни базовую «дозу» доверия, которая ослабляет или притупляет подобную экзистенциальную восприимчивость. Или, если изменить эту метафору, они получают эмоциональную прививку, защищающую их от онтологических тревог, которым потенциально подвержены все человеческие существа. Действующей силой этой прививки являются в первую очередь те люди, которые заботятся о ребенке в детстве: для большей части индивидов таким лицом является мать.

Работа Эрика Эриксона является важным источником для понимания значения доверия в контексте раннего развития ребенка. То, что Эриксон называет «базовым доверием», находится, как он показывает, в центре устойчивой эго-идентичности. При обсуждении значения доверия в детском возрасте Эриксон обращает внимание именно на этот необходимый элемент веры, к которому я уже обращался ранее.

Он говорит, что в то время, как некоторые психологи говорили о развитии «уверенности» у ребенка, он предпочитает слово «доверие», потому что

в нем «больше наивности». Более того, добавляет он, доверие предполагает не только «что некто научился полагаться на постоянство и тождество тех, кто находится вокруг и заботится о нем», но также и то, «что он может доверять себе». Доверие к другим развивается в сочетании с формированием внутреннего ощущения доверительности, которое в дальнейшем обеспечивает основу стабильной самоидентичности.

Поэтому с самого первого этапа доверие включает в себе *взаимность* опыта. Ребенок учится полагаться на последовательность и внимание тех, кто о нем заботится. Но в то же самое время он учится тому, что обязан справляться со своими побуждениями теми способами, которые они считают удовлетворительными, и тому, что те, кто заботится о нем, ожидают от него надежности или доверительности в его собственном ребенке. Детская шизофрения, замечает Эриксон, представляет наглядное свидетельство того, что может случиться, если между ребенком и его родителями не было установлено базовое доверие. Ребенок развивает слабое ощущение «реальности» вещей или других людей, потому что отсутствует постоянная подпитка близостью и заботой. Девиантное поведение и уход от действительности представляют собой попытки справиться с неопределенной или активно враждебной обстановкой, в которой отсутствие чувства внутренней доверительности отражает ненадежность внешнего мира.

Вера ребенка в любовь того, кто о нем заботится, и является тем, что приводит к обязательствам, предполагаемым базовым доверием, равно как и всем тем формам доверия, которые являются производными от него.

«[Родители] вызывают чувство доверия у своих детей таким исполнением своих обязанностей, которое соединяет нежную заботу об индивидуальных потребностях ребенка с крепким чувством личной доверительности внутри системы доверия, стиля жизни их культуры. Тем самым у ребенка формируется основа чувства идентичности, которое в дальнейшем объединится с чувством того, что “все в порядке”, чувством себя и осознанием того, что он становится тем, кого другие люди рассчитывают в нем увидеть... Родители обязаны не только управлять поведением ребенка при помощи запретов и поручений; они также обязаны быть способными передать ребенку глубокое, почти что телесно ощущаемое убеждение, что то, что они делают, имеет смысл. В конечном счете, дети становятся невротиками не из-за разочарований, но от отсутствия или утраты социального смысла этих разочарований.

Однако даже при самых благоприятных обстоятельствах этот период, по-видимому, вносит в психическую жизнь становящееся прототипическим чувство внутреннего раскола и всеохватной ностальгии по утраченному раю. Именно данной комбинации чувства лишенности, чувства разделенности и чувства покинутости и противостоит базисное доверие на протяжении всей жизни»^{lv}.

Эти догадки, в значительной степени принадлежащие Эриксону, формируют общее акцентуированное отношение к объектным отношениям психоаналитичес-

кой мысли*. Некоторые очень похожие идеи были разработаны ранее Д. В. Винникоттом. Вовсе не удовлетворение естественных побуждений, говорит он, приводит ребенка к тому, что он «начинает существовать и чувствовать, что жизнь реальна и находить жизнь достойной того, чтобы жить». Напротив, подобная ориентация является производной от отношения между ребенком и тем, кто о нем заботится; она зависит от того, что Винникотт называет «переходным пространством» между ними. Переходное пространство — это разделенность, созданная между ребенком и тем, кто о нем заботится, т. е. автономность действия и возникающее чувство идентичности и «реальности вещей», — и выводимая из веры ребенка в надежность фигуры родителя. Переходное пространство является отчасти неправильным наименованием, поскольку, как поясняет Винникотт, оно относится к способности ребенка позволять заботящемуся о нем удаляться как во времени, так и в простран-

* Идеи школы объектных отношений более соответствуют аргументам, развиваемым здесь, чем те, что можно обнаружить в лакановском психоанализе, который сегодня более влиятелен в некоторых областях социальной теории. Работа Лакана важна, так как помогает ухватить хрупкость и фрагментированность самости. Однако при этом — вместе с постструктуралистской мыслью в целом — он в первую очередь сосредоточивает внимание на одном типе процессов, который в действительности дополняется противоположными тенденциями к интеграции и целостности. Теория объектных отношений является полезной, так как она говорит о том, как индивид обретает ощущение целостности и как это связано с уверенностью в том, что внешний мир «реален». На мой взгляд, подобный подход согласуется (или может быть согласован) со взглядом Витгенштейна о «данности» мира объектов и событий, который может быть «воспринят» только в качестве пережитого и который внутренне противится выражению себя в слова.

стве^{xvi}.

По этой причине ключевым для пересечения доверия с возникающими социальными способностями ребенка является *отсутствие*. Здесь, в самой сердцевине части психологического развития доверия, мы заново исследуем проблематику дистанциации времени и пространства. Фундаментальной особенностью раннего формирования доверия является вера в то, что опекун вернется. Ощущение надежности, центральное для чувства целостности самоидентичности, основывается на осознании того, что отсутствие матери не означает прекращения ее любви. Доверие, таким образом, заключает в скобки дистанцию во времени и пространстве и, таким образом, преграждает путь экзистенциальным беспокойствам, которые (если бы им позволили конкретизироваться) могут стать источником продолжающегося эмоционального и поведенческого страдания на протяжении жизни.

Ирвинг Гофман выражает это с обычной для него остротой, когда (в контексте дискуссии о риске) он замечает следующее: «Поэты и религиозные деятели не будут спорить о том, что если индивид сравнивает очень короткое время, которое ему намечено до его смерти, с относительно коротким временем, данным ему для того, чтобы странствовать и страдать в этом мире, он вполне мог бы найти причину для рассмотрения всей своей жизни как очень короткой по времени зловещей игры, каждая секунда которой должна наполнять его тревогой о том, на что ее употребить. И вправду, весьма короткое отведенное нам время летит, но нам кажется, что мы в состоянии задержать его дыхание на секунды или минуты»^{lvii}.

Доверие, онтологическая безопасность и ощущение преемственности людей и вещей остаются

тесно связанными друг с другом в личности взрослого человека. Доверие к надежности объектов, не являющихся людьми, как следует из данного анализа, основывается на более простой вере в надежность и заботу человеческих индивидов. Доверие к другим является психологической потребностью, имеющей устойчивый и повторяющийся характер. Извлечение уверенности из надежности или честности других является видом эмоционального восстановления, согласованного с опытом схожего социального и материального окружения. Онтологическая безопасность и обыденная практика тесно связаны благодаря всепроникающему влиянию привычки. Те, кто заботится о ребенке на ранней стадии его развития, обычно придают большое значение тем практикам, суть которых состоит в поощрении ребенка и отказе от его поощрения. Предсказуемость вроде бы самых незначительных практик повседневной жизни глубоко включена в смысл психологической безопасности. Когда по какой-либо причине подобные практики разрушаются, тревога начинает усиливаться и даже очень твердо укорененные аспекты личности индивида могут исчезнуть и измениться^{lviii}.

Преданность обыденной практике всегда двусмысленна, что является выражением тех чувств утраты, которые (как отмечает Эриксон) всегда являются частью базового доверия. Рутинa психологически расслабляет, но в одном важном аспекте не является тем, *относительно чего* кто-либо может расслабиться. Преемственность практик повседневной жизни достигается только через постоянную бдительность вовлеченных участников, хотя здесь оказывается задействованным и практическое сознание. Демонстрация этого постоянно обновляемого «договора», заключаемого индиви-

дами друг с другом, находится в центре «экспериментов с доверием» Гарольда Гарфинкеля^{lix}. Эти эксперименты предлагают наглядное изображение эмоционально беспокоящего воздействия безразличия, пусть даже непреднамеренно проскальзывающего в устной речи. Результатом является временная утрата доверия к другому как к надежному, компетентному деятелю и усиление чувства экзистенциальной тревоги, которая принимает форму чувств боли, замешательства и предательства вместе с подозрительностью и враждебностью.

Эта работа, а также те, которые затрагивают детали каждодневного разговора и взаимодействия, активно наводят на мысль, что усваиваемое при формировании базового доверия не является простым сочетанием рутин, честности и поощрения. Одновременно усваивается угонченная методология практического сознания, которое является преобладающим защитным механизмом (хотя и заключающим в себе возможности слома и разделения) против тревог, которые могут быть вызваны даже самыми случайными столкновениями с другими людьми. Мы уже обозначили вежливое невнимание как один общий способ, в котором доверие является «воплощенным» как особенность соприсутствия, не связанного со сфокусированными встречами. При встречах лицом к лицу поддержание базового доверия совершается благодаря постоянному слежению за взглядом, телесной позе, телодвижениям и конвенциям стандартного обмена репликами.

Анализ, предложенный в данном разделе, обеспечивает благоприятную возможность наметить ответ на вопрос, который оставался открытым до сих пор: что противоположно доверию? Очевидно, что есть обстоятельства, при которых

отсутствие доверия может быть адекватно охарактеризовано как недоверие (как в отношении абстрактных систем, так и в отношении личностей). Термин «недоверие» наиболее удобно применять в обстоятельствах, когда мы говорим об отношении действующего лица к специфической системе, индивиду или типу индивида. Применительно к абстрактным системам недоверие означает скептическое или открыто отрицательное отношение к обладанию специальными знаниями, которые включает в себя система. Применительно к людям недоверие означает сомнение в честности намерений, которые демонстрируют их действия. Тем не менее «недоверие» — это слишком слабый термин для того, чтобы выражать фундаментальную противоположность *базовому* доверию, который занимает центральное место в обобщенном множестве отношений к социальному или физическому окружению. Укрепление доверия в данном случае, само является условием признания определенной идентичности объектов и личностей. Если базовое доверие не развито или же его неперемнная двойственность не сдерживается, нарастает постоянное экзистенциальное беспокойство. Поэтому в наиболее глубоком смысле противоположностью доверию является такое умонастроение, которое может лучше всего быть охарактеризовано как экзистенциальная *тревога* или *ужас*.

ДОСОВРЕМЕННОЕ И СОВРЕМЕННОЕ

Если существуют особенности психологии доверия, являющиеся универсальными (или почти универсальными), то существуют также фундаментальные различия между условиями отноше-

ний доверия в досовременных культурах и в современном мире. Это не только доверие, которое мы должны рассмотреть здесь, но и более обширные аспекты связей между доверием и риском, а также между безопасностью и опасностью. По сути, изображение обобщенных различий между современной эпохой и всем диапазоном досовременных социальных порядков является рискованным предприятием. Тем не менее сам масштаб отсутствия преемственности между современными и досовременными институтами оправдывает эту попытку, несмотря на то, что здесь неминуемы упрощения. Таблица I дает общую ориентацию в отношении тех различий, которые я хочу провести между средами доверия и риска.

Во всех досовременных культурах, включая крупные аграрные цивилизации, по уже указанным выше причинам уровень дистанциации времени и пространства по сравнению с условиями современности был относительно низок. Онтологическая безопасность в досовременном мире следует понимать в первую очередь в отношении контекстов доверия и форм риска или опасности, которые фиксированы локальными обстоятельствами места. По причине его неотъемлемой связи с отсутствием доверие всегда тесно связано с моделями организации «надежных» взаимодействий в пространстве и времени.

В досовременных культурах обычно господствуют четыре локализованных контекста доверия, несмотря на то, что каждый из них имеет много вариаций в отношении обсуждаемого частного социального порядка. Первым контекстом доверия является система родства, которая в большинстве досовременных порядков предлагает относительно стабильный способ организации «связанных»

социальных отношений в пространстве и времени. Родственные связи обычно являются центром напряженности и конфликта. Но, несмотря на множество конфликтов, которые они включают, и тревог, которые они вызывают, они являются именно теми общими узами, которым можно доверять при структурировании действий на поле времени и пространства. Это верно как на уровне явно безличных, так и более личных связей. Другими словами, родственники обычно могут полагаться на то, что в большей или меньшей степени будут иметь дело с рядом обязательств, не зависящих от того, испытывают ли они личную симпатию к определенным вовлеченным индивидам. Более того, родство обычно обеспечивает стабильную сеть дружеских или близких отношений, которые продолжаются в пространстве и времени. Родство, в итоге, обеспечивает серию доверительных социальных связей, которые, в принципе (и очень часто в практике), формируют организованное окружение отношений доверия.

Примерно то же самое можно сказать и о локальном сообществе. Мы должны избегать романтического взгляда на сообщество, который обычно скрывается за социальным анализом, сравнивающим традиционные культуры с современными. Здесь я намереваюсь подчеркнуть важность *локализованных отношений*, организованных в терминах *места*, где место еще не стало трансформироваться посредством дистанцированных отношений времени и пространства. В значительном большинстве досовременных условий, включая большую часть городов, локальная окружающая обстановка является местонахождением пучков пересекающихся социальных отношений, низкий пространственный охват которых обеспечивает их прочность во време-

ни. Миграции населения, кочевой образ жизни и путешествия купцов и искателей приключений на дальние расстояния были достаточно распространены в досовременные времена. Но значительное большинство населения было относительно немобильно и изолировано в сравнении с обычными и частыми формами мобильности (и осведомленности о других способах жизни), предусматриваемыми современным транспортом. Локальность в досовременных контекстах находится в центре (и способствует) онтологической безопасности теми способами, которые в обстоятельствах современности большей частью являются разрушенными.

Третье влияние относится к религиозной космологии. Религиозные верования могут быть источником предельной тревоги или отчаяния — настолько большого, что они должны быть учтены в качестве одного из главных параметров (пережитого) риска и опасности во многих досовременных порядках. Но в других отношениях религиозные космологии обеспечивают моральные и практические интерпретации личной и социальной жизни, а также мира природы, который репрезентирует для верующего безопасную среду. Христианское божество приказывает нам «Верь в меня, так как я единственный истинный Бог». Несмотря на то, что большинство религий не столь монотеистичны, уверенность в том, что существуют сверхъестественные существа или силы, является общей особенностью многих (во всем остальном отличных друг от друга) религиозных верований. Влияние религии как организующего средства доверия не ограничивается каким-то одним направлением. Не только боги и религиозные силы предлагают провиденциально зависимую поддержку: подобное также делают религиозные функционеры. Из

ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

всего этого наиболее важно то, что религиозные верования обычно способствуют сложению чувства уверенности в рамках опыта событий и ситуаций за счет формирования системы, в понятиях которой они поддаются объяснению и ответу.

Таблица I. Среда доверия и риска в досовременных и современных культурах

	ДОСОВРЕМЕННЫЕ <i>Общий контекст: преимущественная значимость локального доверия</i>	СОВРЕМЕННЫЕ <i>Общий контекст: отношения доверия облечены высвобожденные абстрактные системы</i>
С Р Е	1. <i>Отношения родства</i> как организующее средство стабилизации социальных связей во времени и пространстве.	1. <i>Личные отношения</i> дружбы или сексуальной близости как средства стабилизации социальных связей.
Д А	2. <i>Локальное сообщество</i> как место, обеспечивающее привычную среду обитания.	2. <i>Абстрактные системы</i> как средство стабилизации отношений в неопределенном пространственно-временном диапазоне.
Д О В Е	3. <i>Религиозные космологии</i> как формы верований и ритуальной практики, обеспечивающие провиденциальную интерпретацию человеческой жизни и природы.	3. <i>Ориентированное на будущее</i> , контрфактическое мышление в качестве способа связи прошлого и настоящего.
Р И Я	4. <i>Традиция</i> как средство связи настоящего и будущего; ориентированное в прошлое в реверсивном времени.	

ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

С Р Е	1. Угрозы и опасности, исходящие от <i>природы</i> , такие, как распространение инфекционных болезней, климатические катаклизмы, наводнения и иные стихийные бедствия.	1. Угрозы и опасности, исходящие от <i>рефлексивности</i> современности.
Д А	2. Угроза <i>человеческого насилия</i> от мародерствующих армий, местных военачальников, бандитов или разбойников.	2. Угроза <i>человеческого насилия</i> , исходящая от индустриализации войны.
Р И С К А	3. Риск <i>лишения религиозной благодати</i> или риск, исходящий от злых магических сил.	3. Угроза, проистекающая из рефлексивности современности, приложенной к «Я».

Как в случае с другими контекстами доверия в рамках досовременных порядков, я делаю здесь акцент на религии как чем-то, что создает чувство уверенности в отношении социальных и естественных событий, и, таким образом, вносит вклад в заключение в скобки пространства-времени. Возможно, что религия психологически присоединяется к механизмам доверия при помощи персонажей и сил, представляющих ее таким образом, что они напрямую выражают доверие (или его отсутствие) в фигуре отца. Фрейд, определенно, имел в виду именно это^{lx}, и многие другие авторы, на которых повлиял психоанализ, согласились бы с ним. Эриксон также входит в их число: он говорит, что «вера», которую предполагает доверие и которой, прежде всего, наделены те, кто заботится о ребенке, имеет свою «институциональную защиту» в организованной религии.

«Доверие, рожденное из заботы, фактичес-

ки является критерием *актуальности* данной религии. Все религии содержат периодически по-детски искреннее вверение себя Поставщику или поставщикам, распределяющим земной успех вместе с духовным благополучием... [и] представление, что индивидуальное доверие обязано стать общей верой, индивидуальное недоверие — явным для всех злом, в то время как индивидуальное спасение обязано стать частью ритуальной практики многих и знаком доверительности в сообществе»^{lxii}.

Даже учитывая чрезвычайное разнообразие мировых религий, тяжело отвергнуть заключение, что в этом взгляде должен существовать некоторый элемент обоснованности; тем не менее, отправная точка, от которой я намерен оттолкнуться, не настолько зависит от него.

Четвертым главным контекстом отношений доверия в досовременных культурах является традиция. Традиция, в отличие от религии, отсылает не к какому-либо отдельному корпусу верований и практик, а к способу, которым эти верования и практики организованы; в особенности это касается времени. Традиция отражает отдельный способ структуризации темпоральности (которая также имеет прямые последствия для действия в пространстве). Замечание Леви-Стросса об «обратимом времени» является центральным для понимания темпоральности традиционных верований и деятельности. Обратимое время является темпоральностью повторения и управляется логикой повторения — прошлое является способом организации будущего. Ориентация на прошлое, являющаяся характерной чертой традиции, отличает ее от современного взгляда не только тем, что она скорее обращена в прошлое, чем прогрессивна; на самом

деле такое представление огрубляет действительность. Скорее речь идет о том, что ни «прошлое», ни «будущее» не являются дискретными феноменами, отделенными от «непрерывного настоящего», как это имеет место в случае современного мировоззрения. Прошедшее время включено в практики настоящего таким образом, что горизонт будущего поворачивает назад, чтобы пересечься с тем, что было раньше.

Традиция рутинна. Но это скорее внутренне содержательная обыденная рутина, чем просто пустой обычай ради обычая. Время и пространство — это не бессодержательные измерения, каковыми они становятся с развитием современности, но контекстуально вплетены в природу жизнедеятельности. Значения рутинной деятельности лежат в общем неотъемлемом уважении или даже почтении к традиции и в связи традиции с ритуалом. Ритуал обычно имеет в отношении нее принудительный аспект, но он также крайне конформен вследствие того, что привносит установленное множество практик, качественно относящихся к таинству. Традиция, в целом, в своих основных формах содействует онтологической безопасности в той степени, в которой удерживает доверие к преемственности прошлого, настоящего и будущего и связывает подобное доверие через рутинные социальные практики.

Чтобы определить эти различные контексты доверия в досовременных культурах, недостаточно просто сказать, что традиционные условия были подходящими и психологически удобными, а современные нет. По причинам, которые я попытаюсь установить, есть некоторые определенные аспекты, в которых уровень онтологической незащищенности в современном мире выше, чем

в большинстве обстоятельств досовременной социальной жизни. Тем не менее окружающая обстановка традиционных культур была характерным образом наполнена заботами и неуверенностью. Я отсылаю ко всем этим обстоятельствам, вместе взятым, как к среде риска, характерного для досовременного мира.

Среда риска для традиционных культур управлялась опасностями физического мира. Знаменитое наблюдение Гоббса о том, что в естественных условиях человеческая жизнь была бы «груба, жестока и коротка» не является неточным, если читать его, как описание условий действительной жизни многих индивидов в досовременных культурах. Уровень детской смертности так же, как и смертей женщин при родах, был по современным стандартам чрезвычайно высок. У тех, кто выжил в детстве, продолжительность жизни была относительно низкой, многие люди страдали от хронических болезней и подверженности различного рода инфекционным заболеваниям. Есть некоторые свидетельства, что охотники и собиратели (особенно которые обитали в благоприятных областях) могли быть менее подвержены инфекционным заболеваниям, чем индивиды, жившие в фиксированных локальных сообществах или в городских зонах крупных досовременных сообществ^{lxii}, но даже они определенно не были свободны от ряда свойственных этим местам болезней, которые в большом числе имелись в досовременные времена. Все типы досовременного социального порядка находились под влиянием (обычно весьма сильного) капризов климата и слабой защиты от природных бедствий, наподобие потопов, штормов, избыточных осадков или засухи.

К нестабильной природе социальной жизни в

отношении к физическому миру мы должны добавить (в качестве следующего источника незащищенности) распространенность человеческого насилия. Главные различия, проведенные здесь, делаются между крупными досовременными социальными порядками и современной социальной средой. Уровень насилия внутри культур охотников и собирателей и между ними, в общем, кажется, должен был быть довольно низким потому, что не существовало профессиональных воинов. С появлением профессиональных военных ситуация сильно меняется. Большая часть аграрных государств была основана непосредственным образом на военной силе. Кроме того, как уже было замечено ранее, в подобных государствах монополия на управление средствами насилия от имени господствующей власти всегда была далека от полной. По стандартам современных национальных государств такие государства внутренне никогда не находились в состоянии покоя. Только небольшие группы населения могли на протяжении длительных периодов чувствовать себя в безопасности от насилия или угрозы насилия со стороны вторгающихся армий, мародеров, разбойничьих баронов, бандитов, грабителей или пиратов. Современная городская среда обычно рассматривается как враждебная из-за риска нападения или ограбления. Но этот уровень насилия не только является по сути незначительным в сравнении с многими досовременными порядками; подобная среда существует лишь в небольших районах внутри больших территориальных зон, в которых защищенность против физического насилия гораздо сильнее, чем когда-либо было возможно в регионах сравнимого размера в традиционном мире.

Наконец, мы должны уделить особое внимание двойному влиянию религии. Если религиозные верования и практики вместе обеспечивают спасение от несчастий повседневной жизни, они также могут, как уже было замечено, быть внутренним источником беспокойства и внутренних опасений. Частично это соответствует тому факту, что религия проникает во множество аспектов социальной деятельности — природные угрозы и опасности, например, могут быть восприняты через коды и символы религии. Тем не менее в основном это происходит, потому что религия обычно занимает само психологическое пространство потенциальной экзистенциальной тревоги. То, до какой степени религия создает собственные специфические причины страха в этом пространстве, несомненно, широко варьируется. Вероятно, формы религиозных верований и практик, которые Вебер назвал «религиями спасения», наиболее склонны заражать ежедневную жизнь экзистенциальными страхами, ссылаясь на конфликт между грехом и обещанием спасения после смерти.

С развитием современных социальных институтов сохранилось и кое-что от соотношения сил между доверием и риском, защищенностью и опасностью. Но главные вовлеченные элементы явно отличны от тех, которые доминировали в досовременный период. В условиях современности (как было и во всех культурных порядках) человеческая деятельность остается ситуационной и контекстуализированной. Но воздействие трех крупных движущих сил современности — разделения пространства и времени, механизмов высвобождения и институциональной рефлексивности — освобождает некоторые базовые формы отношения доверия от атрибутов локальных контекстов.

Ни один из четырех главных центров доверия и онтологической безопасности при досовременных порядках не имеет сопоставимого значения в современных условиях. Родственные отношения для большей части населения остаются важными (особенно внутри нуклеарной семьи), но они более не являются переносчиками интенсивно организованных социальных связей через пространство и время. Подобное утверждение, бесспорно, является правомерным, несмотря на осторожность, с которой должен быть рассмотрен тезис о том, что современность служит причиной уменьшения роли семьи, и, несмотря на тот факт, что некоторое локальное окружение продолжает быть по своей сути центром родственных сетей прав и обязанностей.

Приоритет места при досовременных порядках был в значительной степени разрушен высвобождением и дистанциацией времени и пространства. Местостало фантазмагорическим, потому что структуры, посредством которых оно конструировалось, больше не являются локально организованными. Другими словами, локальное и глобальное оказались тесно переплетены друг с другом. Чувства близкой привязанности к местам или идентификация себя с ними по-прежнему сохраняется. Но они сами по себе являются высвобожденными: они не просто выражают локально укорененные практики и вовлеченность, но испытывают воздействие более далеких влияний. Например, даже самый маленький из районных магазинов получает свои товары со всего мира. Локальное сообщество не является средой, насыщенной привычными, само собой разумеющимися смыслами, а в значительной степени служит локально расположенным выражением дистанцированных отношений. И каждый

живущий в различных местах действия современных обществ осведомлен об этом. Если для кого-то более естественно покупать продукты в местном супермаркете, чем в бакалейной лавке на углу, значит, разница между одним и другим несущественна^{lxiii}.

Ослабевающее воздействие религии и традиции так часто обсуждалось в литературе по социальным наукам, что мы можем обратиться к нему предельно кратко. Несомненно, секуляризация представляется сложным вопросом; складывается впечатление, что она имеет в качестве своего результата исчезновение религиозной мысли и деятельности — вероятно, из-за отсутствия обращения к религии для решения уже упомянутых экзистенциальных вопросов. К тому же большая часть ситуаций современной социальной жизни очевидно несовместима с религией в том, что касается ее влияния на повседневную жизнь. Религиозная космология вытесняется рефлексивно организованным знанием, управляемым эмпирическим наблюдением и логической мыслью и сфокусированным на материальной терминологии и социально используемых кодах. Религия и традиция всегда были тесно связаны и последняя даже в большей степени подрывается через рефлексивность современной социальной жизни.

Точно также трансформируется и досовременная «среда риска». В современных условиях опасности, с которыми мы в первую очередь сталкиваемся, приходят не из мира природы. Разумеется, ураганы, землетрясения и другие природные бедствия по-прежнему происходят. Но по большей части наши отношения с физическим миром радикально отличны от тех, которые имели предыдущие поколения — особенно в индустриаль-

лизированных секторах планеты (но до некоторой степени везде). На первый взгляд, экологические опасности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, могли бы казаться такими же, как природные опасности, с которыми встречались люди в досовременный период. Разница тем не менее очень заметна. Экологические угрозы являются результатом социально организованного знания, опосредованного через воздействие промышленности на материальную среду. Они являются частью того, что я буду называть новым *профилем риска*, привнесенным наступлением современности. Под профилем риска я подразумеваю отдельный набор угроз или опасностей, характерных для современной социальной жизни.

Угроза военного насилия остается частью профиля риска современности. Однако ее характер большей частью изменился в связи с изменением природы управления способами насилия в отношении войны. Сегодня мы живем в глобальном военном порядке, в котором в качестве результата индустриализации войны степень деструктивной силы вооружения распространилась по миру в таком широком масштабе, в каком никогда не существовала прежде. Возможность ядерного конфликта является опасностью, с которой не сталкивалось ни одно из предыдущих поколений. Кроме того, это развитие совпало с процессами внутреннего умиротворения в государствах. Гражданская война стала относительно редким, если даже не неизвестным, феноменом у развитых народов; но в досовременные времена (как раз после первого развития государственных организаций) нечто похожее на гражданскую войну — противостояние военных сил, сопровождавшееся частыми вспышками конфликтов, — было

больше похоже на норму, чем на исключение.

Риск и опасность, переживаемые по отношению к онтологической безопасности, стали секуляризованными наряду с большей частью аспектов социальной жизни. Мир, который по большей части структурирован рисками, созданными человеком, оставляет мало места для божественных влияний или даже магического примирения с космическими силами или духами. Центральным для современности является то, что риски в принципе могут быть определены при помощи обобщенного знания о потенциальных опасностях — это взгляд, в рамках которого понятие *фортуны* сохраняется в основном в качестве маргинальных форм суеверия. Ситуация, где риск известен в качестве риска, воспринимается иначе, чем обстоятельства, в которых превалирует понятие *фортуны*. Чтобы узнать о существовании риска или множества рисков, надо принять не просто возможность, что нечто может пойти не так, но то, что эта возможность не может быть устранена. В общем, феноменология подобной ситуации является частью культурного опыта современности, что более детально показано ниже. Даже там, где сохранение традиционной религии ослабляется, понятие судьбы тем не менее полностью не исчезает. Именно там, где риски наиболее велики — как в терминах осознаваемой возможности, реализация которой нежелательна, так и в терминах разрушительных последствий, которые произойдут, если данное событие пошло неправильно, — *фортуна* имеет тенденцию к возвращению.

IV

АБСТРАКТНЫЕ СИСТЕМЫ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНТИМНОСТИ

Абстрактные системы обеспечили высокую безопасность повседневной жизни, которая отсутствовала при досовременных обществах. Человек может сесть на борт самолета в Лондоне и достигнуть Лос-Анджелеса примерно через десять часов, будучи полностью уверенным не только в том, что путешествие будет безопасным, но и в том, что самолет прибудет близко к назначенному времени. Пассажир, по всей видимости, может обладать лишь смутным представлением о том, где находится Лос-Анджелес на карте мира. Для путешествия нужно сделать лишь минимальные приготовления (действительный паспорт, виза, авиабилет и деньги) — какого-либо знания о фактическом пути не требуется. Большое количество «сопутствующего» знания необходимо, чтобы быть в состоянии сесть на самолет; и это является знанием, которое фильтруется назад от экспертных систем к непрофессиональному дискурсу и действию. Нужно знать, что такое аэропорты, что такое авиабилет и очень много других вещей. Но сама по себе безопасность во время путешествия не зависит от влияния технических средств, которые делают его возможным.

Сравните это с задачей искателя приключений, который предпринимает такое же путешествие не далее как три или четыре столетия назад.

Если бы даже он был «экспертом», то у него могло быть лишь смутное представление о том, куда он направляется, да и само понятие «путешествия» в данном случае представляется малоприменимым. Путешествие было бы полно опасностей, а риск бедствия или смерти — весьма велик. В подобной экспедиции могли бы участвовать только физически крепкие и выносливые люди, обладающие навыками, необходимыми для такого путешествия.

Всякий раз, когда кто-либо берет деньги из банка или кладет их на счет, мимоходом включает свет или водопроводный кран, посылает письмо или звонит по телефону, он или она тем самым признает обширные области надежных, скоординированных действий и событий, которые делают возможной современную общественную жизнь. Разумеется, также могут происходить всевозможные задержки и сбои и развиваться установки скептицизма или антагонизма, ведущие к отсоединению индивидов от одной (или нескольких) из этих систем. Но большую часть времени привычный способ, посредством которого повседневные действия включаются в абстрактные системы, свидетельствует об эффективности, с которой они действуют (внутри контекстов того, что от них ожидается, поскольку они также производят множество непреднамеренных последствий).

Доверие к абстрактным системам является условием дистанциации времени и пространства и широких зон безопасности повседневной жизни, которую, по сравнению с традиционным миром, обеспечивают современные институты. Обыденные практики, интегрированные в абстрактные системы, являются центральными для онтологической безопасности в условиях современности. Однако

эта ситуация порождает также новые формы психологической уязвимости, и доверие к абстрактным системам не является столь же психологически полезным, как доверие к людям. Я сосредоточу здесь внимание на втором пункте, а к первому вернусь позже. Для начала я хочу выдвинуть следующие теоремы: существует прямая (хотя и диалектическая) связь между глобализационными тенденциями современности и тем, что я назову *трансформацией интимности*, в контекстах повседневной жизни; эта трансформация интимности может анализироваться в терминах построения механизмов доверия; и эти личные отношения доверия (в подобных обстоятельствах) являются тесно связанными с ситуацией, в которой конструирование «Я» становится рефлексивным проектом.

ДОВЕРИЕ И ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

На ранней стадии развития человеческого индивида базовое доверие в стабильных условиях самоидентичности и окружающей среды (онтологической безопасности) вовсе не в первую очередь покоится на чувстве преемственности вещей или событий. Скорее, как мы уже заметили, оно выводится из личного доверия и устанавливает необходимость в доверии к другим, которое, несомненно, в той или иной форме остается на протяжении всей жизни. Доверие к людям, как подчеркивает Эрикссон, строится на взаимности реакций и вовлеченности: вера в честность других людей является основой чувства аутентичности и целостности собственного «Я». Доверие к абстрактным системам предусматривает сохранение повседневной уверенности, но в силу своей природы не может

дать взаимности или близости, которые дают межличностные доверительные отношения. В этом отношении традиционные религии явно отличаются от современных абстрактных систем, потому что их персонализированные образы допускают прямую передачу индивидуального доверия со значительными элементами взаимности. Напротив, в случае, абстрактными системами доверие предполагает веру в безличные принципы, которые дают сбои только статистическим образом, когда они не приносят тех результатов, на которые рассчитывает индивид. Это одна из главных причин, по которой индивиды в точках доступа обычно прилагают большие усилия, чтобы доказать самим себе, что им можно доверять: они обеспечивают связь между личным и системным доверием.

Авторитетные социологические подходы к тому, что я называю трансформацией интимности, обычно противопоставляют общинный характер традиционных порядков безличности современной социальной жизни. Классическим источником этого концептуального различия является противопоставление *Gemeinschaft* и *Gesellschaft* в работах Фердинанда Тённиса; другие авторы, вне зависимости от того, используют они данную терминологию или нет, проводят схожее противопоставление. Мы можем выделить три главных способа, в рамках которых это различие становится более конкретным; каждый из них ориентировочно связан с разными политическими позициями. Один взгляд определенно ассоциируется с политическим консерватизмом, изображающим развитие современности как разрушение старых форм «сообщества», причиняющего вред личным отношениям внутри современных обществ. Эта точка зрения была заметной в конце XIX столе-

тия и она до сих пор находит защитников. Так, Питер Бергер, заимствовавший это понятие у Арнольда Гелена, доказывает, что личная сфера стала «деинституционализированной» в результате доминирования крупных бюрократических организаций и общего влияния «массового общества». Сфера публичной жизни, с другой стороны, стала «чрезмерно институционализированной». Результатом является то, что личная жизнь истощается и лишается твердых ориентиров: имеет место внутренний поворот к человеческой субъективности, при котором смысл и стабильность ищутся во внутреннем «Я»^{lxiv}.

В известном смысле сходные идеи выдвигались авторами, стоящими на другой стороне политического спектра и порой находившимися под непосредственным влиянием марксизма. В то время как их язык меньше говорит о «массовом обществе» и больше о капитализме и товарных отношениях, их общий тезис не слишком отличается от того, который выдвигает первая группа авторов. Современные институты рассматриваются здесь как захватившие обширные области социальной жизни и лишившие их осмысленного содержания, которое они некогда имели. Частная сфера становится слабой и аморфной, несмотря на то, что она связана с удовлетворением многих первичных жизненных потребностей, поскольку мир «инструментального разума» внутренне ограничен в том, что касается ценностей, которые он может воплотить. Анализ Юргена Хабермаса, указывающий на отделение технических систем от жизненного мира, является примером такой позиции^{lxv}, равно как и взгляд, выдвинутый Максом Хоркхаймером на поколение раньше. Говоря о дружбе и близости, Хоркхаймер утверждает, что в условиях организованного капитализма

«личная инициатива всегда играет меньшую роль по сравнению с планами тех, кто находится у власти»; личные встречи с другими «остаются в лучшем случае хобби, пустой тратой свободного времени»^{lxvi}.

Идея упадка сообщества эффективно критиковалась в свете эмпирических исследований городских сообществ; многое из того, что показали эти исследования, может быть использовано для критики этих двух позиций. Так, критикуя тезис об анонимном характере городской жизни, выдвинутый Луисом Виртом, Клод Фишер доказывает, что современные города обеспечивают средства порождения новых форм общественной жизни, по большей части недоступные в досовременных обществах^{lxvii}. Согласно сторонникам этого третьего взгляда, общественная жизнь или умудряется выживать в современных условиях или же активно возрождается.

Одна из главных сложностей в этой полемике связана с терминами, при помощи которых она ведется. «Общинный» (communal) противопоставляется «общественному» (societal), «безличное» — «личному», а «государство», — правда, в рамках несколько иной перспективы, — «гражданскому обществу», как если бы они все были явлениями одного ряда. Однако понятие сообщества, применяется оно к досовременным или же к современным культурам, содержит несколько групп элементов, которые следует отличать друг от друга. Это общинные отношения сами по себе (которые я рассматривал ранее по отношению к месту); родственные связи; отношения личной близости между равными (дружба); отношения сексуальной близости. Если мы разберемся с этим, то сможем развить точку зрения, отличную от любой из обозначенных ранее.

В смысле усвоенной (emdedded) близости к месту «община», без сомнений, была в значительной степени разрушена, хотя некоторые могут спорить о том, до какой степени дошел этот процесс в специфических контекстах. Как замечает Роберт Сэк: «Чтобы быть деятелем, надо быть где-то. Это фундаментальный объединяющий смысл места разделился на сложные, противоречивые и дезориентированные части. Пространство становится гораздо более объединенным и, несмотря на это, территориально расколотым. Места являются особыми или уникальными и тем не менее во многих смыслах они являются общими и похожими. Места кажутся “потусторонними” и тем не менее они сконструированы человеком... Наше общество запасается информацией о местах и тем не менее мы обладаем слабым ощущением места. И ландшафты, которые появились в результате современных процессов, кажутся скомпилированными, дезориентирующими, не аутентичными и накладывающимися друг на друга»^{lxviii}.

Соответствующие выводы, по вышеуказанным причинам, следует сделать и относительно системы родства. Показ того, что родственные связи в некоторых контекстах остаются сильными в рамках современных обществ, едва ли означает, что родство играет ту роль, которую оно когда-то играло для большинства в структурировании повседневной жизни.

Но как эти изменения повлияли на отношения личной и сексуальной близости? Они не являются простыми расширениями системы родства или сообщества. Дружба нечасто изучалась социологами, но она дает важный ориентир для целого ряда факторов, влияющих на личную жизнь^{lxix}. Мы должны понять характер дружбы в досовременных

контекстах именно в связи с локальной общиной и родством. Доверию к друзьям (противоположным термином в контекстах подобных этому является понятие «враги») обычно придавалась наибольшая важность. В традиционных культурах, отчасти включая некоторые районы крупных городов в аграрных государствах, было очень четкое разделение между своими и чужими или незнакомцами. Широких областей невраждебных взаимодействий с неизвестными другими, характерных для современной социальной деятельности, не существовало. В этих обстоятельствах дружба обычно была институционализована и рассматривалась как способ создания более или менее надежных союзов с другими против потенциально враждебных групп чужаков.

Институционализованная дружба главным образом была формой товарищества, наподобие братства крови или товарищества по оружию. Вне зависимости от того, была она институционализована или нет, дружба по самому своему характеру была основана на ценностях искренности и уважения. Несомненно, что товарищества, поддерживавшие эмоциональную теплоту и исключительную личную лояльность, существовали во всех культурах. Но в досовременном мире дружба всегда состояла на службе у рискованных предприятий, для которых община или родственные связи не могли обеспечить достаточное количество необходимых ресурсов. Речь в этих случаях могла идти об укреплении экономических связей, мести, участии в войнах и многих других формах деятельности. Очевидно, что в тех условиях, где разделительная линия между другом и врагом в общем и целом проходила четко и определенно, честность должна была высоко цениться в качестве добродетели.

В сущности, кодексом чести были публичные гарантии честности, даже там, где «блага», которые были призваны даровать отношения дружбы, ложились на нее тяжелым бременем.

Обширное расширение абстрактных систем (включая товаризованные рынки), в соединении с современностью, трансформирует природу дружбы. Дружба обычно является формой повторного усвоения, но она напрямую не включена в сами абстрактные системы, которые явно преодолевают зависимость от личных связей. Другу теперь противопоставляется не враг и даже не незнакомец; скорее это «знакомый», «коллега» или «тот, кого я не знаю». В дополнение к этому переходу уважение заменяется верностью, которая не имеет иной опоры, помимо личной привязанности, а искренность заменяется тем, что мы называем аутентичностью, т. е. требованием, чтобы другой был открыт и действовал из благих намерений. Друг — это не тот, кто всегда говорит правду, а тот, кто защищает эмоциональное благосостояние другого. «Хороший друг» (тот, чье милосердие приходит даже в трудные времена) является сегодня заменой «честному товарищу».

Теперь мы можем напрямую соотнести этот анализ с обсуждением проблемы доверия. При досовременных порядках базовое доверие закрепляется в личных доверительных отношениях в общине, родственных связях и дружбе. Хотя любые из этих социальных связей могут включать эмоциональную близость, она не является условием поддержания личного доверия. Институционализированные личные связи и неформальные (или неформализованные) коды честности и уважения обеспечивают (потенциально, но ни в коем случае не актуально) структуры

доверия. В противовес этому, доверие к другим на личном уровне является главным средством, при помощи которого устанавливаются социальные отношения удаленного типа (которые выходят на границы «вражеских территорий»).

ДОВЕРИЕ И ТОЖДЕСТВО ЛИЧНОСТИ

С развитием абстрактных систем доверие к безличным принципам в той же мере, что и к анонимным другим, становится обязательным для социального существования. Безличное доверие этого вида отличается от базового доверия. Существует сильная психологическая потребность в том, чтобы найти тех, кому можно доверять, но, в сравнении с досовременными социальными ситуациями, отсутствуют институционально организованные личные связи. Проблема здесь заключается не в том, что многие социальные характеристики, которые прежде были частью повседневной жизни или «жизненного мира», начинают переключаться и инкорпорироваться в абстрактные системы. Скорее, материя и форма повседневной жизни приобрели новый вид в связи с более масштабными социальными изменениями. Обыденные практики, которые структурированы абстрактными системами, имеют бессодержательный, не моральный характер, что находит свое выражение в идее, что безличное все больше засасывает личное. Однако речь здесь идет не просто об измельчании личной жизни, замещаемой безлично организованными системами; речь идет о подлинной трансформации природы личного самого по себе. Личные отношения, чья главная цель — это социабельность, образованная лояльностью и аутентичностью, ста-

новятся частью социальных состояний современности как всеохватывающие институты дистанциации времени и пространства.

Тем не менее было бы совершенно неверно противопоставлять безличность абстрактных систем и близкие отношения личной жизни, как это принято в большинстве существующих социологических подходов. Личная жизнь и социальные связи, которые она включает, в далеко идущей перспективе глубоко переплетены с большей частью абстрактных систем. Например, долгое время имела место ситуация, когда западные диеты отражали глобальные экономические перемены: «каждая чашка кофе содержит в себе всю историю Западного империализма». С ускоряющейся глобализацией примерно последних пятидесяти лет связи между личной жизнью наиболее интимного типа и механизмами высвобождения стали более интенсивными. Как заметил Ульрих Бек: «Наиболее интимное — скажем, кормление ребенка, — и наиболее далекое, наиболее общее — скажем, авария реактора на электростанции в Украине, — теперь являются неожиданно связанными напрямую»^{1xx}.

Что это значит в терминах личного доверия? Ответ на этот вопрос является фундаментальным для трансформации интимности в XX веке. Доверие к людям не фокусируется через персонализированные связи внутри локальной общины и родственные связи. Доверие на личном уровне становится проектом, над которым «работают» его участники и который требует, чтобы *один индивид раскрылся перед другим*. Там, где это взаимодействие не может контролироваться фиксированными нормативными кодами, доверие должно быть *завоевано* (способами чего являются демонстративная сердечность и открытость). Наше

специфическое участие в «отношениях» в смысле, в котором это слово здесь берется, выражает данный феномен. Отношения являются связями, основанными на доверии, где доверие не предзадано, но вырабатывается, и где связанная с этим работа означает *взаимный процесс самораскрытия*.

Учитывая силу эмоций, связанную с сексуальностью, едва ли является сюрпризом то, что эротическое вовлечение становится фокусируемой точкой для самораскрытия. Переход к современным формам эротических отношений обычно понимается как связанный с формированием этоса романтической любви; или как то, что Лоуренс Стоун называет «аффективным индивидуализмом». Идеал романтической любви удачно описан Стоуном следующим образом: «Представление, что в мире есть всего одна личность, с которой некто может соединиться на всех уровнях; персональные особенности этой личности настолько идеализированы, что обычные недостатки и причуды человеческой природы исчезают из вида; любовь похожа на удар молнии и сражает с первого взгляда; любовь это самая важная вещь в мире, по отношению к которой все другие соображения, в частности материальные, должны быть принесены в жертву; и наконец, полное вверение себя во власть личных эмоций является восхитительным независимо от того, насколько преувеличенным и абсурдным может показаться другим результат поведения»^{1xxi}.

Охарактеризованная подобным образом, романтическая любовь включает набор ценностей, едва ли реализуемых в своей полноте. Скорее это представляется не этосом (преемственным образом связанным с появлением современных институтов), а, по сути, переходным феноменом, близко связан-

ным с относительно ранней фазой в распаде более старых форм упорядоченного брака. Аспекты «системы романтической любви», как их описал Стоун, доказали действительную долговечность, но они стали все больше сплетаться с динамикой личного доверия, описанного выше. Эротические отношения включают последовательный путь взаимного раскрытия, в котором процесс самореализации со стороны любовника настолько же является частью опыта, насколько и возрастающая близость с любимым. Личное доверие, таким образом, должно быть установлено через процесс самовопрошания: раскрытие себя становится проектом, напрямую вовлеченным в рефлексивность современности.

Интерпретации поиска самоидентичности во многом имеют тенденцию принимать разнообразные формы точно также, как и взгляды на закат сообщества, с которыми они обычно связаны. Некоторые считают увлечение саморазвитием побочным следствием того факта, что старые порядки сообщества разрушились, производя нарциссическую и гедонистическую озабоченность эго. Другие приходят к во многом схожему заключению, но считают этот конечный результат следствием различных форм социальной манипуляции. Исключение большинства из областей, где вырабатывается наиболее важная часть политического курса и принимаются решения, заставляет людей «уходить в себя»; это результат бессилия, которое чувствует большинство людей. По словам Кристофера Лэша: «Так как мир принимает все более и более зловецкий внешний вид, жизнь становится нескончаемым поиском здоровья и благополучия посредством физических упражнений, диет, лекарств, различных форм духовных практик, психической самопомощи и психиатрии. Для

тех, кто заинтересован в уходе в себя от внешнего мира, за исключением того, что последний остается источником удовольствий и разочарований, поддержание их собственного здоровья становится всепоглощающей задачей»^{lxxii}.

Является ли поиск самоидентичности формой некоего жалкого нарциссизма или он представляет собой (отчасти, по крайней мере) разрушительную силу в отношении современных институтов? Большинство обсуждений этой проблемы сконцентрировано на данном вопросе, и я еще вернусь к нему в конце исследования. Но на данный момент мы должны увидеть, что в утверждении Лэша есть нечто ошибочное. «Поиски здоровья и благополучия» кажутся с трудом совместимыми с «уходом в себя от внешнего мира». Польза от упражнений или диеты не является личным открытием, но приходит из непрофессионального усвоения экспертного знания, которое апеллирует к терапии или психиатрии. Рассматриваемые духовные практики могут представлять собой эклектическое соединение, содержащее тем не менее религии и культы внешнего мира. Внешний мир не просто входит сюда; этот внешний мир намного более экстенсивный, по своему характеру, чем тот, с которым кто-либо мог бы иметь контакт в досовременную эпоху.

Если суммировать все это, трансформация интимности включает следующее:

1. Внутреннее отношение между *глобализационными тенденциями* современности и *локализованными событиями* в повседневной жизни — сложную диалектическую связь между «экстенциональным» и «интенциональным».

2. Конструирование «Я» в качестве *рефлексивного проекта* является составной частью рефлексивности современности. Это означает, что индивид должен найти свою (его или ее) идентичность среди стратегий и вариантов выбора, предлагаемых абстрактными системами.
3. Погоню за самоактуализацией, основанной на базовом доверии, которая в персонализированных контекстах может быть установлена лишь через «раскрытие» себя перед другим.
4. Формирование личных и эротических связей как «отношений», управляемых взаимным самораскрытием.
5. *Забота о самоудовлетворении*, которое является не просто нарциссической защитой от угрожающего внешнего мира, над которым у индивида мало власти, но также, отчасти, *позитивным присвоением* обстоятельств, в которых глобализованные влияния посягают на повседневную жизнь.

РИСК И ОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Как мы должны предпринять анализ «опасных явлений» современного мира, о которых говорит Лэш? Для этого надо бросить детально рассмотреть специфические профили рисков современности, которые могут быть обозначены следующим образом:

1. *Глобализация риска* в смысле *интенсивности*: например, ядерная война может угрожать выживанию человечества.

2. *Глобализация риска* в смысле растущего количества случайных событий, которые влияют на каждого или, по крайней мере, на большие количества людей на планете: например, изменения в глобальном разделении труда.
3. Риск, исходящий от *созданной окружающей среды, или социализированной природы*: проникновение человеческого знания в материальную среду.
4. Развитие *сред институционализированных рисков*, влияющих на жизненные шансы миллионов, например, рынков инвестиций.
5. *Осведомленность о риске, как риске*: «пробелы в знании» рисков не могут быть преобразованы в «определенности» при помощи религиозного или магического знания.
6. *В достаточной степени распространенная осведомленность о рисках*: многие из опасностей, с которыми мы коллективно сталкиваемся, являются известными широкой публике.
7. *Осведомленность об ограниченности экспертизы*: ни одна экспертная система не может быть полностью таковой в терминах последствий принятия экспертных принципов.

Несмотря на то, что механизмы высвобождения обеспечили в сегодняшнем мире обширные области безопасности, новая совокупность рисков, которая обрела существование в связи с этим, является по-настоящему грозной. Главные формы, перечисленные мной, могут быть разделены на те, которые меняют объективное распределение рисков (первые четыре перечисленных пункта), и те, которые

меняют опыт риска или восприятие ощущаемых рисков (оставшиеся три пункта).

То, что я определил, как интенсивность рисков, разумеется, есть базовый элемент «опасного явления» обстоятельств, в которых мы сегодня живем. Возможность ядерной войны, экологической катастрофы, неконтролируемого взрыва рождаемости, спада глобального экономического товарообмена и других потенциальных катастроф создает для каждого из нас диапазон опасностей, лишаящих присутствия духа. Как заметил Бек, глобализационные риски такого рода не учитывают различий между богатыми и бедными или между регионами мира. Тот факт, что «Чернобыль повсюду», влечет то, что он называет «концом “других”» — границ между теми, кто привилегирован и кто нет. Глобальная интенсивность рисков определенного рода преодолевает все социальные и экономические различия^{lxxiii}. (Разумеется, это не должно скрывать от нас тот факт, что в условиях современности, как и в досовременном мире, многие риски по-разному распределены между привилегированными и непривилегированными. Разница в риске (например, в отношении уровня питания и подверженности болезням) является в значительной мере тем, что в действительности подразумевается под «привилегированным» и «непривилегированным».

Очевидно, что ядерная война потенциально представляет собой наиболее близкую и губительную из всех глобальных опасностей. С начала 1980-х годов стало понятно, что климатические и природные последствия даже ограниченного ядерного столкновения будут очень долговременными. Детонация малого количества боеголовок может нанести природе непоправимый вред, кото-

рый бы стал угрожать жизни всех сложных животных видов. Пороговая величина для наступления ядерной зимы была вычислена на уровне между 500 и 2000 боеголовками — менее десяти процентов всего количества, имеющегося у ядерных держав. Это даже меньше того количества, которым они обладали на протяжении 1950-х годов^{lxxiv}. Это обстоятельство полностью оправдывает утверждение, что в данном контексте больше не существует «других»: воюющие стороны и те, кто не участвуют, — пострадают все.

Вторая категория глобализационных рисков скорее затрагивает всемирное расширение сред рисков, чем интенсификацию риска. Все механизмы высвобождения принимают эстафету из рук индивидов или групп; и чем больше эти механизмы расширяются до глобальных рамок, тем больше данная тенденция усиливается. Несмотря на высокие уровни безопасности, которые могут обеспечить глобализационные механизмы, обратной стороной монеты будет появление новых рисков. Ресурсы или услуги больше не находятся под локальным контролем и, таким образом, не могут быть локально перераспределены, чтобы противостоять непредвиденным обстоятельствам; и есть риск, что механизм как целое может споткнуться, тем самым повлияв на всех, кто обычно использует его. Таким образом, тот, кто использует центральное отопление на жидком топливе и не имеет камина, является чрезвычайно уязвимым в отношении цен на нефть. Например, «нефтяной кризис» 1973 года, вызванный действиями картеля ОПЕК, повлиял на всех потребителей нефтепродуктов.

Первые две категории в профиле риска затрагивают рамки риска окружающей среды; следу-

ющие две связаны с изменением в типе сред риска. Категория искусственной окружающей среды, или «обобществленной природы»^{lxxv} отсылает к изменившемуся характеру отношения между человеческими существами и физической окружающей средой. Многообразие экологических опасностей в данной категории выведено из изменения природы системами человеческого знания. Исключительное число серьезных рисков по отношению к обобществленной природе обескураживает: радиация от крупных аварий на атомных электростанциях или от ядерных отходов; химическое загрязнение морей, достаточное для уничтожения фитопланктона, который возобновляет большое количества кислорода в атмосфере; «парниковый эффект», вызываемый загрязнением атмосферы, разрушающим озоновый слой, приводит к таянию ледяных шапок и затоплению больших территорий; уничтожение больших зон тропических лесов, которые являются основными источниками обновления кислорода; истощение миллионов акров верхних слоев почвы как результат широко распространенного использования искусственных удобрений.

Можно было бы упомянуть и другие существенные опасности. К слову, мы должны отметить два момента в этом перечне и отдельно сказать о риске ядерной войны. Один из них состоит в чувстве оцепенения, даже скуки, которую данный перечень, похоже, вызывает у читателя, — феномене, который относится к шестому пункту профиля рисков, т. е. к тому факту, что осведомленность о многих типичных видах риска сейчас широко распространена среди населения в целом. Даже упоминание этой скуки стало в некотором роде общим местом: «Перечисляя опасности,

мы сталкиваемся с тем, что это само по себе дает усыпляющий эффект. Они становятся литанией, которую слушает только половина, так как она кажется столь привычной. Нас постоянно засыпают этими проблемами, так что они становятся в своей неразрешимости частью общего пейзажа»^{lxxvi}. Второй пункт заключается в том, что фактически все упомянутые риски (включая риск ядерной войны в качестве такового), являются сомнительными в показателях любых оценок, которые могут быть сделаны из строгих вероятностей. Мы никогда не можем быть уверены, что сдерживание «работает», не доводя до действительного начала ядерной войны, — что показывает, что оно не работает; гипотеза ядерной зимы так и будет оставаться гипотезой в связи с тем, что ее действительное воплощение делает все подобные размышления неуместными. Я вернусь к этим наблюдениям позже, так как и то и другое важно в отношении опыта и восприятия риска.

Внутри различных сфер современных институтов риски не просто существуют как опасности, являющиеся результатом несовершенных механизмов высвобождения, но и как «закрытые», институционализированные области действия. В данных сферах, как мы упоминали ранее, риски фактически созданы нормативно санкционированными формами деятельности — как в случае азартных игр или спорта. Инвестиционные рынки, без сомнения, представляют в данном случае наиболее заметный пример в современной социальной жизни. Все коммерческие компании, кроме некоторых типов национализированных отраслей промышленности, и все инвесторы действуют в среде, в которой каждый должен перехитрить других ради максимизации экономи-

ческой прибыли. Неопределенности, включенные в инвестиционные решения, выводятся в некоторой части из сложностей от ожидаемых внешних событий, подобных технологическим нововведениям, но также являются частью природы самих рынков. В качестве подхода к социальному анализу теория игр, вероятно, работает лучше всего, когда применена к таким ситуациям, в которых деятели пытаются перехитрить других, зная в то же время, что эти другие стремятся перехитрить их.

Однако существуют и иные обстоятельства, к которым применима эта ситуация, например, в некоторых аспектах процедур голосования; особенно это заметно в гонке вооружений между двумя сверхдержавами. Если они исключают реальный риск самой войны, который с этой точки зрения является внешним, то гонка вооружений основана на взаимном мошенничестве каждого участника, отчасти основывающего свои стратегии на оценке похожей стратегии другого. Как и в случае гонки вооружений, среда институционализированного риска рынков не может быть сохранена в качестве ограниченной собственной «характерной сферой». Не только внешние риски принуждают их, но и последствия решений внутри институциональной структуры постоянно воздействует на тех, кто снаружи. Хотя я не буду обсуждать это в данном контексте, для экономического процветания многих миллионов людей имеет большое значение, в какой степени согласованность инвестиционных решений представляет собой форму коллективной рациональности, а в какой — инвестиционные рынки являются не более чем лотереями, управляемыми кейнсианскими «животными духами».

В терминах опыта риска могло быть сказано гораздо больше, чем я имею возможность проанализировать здесь. Три аспекта осведомленности о риске которые указаны выше в профиле риска тем не менее напрямую релевантны аргументам, развитым в этом исследовании до сих пор и в последующих разделах. Тот факт, что риски (включаящие в этом отношении много других форм деятельности) в целом воспринимаются обычным населением в *качестве* рисков, является главным аспектом различия между досовременным и современным мирами. Инициативы с высокой степенью риска, предпринимаемые в традиционных культурах, могут иногда появляться в секулярной области, но их осуществление более типично под эгидой религии или магии. В какой степени индивиды могут быть готовы инвестировать доверие в отдельные религиозные или магические установки в специфических областях риска, несомненно, различалось довольно широко. Но религия и магия очень часто обеспечивали способ изоляции от неопределенностей, сопряженных с рискованными предприятиями, подобным образом преобразуя опыт риска в чувство относительной безопасности. Там, где риск известен *как* риск, такой способ создания уверенности в случае опасных действий недоступен по определению. В преимущественно секулярном окружении существует множество различных путей, которыми пытаются преобразовать риск в провиденциальную *форту*ну, но они скорее остаются жалкими суевериями, чем дают действительно эффективную психологическую поддержку. Люди в делах, связанных с риском для жизни (такие как верхолазы), или в делах, где

результаты структурно не определены (вроде спортсменов), зачастую прибегают к талисманам или суеверным ритуалам, чтобы «повлиять» на результаты того, что они делают. Но они вполне могут быть высмеяны другими, если совершают эти практики на публике.

В профиле риска мы можем рассмотреть два последних пункта вместе. Широко распространенное непрофессиональное знание о среде современных рисков ведет к осведомленности о пределах экспертизы и формирует одну проблему «публичных отношений», с которой должны столкнуться те, кто пытается поддерживать доверие простых людей к экспертным системам. Вера, которая поддерживает доверие к экспертным системам, включает блокировку незнания обычного человека в случае встречи с утверждениями экспертизы; но осознание областей незнания, с которыми сталкиваются сами эксперты в качестве индивидуальных деятелей и применительно ко всеобщим областям знания, может ослабевать или подрывать эту веру со стороны обычных людей. Эксперты обычно берут на себя риски «от лица» обычных людей, в то же время умалчивая или фабрикуя истинную природу этих рисков или даже тот факт, что риски вообще существуют. Более разрушительной, чем открытие этого рода умолчания непрофессионалом, является ситуация, в которой вся степень конкретного множества опасностей (и рисков, с ними связанных) не осознается экспертами. Ведь в данном случае речь идет не только о пределах экспертного знания или пробелах в нем, но и о неадекватности, которая компрометирует саму идею экспертизы^{lxxvii}.

РИСК И ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Каким образом эта совокупность рисков затрагивает доверие простых людей к экспертным системам и их чувство онтологической безопасности? Отправная точка анализа должна учитывать *неизбежность* жизни с опасностями, которые недоступны контролю не только индивидов, но также больших организаций, включая государства, и которые являются *высоко интенсивными и угрожающими жизни* миллионов людей (а потенциально — и всему человечеству). Тот факт, что это не риски, от которых все *предпочитают* бежать, и что, в терминах Бека, нет «других», которые могли бы быть ответственными, оспоренными или осужденными, усиливает ощущение дурного предчувствия, которое столь многие отметили как характерное для нашей эпохи^{lxxviii}. Разве не удивительно, что некоторые из тех, кто придерживается религиозных верований, склоняются к тому, чтобы видеть в возможности глобальной катастрофы выражение гнева Божьего. Ведь чреватые последствиями глобальные риски, с которыми сегодня нам всем приходится сталкиваться, являются ключевыми элементами вышедшего из-под контроля, все сокрушающего на своем пути характера современности, и отдельным индивидам и даже группам индивидов не по силам с ними справиться, равно как и взять на себя ответственность за них.

Как мы можем постоянно удерживать на авансцене наших умов опасности, которые чрезвычайно грозны и столь же далеки от индивидуального контроля? Ответ заключается в том, что многие из нас этого не могут. Люди, которые целыми днями беспокоятся о возможности ядер-

ной войны, как мы отметили ранее, подвержены умственным расстройствам. Несмотря на то, что было бы сложно считать иррациональным кого-то, кто постоянно и сознательно имеет озабоченность такого рода, этот взгляд парализует повседневную жизнь. Даже человека, который поднимает эту тему на общественном собрании, склонны считать истеричным или бестактным. В романе Керолайн Си «Золотые дни», который заканчивается после событий ядерной войны, главный герой на званом обеде рассказывает другому гостю о своем страхе ядерного уничтожения: «Ее глаза широко открылись. Она смотрела на меня с пристальным вниманием. “Да, — сказала она, — я понимаю, о чем ты говоришь. Я усвоила это. Но, не правда ли, твой страх ядерной войны является метафорой для всех тех *других* страхов, что мучают нас сегодня?”

Я никогда не был особенно сообразительным. Но иногда я соображаю быстро. “Нет”, сказал я. Я мог крикнуть это на всю прекрасную, безопасную комнату. “Я думаю, что все те другие страхи, о которых мы говорили, являются метафорой моего страха ядерной войны!”

Она глядела на меня с недоверием, но избежала сложного ответа, когда нас позвали на очень приятный поздний ужин.

Недоверчивость гостыи на званом обеде не имеет ничего общего с высказанным аргументом; он фиксирует недоверие к тому, что кто-либо в этих условиях должен испытывать эмоции в отношении подобных проблем»^{lxxix}.

Большинство людей не тратит много времени, — по крайней мере, сознательно, — на беспокойство о ядерной войне или о других значительных опасностях, для которых она может быть,

а может и не быть, метафорой. Причиной этого является необходимость добиваться успеха в более локальных практиках повседневной жизни, но еще бо́льшую роль играет психология. В секулярной среде низкая вероятность высоких рисков стремится к возрождению ощущения *фортуны*, которое ближе к досовременным взглядам, чем к культивируемым меньшинством предрассудкам. Чувство «судьбы», обладает ли оно позитивным или негативным оттенком — неясное и обобщенное чувство доверия к далеким событиям, которыми мы не можем управлять, — помогает индивиду при встрече с бременем экзистенциальной ситуации, которая в противном случае стала бы источником постоянного беспокойства. Судьба как ощущение, что вещи в любом случае пойдут своим чередом, таким образом, снова появляется в самом центре мира, который, как принято считать, осуществляет рациональный контроль над собственными делами. Более того, это имеет свою цену на уровне бессознательного, поскольку в основе своей предполагает подавление тревоги. Чувство ужаса, которое противопоставляется базовому доверию, также привносит бессознательные переживания о неопределенностях, с которыми сталкивается человечество как целое^{lxxx}.

Низкая вероятность высокосignификантных рисков не исчезнет в современном мире, хотя при оптимальном сценарии может быть минимизирована. Таким образом, даже если бы имела место ситуация, при которой все существующие ядерные заряды исчезли, никакого другого сравнимого по разрушительной силе оружия не изобрели, а на горизонте не виднелось бы никаких сравнимых катаклизмов социализированной природы, профиль глобальной опасности все еще существовал

бы. Если бы было признано, что ликвидация признанного технического знания недостижима, то ядерное оружие могло бы быть заново создано в любой момент. Более того, любая важная технологическая инициатива могла бы основательно нарушать координацию глобальных явлений. Эффект колесницы свойственен современности по причинам, которые я подробно изложу в следующем разделе данной работы.

Глубоко контрфактический характер наиболее значительных рисков напрямую связан с нечувствительностью к тому, что их перечисление способствует их поддержанию. В Средние века ад и осуждение на вечные муки, как итог судьбы неверующего, в загробной жизни были «реальным». Однако в случае наиболее губительных опасностей, с которыми мы сегодня сталкиваемся, ситуация является иной. Наибольшая опасность измеряется не в терминах вероятности ее осуществления, а в понятиях ее обобщенной угрозы для человеческой жизни, сколь бы контрфактической она ни была. Вовлеченные риски необходимо «нереальны», потому что мы могли бы иметь возможность наблюдать их, лишь если бы произошли события, слишком чудовищные для того, чтобы их созерцать. Относительно ограниченные события, подобные ядерным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, равно как и авариям на атомных электростанциях на Три-Майл-Айленд или в Чернобыле, дают нам некоторое понимание того, что могло бы случиться. Но они никоим образом не имеют отношения к необходимому контрфактическому характеру других, более разрушительных событий — главной основы их «нереальности» и успокаивающих эффектов, производимых повторением перечня рисков. Как

замечает Сьюзан Зонтаг: «Неизменный сценарий современности: апокалипсис подкрадывается — и не происходит. И он по-прежнему виднеется на горизонте... Сегодня апокалипсис является долго длящимся сериалом: не “Апокалипсис сегодня”, но “Апокалипсис в будущем”»^{lxxxix}.

АДАПТИВНЫЕ РЕАКЦИИ

Вовсе не очевидно, что существуют значительные различия между обычными людьми и экспертами в плане адаптивных реакций, касающихся профиля риска современности. По уже установленным причинам, наиболее беспокоящие контрфактические суждения не могут быть проверены эмпирически, и эксперты в тех конкретных областях, о которых идет речь, часто могут разделять позицию в их отношении с менее информированными индивидами. Представляется, что есть четыре вида возможных адаптивных реакций.

Первая может быть названа *прагматическим принятием*; она является взглядом, описанным Лэшем. Она, как он указывает, предполагает сосредоточение на «выживании». Речь здесь идет не столько об уходе от внешнего мира, сколько о прагматическом участии, которое сохраняет в фокусе ежедневные проблемы и задачи. Раймонд Уильямс говорит о подобной ориентации как о «Плане Х», «новой политике стратегического преимущества», то есть о вере в то, что многое из происходящего в современном мире находится вне чьего-либо контроля, поэтому временные выгоды являются в нем тем единственным, что может быть спланировано или на что можно надеяться. По мнению Уильямса, это касается не только ус-

тановок простых людей, но и большинства областей стратегического действия, вроде гонки вооружений^{lxxxii}.

По причинам, упомянутым выше, прагматическое принятие не обходится без психологических издержек. Оно предполагает нечувствительность к частым глубоким приоритетным тревогам, которые часто проявляются на сознательном уровне. В исследовании Дороти Роув о том, как осведомленность о возможности ядерной войны оказывает влияние на повседневную жизнь, обычная реакция такова: «Единственный честный ответ, который я могу дать вам относительно того, как я способен жить с подобными возможностями, заключается в том, что я не думаю об этом, потому что это пугает. Разумеется, это получается не всегда и часто у меня появляются ужасающие образы того, на что была бы похожа ситуация, если бы этим оружием воспользовались»^{lxxxiii}. Прагматическое принятие совместимо как с лежащим в основе его эмоционального тона пессимизмом, так и с поддержанием надежды, которые могут сосуществовать с ним амбивалентно.

Вторая адаптивная реакция может быть названа *поддерживающим оптимизмом*, который, по своей сути, символизирует непоколебимость установок эпохи Просвещения, а именно — сохраняющуюся, несмотря на любые опасности, угрожающие в данный момент, веру в провиденциальный разум. Например, это взгляд тех экспертов, которые придерживаются мнения, что ядерное сдерживание работало до сегодняшнего дня и будет продолжать работать до неопределенного будущего; или тех, кто критиковал экологические сценарии «судного дня», придерживаясь взгляда, что для большинства глобальных

проблем могут быть найдены социальные и технологические решения^{lxxxiv}. У обычных людей эта перспектива продолжает вызывать большой отклик и эмоциональную привлекательность; в данной ситуации она основана на убеждении, что освобожденная рациональная мысль и, в частности, наука предлагают источники долговременной защиты, которые не могут предложить никакие другие стратегии. Тем не менее определенные типы религиозных идеалов также охотно обнаруживают избирательное сродство с поддерживающим оптимизмом.

Противоположный набор установок представляет собой *циничный пессимизм*. В отличие от прагматического принятия он допускает непосредственную включенность в заботы, вызванные высокосерьезными опасностями. Цинизм не есть безразличие. Не несет он с собой с необходимостью и ощущения трагедии, несмотря на свою плохую совместимость с грубым оптимизмом. Цинизм — это способ смягчения эмоционального удара тревог, как через юмористический ответ на него, так и через утрату вкуса к жизни. Он пародирует сам себя, как в фильме «Доктор Стрейнджлав» и многих формах «черного юмора»; но одновременно он анахронически превозносит сиюминутные удовольствия и воротит нос от ориентированных на будущее перспектив современности. В некоторых из этих обликов цинизм отделим от пессимизма и может сосуществовать с видом безрассудного оптимизма. Пессимизм, в принципе, также отделим от цинизма, если определяется как убеждение, согласно которому, что бы ни происходило, дела станут еще хуже^{lxxxv}. Однако, в отличие от взаимосвязанных идеалов оптимизма и Просвещения, пессимизму сложно придать содержание неза-

висимо от ностальгии по образу жизни, который исчезает, или от негативной установки перед тем, что грядет. Пессимизм не является формулой для действия и в экстремальной форме ведет только к парализующей депрессии. Однако, будучи соединенным с цинизмом, он влечет за собой практические последствия. Цинизм смягчает пессимизм, ввиду его эмоционально нейтрализующей природы и потенциала к юмору.

Наконец, мы можем выделить то, что я буду называть *радикальной вовлеченностью*, под которой я подразумеваю установку на практическую дискуссию в отношении воспринимаемых источников опасности. Те, кто придерживается этой установки, полагают, что даже если мы сталкиваемся с острыми проблемами, мы можем и должны прилагать усилия как для их нейтрализации, так и для их преодоления. Это оптимистический взгляд, однако он с противодействием, чем с верой в рациональный анализ и дискуссию. Его главным проводником является социальная динамика.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

В социологической литературе господствовало две картины современного мира, однако обе они представляются не вполне адекватными. Первая принадлежит Веберу и согласно ей оковы рациональности становятся все прочнее и прочнее, заключая нас в безликую клетку бюрократической рутины. Среди трех важнейших основателей современной социологии* именно Вебер наиболее

* Имеются в виду Маркс, Дюркгейм и Вебер. — *Прим. ред.*

ясно видел значение экспертизы в современном социальном развитии и использовал это для феноменологического изображения современности. Ежедневный опыт, согласно Веберу, сохраняет свою яркость и спонтанность, но лишь в границах «железной клетки» бюрократической рациональности. Эта картина имела большой резонанс и, разумеется, повлияла как на фантастическую литературу XX века, так и (более прямым образом) на социологические дискуссии. Есть много современных институтов, контексты функционирования которых отмечены бюрократической устойчивостью. Но они далеки от всеохватности даже в основных условиях своего применения, а именно, крупных организациях. Веберовская характеристика бюрократии неадекватна. Вместо того, чтобы неизбежно тяготеть к жесткости, организации скорее создают зоны автономии и спонтанности, которых, как это ни странно звучит, обычно сложнее достичь в малых группах. Мы обязаны этой догадкой Дюркгейму, а также последующим эмпирическим исследованиям организаций. Застойная атмосфера мнений внутри некоторых малых групп и способы прямой санкции, доступные их членам, фиксируют горизонты действия гораздо более узко и жестко, чем в более крупных организациях.

Вторая является картиной Маркса — и многих других, относят они себя к марксистам или нет. Согласно этому изображению, современность видится в качестве монстра. Маркс, возможно, более ясно, чем кто-либо из его современников, представлял, насколько страшным и необратимым будет влияние современности. В то же время современность была для Маркса тем, что Хабермас метко назвал «незавершенным проектом». Монстр мог быть укрощен, поскольку то, что создано людьми,

всегда может быть поставлено под их контроль. Проблема заключается в том, что капитализм является иррациональным способом движения к современному миру, поскольку он использует капризы рынка для контролируемого удовлетворения человеческой потребности.

Эти изображения, я полагаю, мы должны заменить изображением Джаггернаута* — неудержимой машины невероятной силы, которой мы, люди, в определенной степени можем совместно управлять, но которая также угрожает быстро выйти из-под нашего контроля и расколоться на части. Эта колесница сокрушает тех, кто сопротивляется ей, и хотя кажется, что она движется в каком-то определенном направлении, время от времени случается так, что она беспорядочно меняет направление своего движения совершенно неожиданным для нас образом. Это движение ни в коем случае не является совершенно отталкивающим или бесполезным; часто оно может быть возбуждающим и исполненным надежд. Но пока существуют институты современности, мы никогда не сможем целиком и полностью контролировать ни направления, ни темп этого движения. В свою очередь, мы никогда не будем чувствовать себя в полной безопасности, так как местность, по которой проходит этот путь, грозит нам весьма серьезными рисками. Чувства онтологической безопасности и экзистенциальной тревоги будут и далее сосуществовать в их двойственности.

* Этот термин происходит из Jagannath, «повелитель мира» на хинди, и является именем Кришны; идол этого божества везли каждый год по улицам на большой колеснице, под которую последователи должны были бросаться, чтобы быть раздавленными под колесами.

Колесница современности не образует единого целого, и здесь воображение подводит нас, как и любой разговор о единственном пути, по которому он движется. Это не машина, отлитая из одного куска металла, но машина, в которой присутствуют напряжение, противоречия, подверженность воздействию различных влияний. Любая попытка ухватить опыт современности должна начинаться с подобного взгляда, который является целиком и полностью производным от диалектики пространства и времени, выраженной в пространственно-временном строении современных институтов. Я сделаю набросок феноменологии современности в терминах четырех диалектически соотносящихся структур опыта, каждая из которых цельным образом соединена с представленной в этом исследовании дискуссией.

Отсутствия привязанности к определенному месту (displacement) и нового усвоения (reembedding): пересечение отчуждения и знакомства (familiarity).

Близости и безличности: пересечения личного доверия и безличных связей.

Экспертизы и присвоения: пересечения абстрактных систем и компетентности (knowledgeability).

Приватности (privatism) и вовлеченности (engagement): пересечения прагматического принятия и активизма.

Современность характеризуется отсутствием привязанности к определенному месту в том смысле, на который мы указывали выше, — место становится фантасмогоричным. Однако речь скорее идет о неоднозначном опыте, нежели о банальном уходе сообщества в прошлое. Мы можем ясно это увидеть, только если сохраним в уме различия

между описанными ранее досовременностью и современностью. Происходящее является не просто локализованными влияниями, переходящими в более безличные отношения абстрактных систем. Вместо этого изменяется сама ткань пространственного опыта, соединяя близость и удаленность теми способами, которым сложно подыскать близкие параллели в предыдущие эпохи. Здесь имеет место сложное отношение между привычностью и отчуждением. Многие аспекты жизни в локальных контекстах продолжают сохранять свою привычность и непринужденность, основываясь на рутине каждодневной жизни, которую ведут индивиды. Но ощущение привычности обычно опосредуется дистанциацией времени и пространства. Оно не выводится из особенностей локализованного места. И этот опыт, пока он погружается в общую осведомленность, одновременно является беспокоящим и поощряющим. Уверенность в привычном, столь важная для чувства онтологической безопасности, соединяется с осознанием того, что все комфортное и близкое является выражением отдаленных событий и, скорее, было «помещено» в локальную среду, чем формировалось органическим развитием внутри нее. Локальный торговый комплекс является средой, в которой чувство беззаботности и безопасности развивается через расположение здания и тщательную планировку общественных мест. Однако каждый, кто делает там покупки, осведомлен, что большинство этих магазинов входят в сеть, которую он может найти в любом городе; и даже что несчетное количество торговых центров той же конструкции существует в других местах.

Характерной чертой отсутствия привязанности к определенному месту является наше включение

в глобализованные культурные и информационные потоки, а это приводит к тому, что чувство привычности и нахождения в одном месте соединены сегодня намного менее тесно, чем прежде. Это скорее феномен интеграции в глобализованные «общества» коллективного опыта, чем феномен интеграции. Границы тайного и явного изменяются, поскольку многие формы деятельности, которые прежде не пересекались друг с другом, теперь совмещаются в одних публичных сферах. Появление газет и телевизионных передач является наиболее очевидными конкретным примером этого феномена, но это присуще и пространственно-временной организации современности. Мы все хорошо знакомы с событиями, с действиями и с видимыми явлениями физических условий в тысячах миль от того места, где нам довелось жить. Приход электронных средств массовой информации, несомненно, подчеркивает данные аспекты перемещения, начиная с того, что они замещают присутствие столь мимолетно и на таком расстоянии. Как замечает Джошуа Мейровиц, человек, разговаривающий по телефону с другим (возможно, на другом конце мира), более близок с ним, чем с другим индивидом в той же комнате (который может спрашивать: «Кто это? Что она говорит?») и так далее).

Обратной стороной отсутствия привязанности к определенному месту является новое усвоение. Механизмы высвобождения извлекают социальные отношения и обмен информации из специфических контекстов пространства и времени; но в то же время они обеспечивают новые благоприятные возможности для их локализации. Это еще одна причина, по которой было бы ошибочным считать современный мир таким, в котором обширные безличные системы во все большей степени поглоща-

ют личную жизнь. Те же самые процессы, которые ведут к разрушению районов старого города и их замещением офисными зданиями и небоскребами, обычно позволяли облагородить старые области и создать новую локальность. Хотя картина высоких, безличных скоплений зданий городского центра обычно представляется как миниатюрное изображение ландшафта современности, эта точка зрения является ошибочной. Не менее характерным является новое создание относительно небольших и неформальных мест. Сами транспортные системы, которые помогают разрушать связь между локальностью и родством, обеспечивают возможность для нового усвоения, делая более простым посещение «близких» родственников, которые находятся далеко.

Соответствующие комментарии могут быть сделаны и о пересечении интимности и безличности в современных контекстах действия. Неверно, будто бы в условиях современности мы во все большей степени живем в «мире незнакомцев». Нам не требуется все большая и большая замена интимности безличностью в контактах с другими, которые мы рутинно совершаем в течение нашей повседневной жизни. Речь идет о более сложной и тонкой ситуации. Повседневные контакты с другими при досовременных порядках обычно базировались на знакомстве, обусловленном отчасти проживанием в одном и том же месте. Однако вероятно, что в ту пору контакты со знакомыми людьми нечасто способствовали установлению той степени близости, которую мы сегодня связываем с личными и сексуальными отношениями. Та «трансформация интимности», о которой я говорил, зависит от дистанциации, которую осуществляют механизмы высвобождения, в сочетании с изменившимися

средами доверия, существование которых они предполагают. Можно указать на целый ряд способов, посредством которых связываются доверительные отношения и абстрактные системы. Деньги, например, могут быть потрачены на покупку экспертных услуг психолога, который помогает индивиду разобраться со своими внутренними душевными проблемами.

Человек ходит по улицам города и, вероятно, встречает тысячи людей в течение дня; людей, которых он или она никогда не видели раньше — «незнакомцев» в современном смысле этого термина. Или, возможно, этот индивид, прогуливаясь по менее оживленной улице, праздно рассматривает прохожих и многообразие товаров, продающихся в магазинах — речь идет о бодлеровском *flâneur*. Кто станет отрицать, что этот опыт является присущим современности? Однако мир, который находится где-то там, мир, который маячит в качестве фона в виде неопределенного пространства-времени за привычными нам домом и локальным районом, это не чистая безличная близость. В противовес этому близкие отношения могут продолжаться и на удалении (регулярный и длительный контакт может виртуально осуществляться с другими индивидами в любой точке земной поверхности — а также над землей и под ней), а личные связи длительно строятся с другими, с которыми некто прежде познакомился. Мы живем в мире, населенном людьми (peopled), а не просто анонимными, бесцветными лицами, — интерполяция абстрактных систем в нашу деятельность в значительной мере влияет и на это.

В отношениях интимности современного типа доверие всегда двусмысленно и возможность расставания всегда присутствует в той или иной

степени. Личные связи могут быть разорваны, а интимные связи возвращены в сферу безличных контактов — в случае разорванной любовной связи, близкий внезапно снова становится незнакомцем. Требование «раскрытия себя» другому, которое предполагают личные доверительные отношения, равно как и предписание ничего не скрывать от другого, сочетает в себе уверенность и глубокую тревогу. Личное доверие требует уровня самопонимания и самовыражения, который сам по себе должен быть источником психологического напряжения. Взаимное самораскрытие связано с потребностью во взаимности и поддержке; однако оба пункта часто несовместимы. Досада и разочарование переплетаются с потребностью в доверии к другому, как поставщику заботы и поддержки.

УТРАТА И НОВОЕ ОБРЕТЕНИЕ НАВЫКОВ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Экспертиза является аспектом интимности в условиях современности, как это явствует не только из большого разнообразия форм психотерапии и доступных консультаций, но также из множество книг, статей и телевизионных программ, снабжающих технической информацией об «отношениях». Значит ли это, как утверждает Хабермас, что абстрактные системы «колонируют» уже существующий «жизненный мир», подчиняя личные решения технической экспертизе? Нет, не значит. Этому есть две причины. Одна заключается в том, что современные институты не просто внедряются в «жизненный мир», остатки которого остаются во многом такими же, что и прежде.

Изменения в природе повседневной жизни также влияют на механизмы высвобождения в диалектическом взаимодействии. Вторая причина в том, что техническая экспертиза постоянно присваивается непрофессиональными деятелями, как часть их рутинного обращения к абстрактным системам. Никто не может стать экспертом как в смысле овладения полноценным экспертным знанием, так и должными формальными обязательства более, чем в нескольких маленьких областях весьма сложных систем знания, существующих на сегодняшний день. Однако никто не может взаимодействовать с абстрактными системами без овладения некоторыми элементарными знаниями о принципах, на которых они основаны.

Социологи обычно полагают, что в отличие от досовременной эпохи, где было много таинственного, сегодня мы живем в мире, из которого тайна ушла и в котором способ «функционирования мира» может быть (в принципе) полностью постигнут. Но это неверно, причем применительно как к обычным людям, так и к экспертам, коль скоро мы рассмотрим их индивидуальный опыт. Для всех нас жизнь в обстановке современного мира определена *непрозрачна* в том смысле, что ранее подобное не имело места. В досовременных средах «локальное знание», пользуясь выражением Клиффорда Гирца^{lxxxvi}, которым владели индивиды, было богатым, разносторонним и приспособленным к требованиям жизни в локальной обстановке. Но кто из нас сегодня, включая свет, знает о том, из какого источника приходит электричество или даже, в техническом смысле, что такое электричество?

Однако, несмотря на то, что «локальное знание» не может быть того же порядка, что было раньше, отсеивание знания и навыка из ежедневной жиз-

ни не представляет собой односторонний процесс. Нельзя сказать, что индивиды в современных контекстах меньше знают о своем локальном окружении, чем их предшественники в досовременных культурах. Современная социальная жизнь является сложным делом, и существует много «фильтрующих в обратном порядке» процессов, при помощи которых техническое знание, в той или иной форме, заново присваивается «людьми с улицы» или рутинно используется в течение их повседневной деятельности. Как уже упоминалось ранее, взаимодействие между экспертизой и присвоением знания заново подверглось сильному влиянию, помимо всего прочего, опыта в точках доступа. Экономические факторы могут предопределять, почему человек учит, как ремонтировать двигатель на ее или его автомобиле, чинить электрическую систему в доме или делать крышу; но также сказываются уровни доверия, которые индивид вкладывает в отдельные экспертные системы и известных экспертов. Процессы нового присвоения относятся ко всем аспектам социальной жизни, будь то лечение, воспитание ребенка или удовлетворение сексуальных потребностей.

Для обычного индивида все это не сводится к чувству сохранения надежного контроля над повседневными жизненными обстоятельствами. Современность расширяет области личного удовлетворения и безопасности в отношении больших областей повседневной жизни. Но обычный человек — а все мы являемся «простаками» в отношении значительного большинства экспертных систем — должны ехать на колеснице. Потеря контроля, которую многие из нас чувствуют относительно некоторых обстоятельств нашей жизни, реальна.

Именно на этом фоне мы должны понимать модели приватизма и вовлеченности. Смысл «выживания», в использовании этого термина Лэшем, не может навсегда исчезнуть из наших мыслей в мире, где ввиду неопределенного будущего выживание является реальной и неизбежной проблемой. На уровне бессознательного — даже (и может, в особенности) среди тех, чьей установкой является прагматическое принятие рисков с серьезными последствиями, — отношение к выживанию, вероятно, существует как экзистенциальный ужас. Базовое доверие к тому, что мир будет продолжать существовать, должно быть укорененным в простом убеждении, что он будет продолжаться, но в этом мы не можем быть целиком и полностью уверены. Сол Беллоу замечает по этому поводу в романе *Герцог*: «Революция ядерного террора возвращает нам метафизическое измерение. Вся практическая деятельность достигла этой кульминации: все может уйти сейчас. Теперь вернемся к вопросу господина Кьеркегора...»^{lxxxvii}. «Вопрос господина Кьеркегора» состоит в том, как нам избежать ужаса несуществования, понятого не только как индивидуальная смерть, но и как экзистенциальная пустота? Возможность глобальной катастрофы из-за ядерной войны или по каким-либо другим причинам ставит под сомнение нашу уверенность в том, что жизнь рода обеспечена лучше, чем жизнь индивида.

Никто точно не знает, насколько реальна эта угроза. Пока существует сдерживание, обязана существовать возможность войны, так как понятие сдерживания имеет смысл, только если вовлеченные участники в принципе готовы использовать оружие, имеющееся у них. Повторю еще раз: никто, будь он даже высококвалифици-

рованным «экспертом» в области вооружений и военных организаций или в политике, не может сказать, почему сдерживание «работает»; потому что все, что может быть сказано, заключается в том, что до настоящего времени не было войны. Осведомленность об этих неотъемлемых неопределенностях свойственна также простым людям, какой бы смутной и неопределенной эта осведомленность не была.

Эти глубокие тревоги, которые подобные обстоятельства должны вызывать практически в каждом, уравнивает психологическая опора на чувство, что «нет ничего, что было бы сделать в моих силах», и что в любом случае риск должен быть очень незначительным. Решимость предоставить делам возможность идти своим чередом, как я уже замечал, является первичным элементом в стабилизации доверия и онтологической безопасности, и, несомненно, применяется в отношении рисков, сопряженных с серьезными последствиями, точно так же как это делается в других областях отношений доверия.

Однако очевидно, что даже риски, сопряженные с серьезными последствиями, не являются просто маловероятными возможностями, которые могут игнорироваться в повседневной жизни, хотя и за счет определенных психологических издержек. Некоторые из таких рисков, а также множество других, потенциально угрожающих жизни индивидов или другим образом влияющих на них, внедряются прямо в основу повседневной деятельности. Например, таково загрязнение окружающей среды, которое влияет на здоровье взрослых и детей и приводит к тому, что пищевые продукты содержат токсичные ингредиенты, влияющие на их пищевые свойства. Также имеет место множест-

во технологических изменений (подобных репродуктивным технологиям), влияющих на жизненные шансы. Во многих обстоятельствах сочетание риска и возможности является столь сложным, что индивидам становится невероятно трудно понять, в какой степени стоит доверять отдельным предписаниям или системам, а в какой степени этого делать не следует. Например, как может кто-то питаться «полезно», когда все виды еды предположительно обладают токсическими свойствами того или иного рода, и когда то, что рекомендуется экспертами по питанию, обусловлено изменением состояния научного знания?

Доверие и риск, благоприятная возможность и опасность — эти противоположные парадоксальные особенности современности проникают во все аспекты повседневной жизни, еще раз отражая исключительную интерполяцию локального и глобального. Прагматическое принятие может действовать в отношении большинства абстрактных систем, которые вторгаются в жизнь людей, но по своей собственной природе подобная установка не может сохраняться постоянно и в отношении всех областей деятельности. Это объясняется тем, что приходящая экспертная информация является обычно фрагментарной или противоречивой*,

* Рассмотрим в качестве примера среди всех прочих случаев цикламата (искусственного подсластителя) и отношение к нему властей США. Цикламат широко использовался в Соединенных Штатах до 1970 г., Управление контроля качества продуктов и лекарств (FDA) классифицировало его как «признанный безвредным». Позиция FDA изменилась, когда научное исследование показало, что крысы, получавшие большие дозы этого вещества, склонны к определенным типам рака. Цикламат был запрещен для использования в пищевых продуктах. Несмотря на это, поскольку все боль-

как и рециркулирующее знание, которое коллеги, друзья и близкие передают друг другу. На личном уровне решения должны приниматься, а правила укрепляться. Приватизм, отказ от вмешательства, сопряженного с конфликтом, который может быть поддержан установками базового оптимизма, пессимизма или прагматического принятия, способен служить целям повседневного «выживания» во многих аспектах. Однако такое поведение может перемежаться моментами действенной вовлеченности, даже со стороны тех, кто больше других подвержен установкам безразличия или цинизма. Повторяюсь, что в этом отношении баланса безопасности и опасности, которую современность вводит в наши жизни, больше не существует «других» — никто не может быть полностью вне этого. Во многих обстоятельствах условия современности скорее провоцируют активизм, чем приватизм в силу свойственной современности рефлексивности, а также потому, что существует множество благоприятных возможностей коллективной организации внутри полиархических систем современных национальных государств.

ше и больше людей стали пить низкокалорийные напитки в 1970-х и начале 1980-х годов, производители оказали давление на FDA, чтобы оно изменило позицию. В 1984 году комитет FDA решил, что цикламаты все же не являются веществом, вызывающим рак. Годом позже Национальная академия наук вмешалась, достигнув иного заключения. В ее докладе по данному вопросу Академия заявила, что цикламаты небезопасны, когда используются с сахаринем, даже если, вероятно, безвредны, когда используются сами по себе как подсластители. См.: James Bellini. High Tech Holocaust. London: Tarrant, 1986.

ВОЗРАЖЕНИЯ ПОСТСОВРЕМЕННОСТИ

Позвольте мне в этом пункте коротко вернуться к проблемам, поставленным ближе к началу книги, и к тем, которые будут рассмотрены в заключительных разделах. Я пытался развить интерпретацию нынешней эпохи, которая оспаривает обычные взгляды о пришествии постсовременности. Как правило, концепции постсовременности — которые по большей части имеют свои корни в постструктуралистской мысли — включают некоторое число сюжетных линий. Я сравню эту концепцию постсовременности (ПС) со своей альтернативной позицией, которую буду называть радикализованной современностью (РС), в таблице 2.

Таблица 2. Сравнение концепций «постсовременности» (ПС) и «радикализованной современности» (РС)

ПС	РС
1. Понимает происходящие изменения в эпистемологических терминах или как полное упразднение эпистемологии.	1. Определяет институциональные развития, которые создают чувства фрагментации и распыленности.
2. Основное внимание обращает на центробежные тенденции происходящих социальных трансформаций и их нелокальный характер.	2. Рассматривает высокую современность как ряд обстоятельств, в которых распыленность диалектически связана с глубокими тенденциями к глобальной интеграции.
3. Рассматривает «Я» как размытое или расчлененное фрагментированным опытом.	3. Рассматривает «Я» как нечто большее, чем пространство пересечения различных сил; благодаря современности становится возможным активный процесс формирования рефлексивной «самоидентичности».

ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

ПС	РС
<p>4. Обосновывает контекстуальный характер истины или видит в ней исторический феномен.</p> <p>5. Рассуждает о беспомощности, которую индивиды испытывают перед лицом глобализирующихся тенденций.</p>	<p>4. Полагает, что универсальные особенности притязаний на истину налагаются на нас принудительным образом, коль скоро речь идет о первоочередности глобальных проблем. Систематическое знание об этих направлениях развития не устраняется рефлексивностью современности.</p> <p>5. Анализирует диалектику и безвластия и власти в терминах опыта и действия.</p>
<p>6. Видит в «пустоте» повседневной жизни результат вторжения абстрактных систем.</p> <p>7. Рассматривает контекстуальность и распыленность как препятствия на пути координированного политического участия.</p> <p>8. Определяет постсовременность как конец эпистемологии, индивидуальности и этики.</p>	<p>6. Рассматривает повседневную жизнь как активный комплекс реакций на абстрактные системы, включающий как усвоение, так и отказ от чего-то.</p> <p>7. Считает координированное политическое участие возможным и необходимым, причем как на глобальном, так и на локальном уровне.</p> <p>8. Определяет постсовременность как возможные трансформации, выводящие за рамки институтов современности.</p>

V

ЕЗДА НА КОЛЕСНИЦЕ

До какой степени мы — где «мы» значит человечество в целом — управляем колесницей или, по крайней мере, направляем ее таким образом, чтобы минимизировать опасности и максимизировать благоприятные возможности, которые современность предлагает нам? Почему мы, по крайней мере в настоящее время, живем в вышедшем из-под контроля мире, так отличающемся от того, которого ожидали мыслители Просвещения? Почему всеобщее употребление «милосердного разума» не создало мир, подвластный нашему предсказанию и контролю?

Несколько факторов указывают на себя, однако, ни один из них не связан с идеей, что, как утверждает Лиотар и другие, у нас больше нет жизнеспособных методов, поддерживающих притязания знания. Первые могли бы быть названы *ошибками проектирования*. Современность неотделима от абстрактных систем, которые предусматривают высвобождение социальных отношений по всему диапазону пространства и времени, охватывающее как обобществленную природу, так и социальный мир. Быть может, ошибки проектирования приносят слишком много вреда, когда они заставляют системы работать неправильно и уводят нас вбок от задуманного нами пути развития? Очевидно, что мы можем применить понятие

ошибок проектирования к социальным, а также естественным системам, где первые установились с определенными целями. Любая организация, в принципе, может быть охарактеризована в плане того, насколько эффективно она достигает определенных целей или предоставляет определенные услуги. Любой аспект обобществленной природы, в принципе, может быть охарактеризован в плане того, в какой степени он соприкасается с отдельными человеческими потребностями и не производит нежелательных конечных результатов. В обоих контекстах ошибки проектирования, несомненно, очень распространены. В случае систем, зависящих от обобществленной природы, кажется, что нет причин, по крайней мере в принципе, из-за которых ошибки проектирования не могли бы быть искоренены. Как мы увидим далее, ситуация в отношении социальных систем является более сложной и неопределенной.

Второй фактор мы могли бы назвать *ошибкой оператора*. Любая абстрактная система, вне зависимости от того, насколько хорошо она спроектирована, может не сработать так, как предполагалось, поскольку те, кто ею управляет, совершают ошибки. Это верно по отношению как к социальным, так и к естественным системам. В отличие от ошибок проектирования, ошибки оператора представляются неустранимыми. Хорошее проектирование, как и строгое обучение и дисциплина, могут сделать вероятность ошибки оператора очень низкой; но до тех пор, пока речь идет об участии люди, риск должен иметь место. В случае чернобыльского инцидента основной причиной катастрофы была ошибка, сделанная в управлении аварийными системами выключения. Математические вычисления рисков, наподобие рисков человеческой

смертности, применяемые к конкурирующим методам порождения власти, могут в какой-то мере предсказать работу физических систем. Но элемент операторской ошибки не может быть эффективно включен в подобные расчеты.

Однако, ни ошибки проектирования, ни ошибки оператора не являются наиболее важными элементами, создающими непредсказуемый характер современности. К двум наиболее значимым влияниям уже делалась краткая отсылка: это — *непреднамеренные последствия* и *рефлексивность*, или *циркулярность* социального знания. Ошибки проектирования и операторские ошибки явно входят в категорию *непреднамеренных последствий*, но эта категория включает намного больше. Неважно, как хорошо спроектирована система, и неважно насколько подготовлены ее операторы — последствия ее введения и функционирования в контекстах управления другими системами и человеческой деятельностью в целом не могут быть полностью предсказаны. Одна причина этого заключается в сложности систем и действий, которые составляют мировое общество. Но даже если было мыслимо — что на практике не так, что мир (человеческие действия и физическая окружающая среда) мог бы стать единой спроектированной системой, непредвиденные последствия сохранялись бы.

Причиной этого является циркулярность социального знания, которая, в первую очередь, затрагивает скорее социальный, чем природный мир. В условиях современности социальный мир никогда не может формировать стабильную окружающую среду при помощи нового знания относительно его характера и функционирования. Новое знание (концепции, теории, открытия) не просто

делает социальный мир более прозрачным, но изменяют его природу, подталкивая его в новых направлениях. Воздействие этого феномена является фундаментальным для свойства современности как колесницы; оно влияет на социальную природу в той же мере, что и сами социальные институты. Ведь хотя знание о природном мире не влияет на мир непосредственно, циркулярность социального знания включает в себя элементы природы через технологические компоненты абстрактных систем.

По всем этим причинам мы не можем ухватить «историю» и без труда подчинить ее нашим коллективным целям. Даже если мы сами производим и воспроизводим ее в наших действиях, мы не можем полностью контролировать социальную жизнь. Более того, вышеупомянутые факторы предполагают однородность интереса и цели — того, что не может быть принято как само собой разумеющееся для человечества в целом. Отсылающие к предыдущему, два других влияния (разница властного потенциала и роль ценностей) также являются важными. Мир «един» в некоторых смыслах, но радикально расщеплен неравенством власти в других. И одной из наиболее характерных особенностей современности является открытие того, что развитие эмпирического знания само по себе не может служить основанием для выбора между различными ценностными позициями.

УТОПИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Тем не менее все это не значит, что мы должны (или что мы можем) отказаться от своих попыток управлять колесницей. Минимизация высокозначимых рисков преодолевает все ценности и

все исключаящее разделение властей. «История» не на нашей стороне, она не имеет телеологии и не снабжает нас какими-либо гарантиями. Но глубоко контрфактическая природа ориентированной на будущее мысли, являясь сущностным элементом рефлексивности современности, имеет как позитивные, так и негативные последствия. Мы можем представлять себе альтернативные картины будущего, чье распространение само по себе может помочь им воплотиться. Здесь требуется создание моделей *утопического реализма*.

Кое-кто мог бы подумать, что здесь мы имеем дело с простым противоречием в определении, однако в действительности это не так, как мы можем увидеть, сравнивая эту позицию с позицией Маркса. В марксовской версии критической теории, которая соединяет интерпретацию и практику, история имеет общее направление и приходит к революционному деятелю, пролетариату, который является «универсальным классом». Аккумулируя внутри себя весь потенциал исторического угнетения, пролетариат, совершая революцию, действует тем самым от имени всего человечества в целом. Но история, как отмечалось, не обладает телеологией, равно как нет и каких-либо привилегированных деятелей в процессе преобразования, направляющего к воплощению ценностей. В данном случае у Маркса мы встречаемся с отзвуком диалектики господина-раба — привлекательного взгляда, который предполагает, что непривилегированные являются настоящими носителями интересов человечества в целом. Но мы должны отвергнуть это представление, несмотря на его привлекательность для тех, кто борется за освобождение угнетенных. Интересы угнетенных не являются чем-то предзаданным и часто приходят к противоречию, тогда

как полезные социальные изменения обычно требуют использования разницы властного потенциала, удерживаемого только привилегированными. Более того, множество благотворных изменений совершаются неожиданным образом.

Мы должны придерживаться Марксова принципа, согласно которому пути к желаемому социальному изменению будут иметь слабое практическое влияние, если они не соединены с институционально имманентными возможностями. Посредством этого принципа Маркс решительно дистанцировал себя от утопизма; но эти имманентные возможности сами подвергались влиянию контрфактического характера современности, и, таким образом, жесткое деление на «реалистическую» и утопическую мысль является необязательным. Мы должны уравновесить утопические идеалы с реализмом более строгим образом, чем требовалось в дни Маркса. Это легко показать на примере высокочисленных рисков. Утопическое мышление бесполезно и, возможно, чрезвычайно опасно, если применить его, к примеру, к политике сдерживания. Моральное осуждение, взятое безотносительно к стратегическим импликациям действия, может обеспечивать психологический комфорт, произрастающий из чувства достоинства, которое может дать радикальная вовлеченность. Но это может вести к превратным результатам, если мы забудем о том, что главная цель — это минимизация опасности.

На что должна быть похожа критическая теория, лишенная гарантий, в конце XX века? Она обязана быть *социологически чувствительной*, т. е. внимательной к имманентным институциональным трансформациям, которые современность постоянно открывает для будущего. Она должна быть политически, более того, *геополитически*, тактичной

в смысле осознания того, что моральные обязательства и «благие намерения» в мире высокозначимых рисков сами могут быть потенциально опасны. Она должна создавать *модели хорошего общества*, которые не ограничены ни сферой национального государства, ни каким-либо одним из институциональных измерений современности. Она должна признавать, что *освободительная политика* нуждается в связи с *жизненной политикой* или с *политикой самоактуализации*. Под освободительной политикой я подразумеваю радикальную вовлеченность, озабоченную освобождением от неравенства и порабощения. Если мы раз и навсегда пойдем, что история не подчиняется диалектике господина-раба или что последняя работает лишь в некоторых контекстах и обстоятельствах, то мы можем осознать, что освободительная политика не может быть единственной стороной этого процесса. Жизненная политика отсылает к радикальным обязательствам, которые обращаются к дальнейшим возможностям удовлетворительной и счастливой жизни для всех, для которой нет «других». Это вариант старого различия между «свободой от» и «свободой для», где «свобода для» должна быть изложена в свете схемы утопического реализма.

Отношение между освободительной и жизненной политикой формирует одну ось схемы, показанной на рисунке 3. Другая показывает связь между локальным и глобальным, которая столь часто выделялась в предыдущих частях этого исследования. Освободительная и жизненная политики должны быть вписаны в эти взаимосвязи, установленные разрастающимся влиянием глобальных отношений. Как я пытался показать, для современности характерно то, что самоактуализация становится фундаментом для самоидентичности. «Этика

личного» является основополагающим признаком жизненной политики, точно так же как более привычные идеи справедливости и равенства относятся к освободительной политике. Феминистское движение делало первые попытки соединить друг с другом эти проблемы.



Рис. 3. Измерения утопического реализма

Теодор Роззак справедливо критикует авторов, находящихся на противоположных полюсах политического спектра, которые видят в этосе самораскрытия не более чем отчаянный ответ на психологически или социально неадекватный характер крупных институтов современности. Как он говорит, «мы живем во время, когда сам частный опыт обладания личной идентичностью для раскрытия, личной судьбой для исполнения становится подрывной политической силой огромных размеров». Тем не менее он неправ, говоря, что «и личности

и планете угрожает один враг — громадность вещей»^{lxxxviii}. Проблемой является чередование удаленности и близости, личного и масштабных механизмов глобализации. Сама по себе «громадность» не является ни врагом личности, ни феноменом, который необходимо преодолеть в жизненной политике. Напротив, именно вопрос об увязывании индивидуальных выгод и планетарной организации должен находиться в фокусе проблемы. Глобальные связи различных типов являются условием форм индивидуальной самоактуализации, включая те, которые действуют, чтобы уменьшить высокосложные риски.

Это суждение необходимо применять и к тем регионам мира, в которых воздействие современности по-прежнему остается относительно слабым. Трансформации настоящего времени совершаются в мире, расколотом неравенством между богатыми и бедными государствами, в которых распространение современных институтов создает все виды контртенденций и влияний, наподобие религиозного фундаментализма или форм реакционного традиционализма. Если в данной книге я не рассматриваю это в деталях, то делаю это ради экономии аргументов, а не потому, будто бы я думаю, что ими можно пренебречь в любой более конкретной интерпретации возможных глобальных тенденций.

ОРИЕНТАЦИИ НА БУДУЩЕЕ: РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

В качестве форм радикальной вовлеченности, обладающих повсеместной важностью в современной социальной жизни, социальные движения

снабжают определенными ориентирами потенциальные будущие трансформации. Те, для кого современность ассоциировалась с капитализмом или индустриализмом, рабочее движение считается главным социальным движением. Авторы, которые следуют за Марксом, видят в рабочем движении «авангард истории»; их критики обращают особое внимание на то, что рабочее движение имеет лишь преобразующее воздействие на ранних фазах развития индустриального порядка, впоследствии становясь одной из групп по интересам среди всех прочих. Капитализм, несомненно, остается классовой системой, и борьба рабочих движений по-прежнему способствует его «преодолению». Но бесхитрое увлечение рабочими движениями, которые в одно время широко оправдывались их стратегической важностью на раннем этапе развития современных институтов и капиталистической экспансии, отражает одностороннее указание на капитализм и на индустриализм, как единственно значимые динамические силы, вовлеченные в современность. Другие социальные движения также являются важными и могут быть увязаны с многомерным характером современности, очерченным ранее.

Рисунок 4 должен быть интерпретирован вместе с рисунком 1, который показывает четыре институциональных пространства современности и, по сути дела, накладывается на них. Рабочие движения являются борющимися ассоциациями, чьи истоки и поле действия тесно связаны с распространением капиталистического предпринимательства. Будь то реформисты или революционеры, они имеют свои корни в экономическом порядке капитализма, особенно в попытках достижения защитного контроля над рабочими местами

при помощи профсоюзов и посредством влияния на государственную власть или ее захвата посредством социалистической политической организации. В частности, во время относительно ранних фаз развития современных институтов, рабочие движения тяготели к тому, чтобы быть главными носителями призывов к свободе самовыражения и демократических прав.

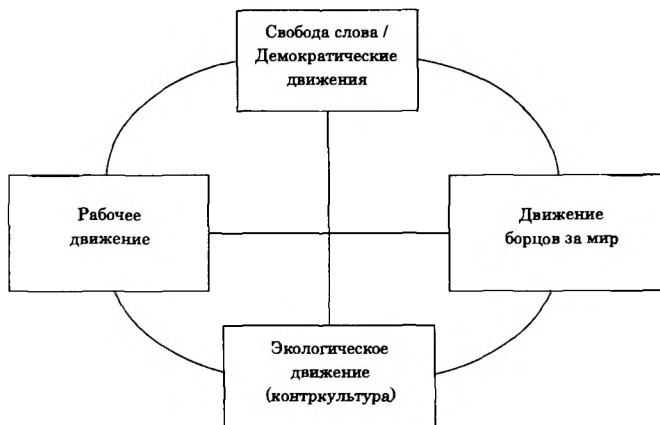


Рис. 4. Типы социальных движений

Однако свобода слова и демократические движения, истоки которых следует искать на почве операций надзора современного государства, аналитически (и в существенной степени исторически) отделимы от рабочих движений. Они включают определенные формы националистического движения, а также движения, озабоченные правами политического участия. Эта категория включает ранние буржуазные ассоциации, которые Маркс с некоторым презрением рассматривал как группы, основанные на классах.

В то время как он был достаточно точен в своем заключении, он ошибался, поскольку стремился трактовать «буржуазные права» упрощенным образом, понимая их исключительно как выражение классового господства. Эти права и борьба за обладание ими, а также за их защиту или расширение имела принципиальное значение для современных политических порядков — как для капиталистического, так и для государственно-социалистического. Надзор по праву является место борьбы.

Рабочие движения и движения за свободу слова/ демократические являются «старыми»: это заключается в том, что они твердо кристаллизовались в определенных формах, предшествующих XX веку. Другие типы социальных движений являются более новыми, в том смысле, что они начали обретать большую известность ближе к нынешнему времени. Их новизна тем не менее может быть преувеличена. Движения за мир имеют в качестве своего места борьбы область управления средствами насилия, включающими как военную, так и полицейскую власть. «Мир» здесь должен рассматриваться (подобно «демократии») как дискуссионное понятие, занимающее центральное место в диалогах, которые подобные движения вводят в области действия, где наряду с ними действуют военные или государственные власти. Пацифистские движения некоторых видов, обычно под влиянием религиозных ценностей, берут начало с первыми истоками индустриальной войны. Если сегодня они обрели определенную значимость, то это, несомненно, по большей части вызвано последствием роста высокозначимых рисков, связанных с началом ядерной войны.

Местом борьбы экологических движений — в рамки этой категории также могут быть помещены контркультурные движения — является созданная окружающая среда. Предшествующие формы сегодняшних «зеленых» движений также могут быть найдены в XIX столетии. Самые ранние из них имели тенденцию к сильной подверженности влиянию романтизма и изначально стремились к противостоянию влияниям современной индустрии на традиционные способы производства и ландшафт. Поскольку индустриализм было не так просто отличить от капитализма, в частности, в плане их разрушительного воздействия на традиционные модели жизни, эти группы очень часто имели тенденцию объединяться с рабочими движениями. Разделение этих двух движений сегодня отражает повышенную осведомленность о высокозначимых рисках, которые индустриальное развитие, происходит оно под покровительством капитализма или нет, приносит с собой. Экологические проблемы тем не менее не выводятся из одних только высокозначимых рисков и фокусируются также на других аспектах созданной окружающей среды.

Социальные движения позволяют взглянуть на возможные сценарии будущего и являются в известном смысле средствами его воплощения^{lxxxix*}.

* На рисунке 4 есть бросающийся в глаза пробел: феминистские движения. Куда мы должны поместить феминизм применительно к измерениям современности, рассмотренным здесь, а также применительно к более широкой дискуссии в этой книге в целом? Во-первых, нужно подчеркнуть, что феминизм вовлечен в рефлексивность современности точно так же, как и все прочие социальные движения. Начиная с ситуации, когда первичные устремления были направлены на сохранение прав политического и экономического равенства, феминистские движения поставили под вопрос конститутивные элементы

Однако с точки зрения перспективы утопического реализма, они не являются ни необходимой, ни единственной основой для изменений, которые могли бы повести нас в направлении более безопасного и человеческого мира. Движения за мир, например, могли бы быть важными для осознания и достижения тактических целей в отношении военных угроз. Однако другие влияния, включая силу общественного мнения, политику бизнес-корпораций и национальных правительств, а также деятельность международных организаций, являются фундаментальными для достижения базисных реформ. Взгляд утопического реализма признает неизбежность власти и не считает ее использование исключительно вредным. Власть, в самом широком смысле, является способом делать дела. В ситуации ускоряющейся глобализации стремление максимизировать благоприятные возможности и минимизировать высокочисленные риски определенно требует координированного использования власти.

гендерных отношений. Размышления о том, что есть гендер и как он структурирует базовые особенности личной идентичности сегодня, связываются с проектами глубокой потенциальной трансформации. Во-вторых, эти вопросы тесно связаны с темой «Я» как рефлексивного проекта для всех гендерно-определенных индивидов, как части обучающих процессов, благодаря которым развивается, а затем воспроизводится или модифицируется чувство «Я». В-третьих, в силу второго пункта, некоторые из более глубоко залегающих феноменов, которыми озабочен феминизм, не просто призваны к жизни современностью; они лежат в основе, в той или иной форме, всех известных форм социального порядка. Таким образом, цели феминистских движений являются сложными; они пересекаются со всеми институциональными измерениями современности. Однако феминизм может снабжать нас источниками контрфактического мышления, которые наиболее фундаментальным образом содействуют постсовременности в том смысле, который я собираюсь здесь обсудить.

Это верно как в отношении освободительной политики, так и в отношении политики жизненной. Сочувствие к положению проигравших существенно для всех форм освободительной политики, но воплощение искомым целей обычно зависит от вмешательства действий тех, кто привилегирован.

Черты утопизма проступают здесь совершенно явственно и, несомненно, было бы недальновидно сохранять оптимизм по поводу того, в какой степени действия сосредоточенной власти будут способствовать осуществлению тенденций будущего, которые могли бы подорвать ее позицию. Интересы бизнес-корпораций обычно расходятся с интересами правительств, которые, в свою очередь, часто фокусируются на отдельных проблемах. Все программы, в которых нет «других», могут быть интерпретированы через призму занятий вопросами, вызывающими разногласия. Социальные движения имеют не больше иммунитета к этим тенденциям, чем признанные организации. Однако власть не всегда используется для достижения отдельных выгод или как способ угнетения, так что элемент реализма сохраняет свое центральное значение.

ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ

В настоящее время мы живем в период высокой современности. Что находится дальше? Можем ли мы придавать какое-либо определенное значение понятию постсовременности? Какой вид утопий можем мы создать в качестве проектов, ориентированных на будущее, которые соединены с имманентными тенденциями развития и потому реалистичны?

Я думаю, что мы можем набросать очертания постсовременного порядка, а также отметить, что серьезные институциональные тенденции позволяют предполагать, что подобный порядок мог бы возникнуть. Постсовременная система будет институционально сложной, мы можем охарактеризовать ее как выходящую «за пределы» современности в том, что касается каждого из четырех измерений, выделенных ранее, как показано на рисунке 5 (отметим прямое отношение к рисункам 1 и 4). Если трансформации указанного рода совершатся, они не будут автоматически осуществляться в тесной связи друг с другом, а их осуществление потребует самых разнообразных форм деятельности.

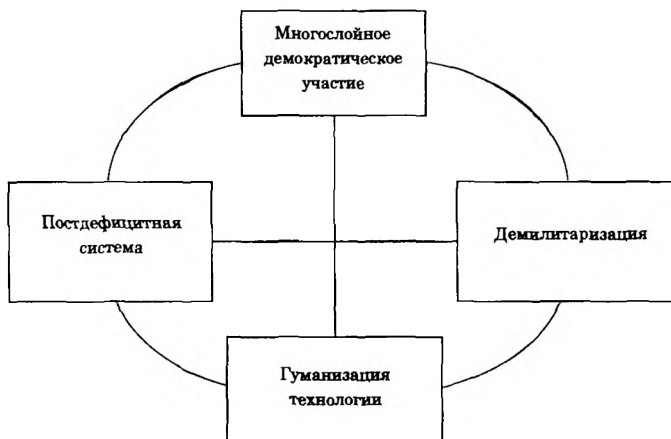


Рис. 5. Очертания постсовременного порядка

Во-первых, что будет после капитализма? Если это форма социализма, то едва ли она будет иметь много общего с существующими социалистическими обществами, которые, поскольку они

действительно отличаются от капиталистических государств, представляют собой экономически неэффективный и политически авторитарный способ проведения индустриализации. Понятие «социализм» имеет так много значений, что зачастую оказывается не более чем ярлыком, обозначающим любой предполагаемый социальный порядок, который отдельный мыслитель желает видеть созданным. Если социализм означает строгое плановое производство, организованное в первую очередь внутри экономической системы национальных государств, то несомненно, что социализм постепенно исчезает. Значительное открытие XX века состоит в том, что социальная и экономическая организация сложных систем, наподобие форм современного экономического порядка, не может быть эффективно подчинена кибернетическому контролю. Детальная и постоянная отдача указаний, которую предполагают подобные системы, должна осуществляться скорее на микроуровне, нежели идти сверху.

Этот вывод применим не только к национальным экономикам, но и в мировом масштабе. Как показывает следующий рисунок 6, мы должны характеризовать постсовременную эпоху в глобальных терминах. Рынки предоставляют средства ориентации, сопряженные со сложными системами обмена, однако в то же самое время их функционирование, как в свое время подметил Маркс, влечет за собой серьезные негативные последствия. Если смотреть на вещи с точки зрения освободительной политики, то выход за пределы капитализма будет включать в себя упразднение классовых различий, которым дают жизнь капиталистические рынки. Жизненная политика тем не менее ведет нас еще дальше — по ту сторону ус-

ловий, при которых экономические критерии определяют жизненные обстоятельства людей. Мы находим здесь потенциал для *постдефицитной системы*, координируемой на глобальном уровне.

Требование «регулирования» капиталистических рынков с целью устранения негативных последствий их функционирования приводит нас к дилемме. Подчинение рынков всеобъемлющему централизованному контролю не является экономически эффективным и ведет к политическому авторитаризму. С другой стороны, если рынкам предоставляется возможность — в той или иной степени — функционировать свободно и без ограничений, то это ведет к углублению разрыв между жизненными шансами различных групп и регионов. Постдефицитная система, однако, помогает преодолеть эту дилемму. В условиях, когда нет недостатка в основных жизненных благах, рыночные критерии будут выполнять роль исключительно средств ориентации, вместо того чтобы служить также средствами поддержания широко распространенного исключения.

В связи с этим возникает вопрос — имеет ли использование понятия «постдефицитная экономика» смысл в мире, в котором не только существует огромное неравенство в уровне развития между различными странами и регионами, в особенности между индустриально развитыми и индустриально малоразвитыми странами, но и сами ресурсы не только ограничены, но и находятся под воздействием хозяйственной деятельности человека? Давайте вместо этого спросим, *какая другая альтернатива существует* для мира, который не идет по пути саморазрушения? Процесс капиталистического накопления не может осуществляться бесконечно, поскольку имеющиеся ресурсы

ограничены. В то время как одни ресурсы ограничены по самой своей природе, другие, а таких большинство, лишены подобного рода внутренних ограничений, в том смысле, что если опустить базисные потребности телесного существования, «дефицит» представляет собой относительное понятие, зависящее от социально обусловленных потребностей и от запросов, связанных с определенными стилями жизни. Постдефицитный строй будет включать определенные альтернативы в способах общественной жизни (см. рисунок 6), и ожидания относительно продолжительного экономического роста должны подвергнуться пересмотру. Потребуется перераспределение богатства в мировом масштабе. Тем не менее побуждение к совершению подобных изменений можно было бы ускорить, и проходит множество дискуссий, на которых предлагаются контуры конкретной политики, способные стать орудием осуществления изменений в этом ключе. Существует определенная ясность по поводу того, что множество людей в экономически развитых государствах испытывают «усталость от развития»; еще больше ясности существует по вопросу о том, что продолжающийся экономический рост имеет смысл лишь в том случае, если он действительно улучшает качество жизни большинства^{xc}.

Постдефицитная система, даже если она сначала будет развиваться только в наиболее богатых частях мира, требует глобальной координация. В настоящее время социализированная экономическая организация на мировом уровне уже существует в некоторых формах в виде соглашений между транснациональными корпорациями или национальными правительствами, которые пытаются контролировать международные потоки денег и товаров. В будущем эти процессы, вне

зависимости от того, какую форму они примут, будут только набирать обороты. Если эти формы глобальной координации будут определенным образом объединены в контексте перехода к постдефицитным экономическим механизмам, то они будут исполнять скорее информационные, нежели регулирующие функции. Это значит, что они будут помогать координировать глобальные экономические операции обмена, не играя при этом роль «кибернетического управляющего». Хотя это утверждение звучит (да и является) чересчур расплывчатым, уже сегодня существуют рабочие модели возможных экономических порядков, которые предлагают принципы, которые могли быть использованы^{хсі}.



Рис. 6. Измерения постдефицитной системы

Если посмотреть на второе институциональное пространство современности — надзор и административную власть, то определенные имманентные

тенденции также ясны. В рамках национальных государств развитие практик надзора представляет собой угрозу для демократического участия, хотя одновременно имеют место и противоположные тенденции. Едва ли случайно, что сегодня в мире практически нет государств, которые бы не называли себя «демократическими», хотя ясно, что круг систем правления, обозначенных этим термином, достаточно широк. Речь также не идет и о простой риторике. Страны, которые называют себя демократическими, всегда обладают некоторыми способами вовлечения граждан в процедуры государственного управления, хотя на практике такое вовлечение может быть минимальным. Почему? Потому что правители современных государств открыли, что эффективное государственное управление требует активного согласия своего населения, достигаемого такими способами, которые не были ни возможны, ни необходимы в досовременных государствах^{xcii}. Тенденции к *полиархии*, определенной как «предпочтениям граждан, рассматриваемым в качестве политических равных»^{xciii} тем не менее на данный момент сосредоточены на уровне национальных государств. Учитывая, что положение национальных государств в рамках глобального порядка изменяется, отчасти благодаря новым формам локальной организации, возникающим на низовом уровне, а над самими национальными государствами появляются международные организации более высокого ранга, разумно ожидать нарастающего возникновения новых форм демократического участия. Они могут включать в себя требования расширения демократии на рабочих местах, в местных объединениях, в средствах мас-

совой информации, а также в транснациональных организациях различного типа^{xciv}.

На уровне межгосударственных отношений налицо тенденция к возникновению более скоординированного глобального политического порядка. Тенденции к возрастанию глобализации в большей или меньшей степени обязывают государства к сотрудничеству при работе над проблемами, с которыми раньше они могли пытаться справиться самостоятельно. Многие из первого поколения авторов, обсуждавших глобализацию в конце XIX века, верили, что движение к мировому правительству будет естественно проистекать из развития глобальных взаимосвязей. Эти авторы недооценивали уровень суверенитета национальных государств, и представляется маловероятным, чтобы какая-либо форма мирового правительства, напоминающая «увеличенное в размерах» национальное государство, возникла в обозримом будущем. «Мировое правительство», скорее, может предполагать совместное формирование глобальной политики государствами и совместную деятельность по разрешению конфликтов, нежели формирование сверхгосударства. Несмотря на это, тенденции на этом уровне представляются сильными и очевидными.

Когда мы обращаемся к вопросу о военной силе, то может показаться, что существует мало шансов на переход к миру, в котором средства войны лишились бы своего бывшего значения. Глобальные военные расходы продолжают расти каждый год, и использование передовых технологий для производства вооружений также не ослабевает. Тем не менее мир без войн не является абсолютной утопией. Такой мир имманентен как процессам индустриализации войны, так и изменению позиции

национальных государств на глобальной арене. Как было отмечено выше, изречение Клаузервица безнадежно устарело с промышленным производством вооружений; когда границы между нациями устоялись и юрисдикция национальных государств охватывает практически всю территорию земного шара, территориальная экспансия теряет свое былое значение. Наконец, растущая взаимозависимость на глобальном уровне расширяет круг ситуаций, когда сходные интересы разделяются всеми государствами. Представление о мире без войны явно утопично, но ни в коем случае не лишено реализма.

Сходные наблюдения применимы к случаю созданной окружающей среды. Стимулом к постоянной революционизации технологий служат как императивы капиталистического накопления, так и соображения национальной обороны, однако, как только дан импульс технологическому перевороту, процесс обретает свою внутреннюю динамику. Главной движущей силой становится стремление расширить научное знание и продемонстрировать его эффективность в технологической области. Как замечает Жак Эллюль, технологические нововведения, будучи однажды рутинно установленны, обладают сильным инерционным свойством: «Технология никогда не движется по направлению к чему-то, *потому что* она подталкивается сзади. Технический специалист не знает, зачем он работает, и в общем ему до этого особо нет дела... Нет призыва к достижению цели; есть давление двигателя, помещенного сзади и не позволяющего механизму остановиться... Взаимозависимость технологических элементов делает возможными очень большое количество «решений», для которых не существует проблем»^{xv}.

В настоящее время процессы технологического обновления и, еще шире, индустриального развития, имеют скорее тенденцию к ускорению, нежели к замедлению. В форме биотехнологий технические достижения влияют на само наше физическое строение в качестве человеческих существ, а также на естественную среду, в которой мы живем. Будут ли эти сильные источники нововведений продолжать неудержимо развиваться в неопределенном будущем? Этого нельзя сказать с уверенностью, однако существуют и явно выраженные противоположные тенденции, отчасти связанные с экологическими движениями, но получившие развитие и в других сферах. Проблемы, связанные с нанесением ущерба природе, сегодня широко распространены и находятся в центре внимания правительств всего мира. Во избежание серьезного и необратимого ущерба необходимо будет не только противостоять неконтролируемому внешнему воздействию на окружающую среду, но и самой логике ничем не сдерживаемого научного и технологического прогресса. Эта гуманизация технологии, вероятно, будет также сопряжена с привнесением моральной проблематики в нынешние, по большей части «инструментальные» отношения между людьми и искусственно созданной окружающей средой.

С тех пор как значимые экологические проблемы стали глобальными, формы вторжения ради уменьшения рисков для окружающей среды будут необходимо иметь планетарное значение. Могла бы быть создана всеобъемлющая система заботы о планете, что потребовало бы в качестве цели сохранение экологического благосостояния мира как целого. Возможный путь зарождения устремлений к заботе о планете предложен через так называемую

«гипотезу Геи», выдвинутой Джеймсом Лавлоком. Согласно этой идее, планета «проявляется в поведении отдельного организма, в любом живом организме». Органическое здоровье земли поддерживается децентрализованными экологическими циклами, которые взаимодействуют, формируя самоподдерживающуюся биохимическую систему^{xvii}. Если этот взгляд может быть подтвержден в аналитических деталях, то он повлечет за собой определенные последствия в отношении заботы о планете, которая скорее бы походила на сохранение здоровья человека, чем на обработку сада, в котором растения растут по отдельности.

Почему мы должны предполагать, что мировые события будут двигаться в направлении, очерченном этими различными утопическими рассуждениями? Ясно, что мы не можем сделать такого допущения, хотя все дискуссии, которые высказывают подобного рода сценарии будущего, включая и эту, могут в силу самой их природы оказать некоторое воздействие. Имманентные тенденции развития таковы, каковы они есть, и переходный период, в который будет решаться, пойдет развитие в том или ином направлении, будет длительным и сопряженным с высокочисленными рисками. Более того, события и тенденции, происходящие в рамках одного институционального измерения, могут оказывать крайне неблагоприятное воздействие на другие измерения. Каждое из них может иметь последствия, угрожающие жизни многих миллионов людей.

На рисунке 7 изображена область высокочисленных рисков, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Какие бы новые технологические изобретения ни появились (что, даже если оно благотворно для капиталистического производства, может быть опас-

но для сохранности среды или военной безопасности), должны быть конечные пределы глобального капиталистического накопления. Поскольку рынки, в определенных рамках, являются саморегулирующимися механизмами, можно справиться с некоторыми видами возрастающего дефицита (во всяком случае, на некоторый период). Но есть внутренние пределы в отношении доступных ресурсов для неограниченного накопления и «внешние эффекты», которых рынки не касаются или на которые они влияют неблагоприятно (подобно колоссальному глобальному неравенству), а это чревато серьезными социальными осложнениями.



Рис. 7. Высокочисленные риски современности

В отношении административных ресурсов тенденции к возрастающему демократическому участию имеют в качестве своей темной стороны возможности для создания тоталитарной власти^{xvii}. Усиление практик надзора обеспечивает много способов демократического участия, но также делает возможным местный контроль политической

власти, держащийся на монопольном доступе к средствам насилия в качестве инструмента террора. Тоталитаризм и современность связаны не случайно, но по самой своей природе; это, в частности, показал Зигмунт Бауман^{xcviii}. Есть множество других форм репрессивного правления, которые, если они заканчивались крахом, не доходя до стадии всеобъемлющей тоталитарной власти, реализовывали только некоторые из своих характеристик.

Другие виды опасности были достаточно освещены на предыдущих страницах. Возможность ядерного конфликта не является единственным высокозначимым риском, с которым сталкивается человечество в среднесрочном будущем применительно к индустриализации войны. Широкомасштабное военное столкновение с использованием исключительно обычных видов вооружения будет разрушительным по своим последствиям, а продолжающееся слияние науки и технологий по производству вооружений может создать другие формы вооружений, столь же смертельных, как и ядерное оружие. Возможность экологической катастрофы не так близка, как риск большого военного конфликта, но разрушительна по своим результатам. Долгосрочный необратимый вред природе значительным образом уже мог быть нанесен; вероятно, к нему относятся и явления, о которых нам пока неизвестно.

На другой стороне современности, в чем должен отдавать себе отчет каждый живущий на земле, не может быть ничего кроме «республики насекомых и травы» или скопления поврежденных и травмированных человеческих социальных обществ. Никакие провиденциальные силы не вмешаются с неизбежностью, чтобы нас спасти, и

никакая историческая телеология не гарантирует, что вторая версия постсовременности не вытеснит первую. Апокалипсис стал банальностью как конфактичность нашей повседневной жизни. Тем не менее, как и все параметры риска, он может стать реальностью.

VI

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СОВРЕМЕННОСТЬ ЗАПАДНЫМ ПРОЕКТОМ?

На всем протяжении этого исследования я говорил о «современности» безотносительно к более широким областям мира, находящимся вне орбиты так называемых развитых стран. Тем не менее, когда мы говорим о современности, мы отсылаем к институциональным трансформациям, которые имеют западное происхождение. До какой степени современность исключительно западная? Отвечая на этот вопрос, мы должны рассматривать ряд аналитически различимых особенностей современности: *национальное государство* и *систематическое капиталистическое производство*. Оба имеют свои корни в специфических характеристиках европейской истории и некоторые соответствия в предыдущих периодах или в других культурных условиях. Если в тесной взаимосвязи друг с другом они с тех пор распространились по миру, то это, помимо всего прочего, произошло из-за силы, которую они создали. Никакие другие, более традиционные социальные формы не были способны конкурировать с этой силой так, чтобы быть в состоянии сохранять полную самостоятельность и не быть затронутыми тенденциями глобального развития. Является ли современность исключительно западным проектом, если рассматривать ее в плоскости способов

жизни, поощряемых этими двумя трансформирующимися формами деятельности? На этот вопрос прямым ответом должно стать «да».

Одним из фундаментальных последствий современности, подчеркнутых этим исследованием, является глобализация. Это не просто распространение западных институтов по всему миру, в котором другие культуры подавляются. Глобализация, которая является процессом неравномерного развития, который фрагментирует и координирует, вводит новые формы мировой взаимозависимости, в которых, повторим еще раз, не существует «других». Это создает новые формы риска и опасности, но в то же время способствует далеко идущим возможностям глобальной безопасности. Является ли современность непосредственно западной, с точки зрения ее глобализационных тенденций? Нет. Этого не может быть, начиная с того, что мы говорим здесь о возникших формах мировой взаимозависимости и планетарном сознании. Тем не менее способы, с помощью которых воспринимают и решают данные проблемы, будут неизбежно включать понятия и стратегии, которые были выведены не из западных порядков. Ни радикализация современности, ни глобализация социальной жизни не являются завершенными процессами. Учитывая существующее в мире культурное разнообразие, возможны самые разные виды культурных реакций на эти институты. Движения, выводящие «за пределы» современности, происходят в глобальной системе, которая характеризуется большим неравенством благосостояния и власти, что не может не оказывать на них своего влияния.

Современность является универсализующей благодаря не только своему глобальному воздействию, но и рефлексивному знанию, которое имеет

основополагающее значение для ее динамического характера. Является ли современность в *этом* отношении исключительно западной? На этот вопрос надо ответить положительно, несмотря на определенные оговорки. Радикальный поворот от традиции, присущий рефлексивности современности, порывает не только с предшествующими эпохами, но и с другими культурами. Поскольку разум не способен дать себе предельное обоснование, нет точки зрения, утверждающей, что этот разрыв не покоится на культурных обязательствах (и власти). Однако власть вовсе не неизбежно *решает* проблемы, которые возникают в результате распространения рефлексивности современности, особенно в той мере, в которой режимы дискурсивной аргументации становятся широко принятыми и уважаемыми. Дискурсивная аргументация, включая ту, которая существенна для естественных наук, предполагает критерии, превосходящие культурные различия. Нет ничего «западного» в принятии такой аргументации как метода разрешения споров. Но кто может сказать какие пределы расширению этой приверженности могут быть установлены? Сама радикализация сомнения всегда является предметом для сомнения и, таким образом, принципом, который вызывает решительный отпор.

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Позвольте мне попытаться, в заключение, суммировать темы этого исследования. В первую очередь, в индустриальных обществах (но в некоторой степени в мире в целом) мы вошли в период высокой современности, освободившейся от своих

связей с уверенностью в традиции и того, что долго существовало как установленная «выигрышная позиция» (как для тех, кто находился «внутри», так и для других), от господства Запада. Несмотря на то, что отцы-основатели современности искали достоверность и определенность для того, чтобы заменить ими прежние догмы, современность эффективно ввела в действие институционализацию сомнения. В условиях современности все притязания на знание по своей природе циркулярны, хотя «циркулярность» имеет иной смысл в естественных науках по сравнению с науками социальными. Применительно к естественным наукам речь идет о том, что наука является чистым методом, в силу чего действительные формы «принятого знания» в принципе являются открытыми для пересмотра. Социальные науки предполагают циркулярность двоякого рода, который конститутивно фундаментален для современных институтов. Все притязания на знание, которые они производят, в принципе не только подлежат пересмотру, но и «пересматриваются» на практике постольку, поскольку они циркулируют внутри и вне той среды, которую описывают.

Современность по своему существу глобализируется и, тревожные последствия этого феномена сочетаются с циркулярностью ее рефлексивного характера, приводя к формированию вселенной событий, в которой риск и угроза обретают новый характер. Глобализационные тенденции современности одновременно экстенциональны и интенциональны — они соединяют индивидов в широкомасштабные системы в качестве сложной диалектики изменений на глобальном и на локальном полюсах. Многие феномены, на которые обычно вешается ярлык постсовременности, на

самом деле касаются опыта жизни в мире, в котором присутствие и отсутствие смещиваются друг с другом новыми историческими способами. По мере того, как циркулярность современности получает распространение, прогресс лишается содержания, и на побочном уровне степень повседневного внутреннего информационного потока, включенная в жизнь в «одном мире», может иногда быть ошеломляющей. Однако это *не* является выражением культурной фрагментации или же растворением предмета в «мире знаков» с отсутствующим центром. Это — процесс одновременной трансформации субъективности и глобальной социальной организации, происходящий на тревожном фоне высокочащиваемых рисков.

Современности присуща ориентированность на будущее, так что «будущее» имеет статус контрфактического моделирования. Хотя можно указать на наличие других причин, это является тем фактором, на котором я буду основывать понятие утопического реализма. Ожидания будущего стали частью настоящего, устанавливая, таким образом, новую границу того, как в действительности развивается будущее; утопический реализм объединяет «открытие окон» в будущее с анализом текущих институциональных тенденций, посредством которых политическое будущее имманентно представлено в настоящем. Здесь мы вернулись к теме времени, которой открывалась эта работа. На что мог быть похож постсовременный мир в смысле трех факторов, лежащих в основании динамической природы современности? Ведь если в один прекрасный день современные институты будут преодолены, то и источники динамизма современности изменятся принципиально. Несколько комментари-

ев по поводу этой позиции будет достаточно для моего заключения.

Построения утопического реализма прямо противоположны как рефлексивности, так и темпоральности современности. Утопические установки или ожидания устанавливают отправную точку для будущего положения дел, которое блокирует бесконечно открытый характер современности. В постсовременном мире время и пространство больше не будут упорядочены в их отношении к историчности. Будет ли этот мир включать возрождение некоторой формы религии или чего-то другого, об этом сложно говорить, однако снова будет иметь место обновленная устойчивость определенных аспектов жизни, напоминающая некоторые признаки традиции. Подобная устойчивость будет, в свою очередь, создавать основу для чувства онтологической безопасности, подкрепленной осведомленностью о социальном универсуме, подчиненном человеческому контролю. Это не будет миром, распадающимся на децентрализованные организации, но речь, несомненно, будет идти о сложном взаимодействии локального и глобального. Будет ли подобный мир включать радикальную реорганизацию пространства и времени? Похоже на то. Однако, рассуждая подобным образом, мы разрываем связь между утопическими предположениями и реализмом. А это уже выходит за пределы исследования данного типа.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ⁱ Jean-Francois Lyotard, *The Post-Modern Condition* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985).
- ⁱⁱ Jürgen Habermas, *The Philosophical Discourse of Modernity* (Cambridge, Eng.: Polity, 1987).
- ⁱⁱⁱ Anthony Giddens, *The Nation-State and Violence* (Cambridge, Eng.: Polity, 1985).
- ^{iv} Anthony Giddens, *The Constitution of Society* (Cambridge, Eng.: Polity, 1984), ch. 5.
- ^v Anthony Giddens, *A Contemporary Critique of Historical Materialism* (London: Macmillan, 1981).
- ^{vi} Giddens, *Nation-State and Violence*.
- ^{vii} William McNeill, *The Pursuit of Power* (Oxford: Blackwell, 1983).
- ^{viii} См. статистику, представленную в: Ruth Leger Sivard, *World Military and Social Expenditures* (Washington, D.C.: World Priorities, 1983).
- ^{ix} Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe, Ill.: Free Press, 1951).
- ^x Я разъяснил причины этого в *Constitution of Society*.
- ^{xi} Anthony Giddens, *New Rules of Sociological Method* (London: Hutchinson, 1974); *Constitution of Society*.
- ^{xii} Eviatar Zerubavel, *Hidden Rhythms: Schedules and Calendars in Social Life* (Chicago: University of Chicago Press, 1981).
- ^{xiii} Stephen Kern, *The Culture of Time and Space 1880—1918* (London: Weidenfeld, 1983).
- ^{xiv} Giddens, *The Constitution of Society*.
- ^{xv} Критику функционализма см. в: Anthony Giddens, "Functionalism: après la lutte," в книге *Studies in Social and Political Theory* (London: Hutchinson, 1977).
- ^{xvi} Karl Marx, *Grundrisse* (Harmondsworth: Penguin, 1973), pp. 141, 145, 166—167.
- ^{xvii} Georg Simmel, *The Philosophy of Money* (London: Routledge, 1978).

ПРИМЕЧАНИЯ

- xviii Leon Walras, *Elements of Pure Economics* (London: Allen and Unwin, 1965).
- xix J.M. Keynes, *A Treatise on Money* (London: Macmillan, 1930).
- xx См.: Alvaro Cencini, *Money, Income And Time* (London: Pinter, 1988).
- xxi Simmel, *Philosophy of Money*. pp. 332—333.
- xxii Cencini, *Money, Income And Time*.
- xxiii R.S. Sayers, "Monetary Thought and Monetary Policy in England," *Economic Journal*, Dec. 1960; цит. по Cencini, *Money, Income And Time*, p. 71.
- xxiv Simmel, *Philosophy of Money*. p. 179.
- xxv Eliot Freidson, *Professional Powers: A Study in the Institutionalization of Formal Knowledge* (Chicago: University of Chicago Press, 1986).
- xxvi В следующей ниже дискуссии я опираюсь на многочисленные неопубликованные материалы, касающиеся доверия, предоставленные мне Дейрдрой Боден. Ее идеи имеют большое значение для взглядов, развиваемых мною в этом разделе, да и, фактически, для книги в целом.
- xxvii Niklas Luhmann, *Trust and Power* (Chichester: Wiley, 1979); Luhmann, "Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives" в сборнике Diego Gambetta, ed., *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations* (Oxford: Blackwell, 1988).
- xxviii Luhmann, "Familiarity," p. 97.
- xxix *Ibid.*, p. 100.
- xxx Diego Gambetta: "Can We Trust Trust?" в Gambetta, *Trust*. См. также важную статью John Dunn, "Trust and Political Agency," опубликованную в том же сборнике.
- xxxi Giddens, *New Rules*.
- xxxii Karl Popper, *Conjectures and Refutations* (London: Routledge, 1962), p. 34.
- xxxiii Giddens, *Constitution of Society*, ch. 7.
- xxxiv Daniel Bell, *The Coming of Post-Industrial Society* (London: Heinemann, 1974).
- xxxv Cp. Gianni Vattimo, *The End of Modernity* (Cambridge, Eng.: Polity, 1988).

ПРИМЕЧАНИЯ

- xxxvi В литературе представлены многочисленные дискуссии о том, до какой степени постсовременность следует рассматривать всего лишь как расширение современности. Раннюю их версию см. в: Frank Kermode, "Modernisms," в его книге *Continuities* (London: Routledge, 1968). Более поздние обсуждения этого вопроса см. в сборнике Hal Foster, ed., *Postmodern Culture* (London: Pluto, 1983).
- xxxvii См.: Claude Lévi-Strauss, *The Savage Mind* (Chicago: University of Chicago Press, 1966).
- xxxviii Ср. Hans Blumenberg, *Wirklichkeit in denen wir leben* (Stuttgart: Reclam, 1981).
- xxxix Michel Foucault, *Discipline and Punish* (London: Allen Lane, 1977).
- xl Karl von Clausewitz, *On War* (London: Kegan Paul, 1908).
- xli Giddens, *Contemporary Critique*. ch. 7.
- xlii Daniel Bell, "The World and the United States in 2013," *Daedalus* 116 (1987).
- xliii См., например: James N. Rosenthau, *The Study of Global Interdependence* (London: Pinter, 1980).
- xliv Immanuel Wallerstein, *The Modern World System* (New York: Academic, 1974).
- xlv Immanuel Wallerstein, "The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis," в его книге *The Capitalist World Economy* (Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1979), p. 19.
- xlvi Эта диаграмма (и сопровождающая ее дискуссия) замещают собой ту, что можно найти на с. 277 книги *Nation-State and Violence*.
- xlvii H. J. Morgenthau, *Politics Among Nations* (New York: Knopf, 1960).
- xlviii Однако Клаузевиц был тонким мыслителем, и существуют интерпретации его взглядов, продолжающие настаивать на их актуальности.
- xliv Max Nordau, *Degeneration* (New York: Fertig, 1968), p. 39; оригинальное издание вышло в 1892 г.
- ¹ Georg Simmel, "The Stranger", в его работе *Sociology* (Glencoe, Ill.: Free Press, 1969). См. также: Alfred Schutz, "The Stranger: An Essay in Social Psychology", *American Journal of Sociology* 49 (1944).

ПРИМЕЧАНИЯ

- ⁱ **Erving Goffman**, *Behaviour in Public Places* (New York: Free Press, 1963). Рассматривая эту проблему более детально с точки зрения отношений доверия, Алан Сильвер (Alan Silver) говорит о «сложившейся повседневной благожелательности» по отношению к чужакам. См. его "Trust in Social and Political Theory", в: Gerald D. Suttles and Mayer N. Zald, eds., *The Challenge of Social Control* (Norwood, N. Y. Ablex, 1985).
- ⁱⁱ **Deirdre Boden**, "Papers on Trust", mimeo. Я воспользовался также работой: Deidre Boden and Harvey Molotch, "The Compulsion of Proximity", mimeo (Dept. of Sociology, University of California, Santa Barbara).
- ^{liii} **Anthony Giddens**, *Central Problems in Social Theory* (London: Macmillan, 1976).
- ^{liv} **R. D. Laing**, *The Divided Self* (London: Tavistok, 1960).
- ^{lv} Все цитаты приведены по работе: Erik H. Erikson, *Childhood and Society* (Harmondsworth: Penguin, 1974), pp. 239–241.
- ^{lvi} **D. W. Winnicott**, *Playing and Reality* (Harmondsworth: Penguin, 1965), pp. 116–121. Я многим обязан Терезе Бренан тем, что она привлекла мое внимание к исследованию Винникоттом объектных отношений, а также ее советам по многим разделам этой книги.
- ^{lvii} **Erving Goffman**, *Where the Action Is* (London: Allen Lane, 1969).
- ^{lviii} **Giddens**, *Central Problems*.
- ^{lix} **Harold Garfinkel**, "A Conception of and Experiments with 'Trust' as a Condition of Stable Concerted Action", in O. J. Harvey, ed., *Motivation and Social Interaction* (New York: Ronald Press, 1963).
- ^{lx} **Sigmund Freud**, *The Future of an Illusion* (London: Hogart, 1962).
- ^{lxi} **Erik H. Erikson**, *Childhood and Society*. P. 242.
- ^{lxii} **Donald L. Patrick and Graham Scambler**, eds., *Sociology as Applied to Medicine* (New York: Macmillan, 1982).
- ^{lxiii} См.: **Joshua Meyrowitz**, *No Sense of Place* (Oxford: Oxford University Press, 1985); **D. Sack**, "Consumer's World: Place as Context", *Annals of the Association of American Geographers* 78 (1988).

ПРИМЕЧАНИЯ

- lxiv Peter Berger, *The Homeless Mind* (New York: Random House, 1973).
- lxv Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action*, vol. 2 (Cambridge: Polity, 1987).
- lxvi Max Horkheimer, *Critique of Instrumental Reason* (New York: Seabury, 1974), p. 94.
- lxvii Claude Fischer, *To Dwell Among Friends* (Berkeley: University of California Press, 1982).
- lxviii Sack, *Consumer's World*, p. 642.
- lxix По этому вопросу см.: Silver, "Trust"; Alan Silver, "Friendship in Social Theory: Personal Relations in Classical Liberalism", mimeo (Dept. of Sociology, Columbia University); Graham Allan, *A Sociology of Friendship and Kinship* (London: Allen & Unwin, 1979).
- lxx Ulrich Beck, "The Anthropological Shock: Chernobyl and the Contours of the Risk Society", *Berkeley Journal of Sociology* 32 (1987).
- lxxi Lawrence Stone, *The Family, Sex and Marriage in England 1500—1800* (London: Weidenfeld, 1977), p. 282.
- lxxii Christopher Lasch, *Haven in a Heartless World* (New York: Basic, 1977), p. 140. См. также его работу *The Minimal Self* (London: Picador, 1985), в которой формулировка нарциссизма заостряется еще больше, а тема «выживания» получает дальнейшее развитие.
- lxxiii Ulrich Beck, *Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne* (Frankfurt: Suhrkamp, 1986), p. 7.
- lxxiv Owen Green et al., *Nuclear Winter* (Cambridge, Eng.: Polity, 1985).
- lxxv См.: Beck, *Risikogesellschaft*.
- lxxvi Joe Bailey, *Pessimism* (London: Routledge, 1988).
- lxxvii A. J. Jouhar, ed., *Risk in Society* (London: Libbey, 1984); Jack Dowie and Paul Lefrere, *Risk and Chance* (Milton Keynes: Open University Press, 1980).
- lxxviii См.: W. Warren Wagar, *Terminal Visions* (Bloomington: University of Indiana Press, 1982).
- lxxix Carolyn See, *Golden Days* (London: Arrow, 1989), p. 126.
- lxxx Robert Jay Lifton and Richard Falk, *Indefensible Weapons* (New York: Basic Books, 1982).
- lxxxi Susan Sontag, *AIDS and Its Metaphors* (Harmondsworth: Penguin, 1989).

ПРИМЕЧАНИЯ

- lxxxii Raymond Williams, *Toward 2000* (London: Chatto, 1983).
- lxxxiii Dorothy Rowe, *Living with the Bomb* (London: Routledge, 1985).
- lxxxiv См., например: J. L. Simon and H. Kahn, *The Resourceful Earth* (Oxford: Blackwell, 1984).
- lxxxv См.: Bailey, *Pessimism*.
- lxxxv Clifford Geertz, *Local Knowledge* (New York: Basic Books, 1983).
- lxxxvi Saul Bellow, *Herzog* (Harmondsworth: Penguin, 1964), p. 323.
- lxxxvii Theodore Roszak, *Person/Planet: The Creative Disintegration of Industrial Society* (London: Gollanz, 1979), pp. xxviii, 33.
- lxxxviii Alberto Melucci, *Nomads of the Present* (London: Hutchinson Radius, 1989).
- lxxxix Ian Miles and John Irvine, *The Poverty of Progress* (Oxford: Pergamon, 1982).
- xc William Ophulus, *Ecology and the Politics of Scarcity* (San Francisco: Freeman, 1977).
- xci Объяснение этому было дано в работе: Giddens, *Nation-State and Violence*.
- xcii Robert A. Dahl, *Polyarchy* (New Haven: Yale University Press, 1971), pp. 1–2.
- xciii См.: David Held, *Models of Democracy* (Cambridge, Eng.: Polity, 1987).
- xcv Jacques Ellul, *The Technological Society* (London: Cape, 1965), p. 89.
- xcvi Martine Large, *Social Ecology: Exploring Post-Industrial Society* (Gloucester: Hawkins, 1981), p. 14.
- xcvii Giddens, *Nation-State and Violence*, ch. II.
- xcviii Zygmunt Bauman, *Modernity and the Holocaust* (Cambridge, Eng.: Polity, 1989).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Александр, Джеффри 80, 84–85
Аптер, Дэвид 84
- Бауман, Зигмунт 98, 320
Бек, Ульрих 257, 263, 270
Белл, Дэниел 165
Беллоу, Сол 288
Бергер, Питер 56, 261
Бёрк, Питер 84
Блэр, Энтони 105
Болтански, Люк 84
Бурдые, Пьер 80, 84
- Валлерстайн, Иммануил 43, 190, 193–195
Вальрас, Леон 138
Вебер, Макс 9, 13–14, 32, 86, 118, 120, 122–124, 134, 242, 277–278
Винникотт, Дональд Вудс 228
Вирт, Луис 252
Витгенштейн, Людвиг 80, 228
- Гарфинкель, Гарольд 230
Гелен, Арнольд 251
Гидденс, Энтони 7–106
Гирц, Клиффорд 84, 286
Гольдман, Люсьен 96
Гофман, Ирвинг 154, 209, 210, 211, 215, 229
- Грей, Джон 98
- Декарт, Рене 91–92, 96
Дуглас, Мэри 84
Дюркгейм, Эмиль 9, 21, 33, 86, 87, 118, 120, 122–125, 160–161, 278
- Зелизер, Вивианна 84
Зиммель, Георг 86, 137, 139, 141–142, 145–146, 208
- Зонтаг, Сьюзан 274
- Кейнс, Джон Мейнард 138, 139–140, 142
Клаузевиц, Карл 181, 202, 330
Клинтон, Билл 105
- Лавлок, Джеймс 318
Лакан, Жак 227
Ламон, Мишель 84
Леви-Строс, Клод 170, 238
Лиотар, Жан-Франсуа 112, 116, 294
Луман, Никлас 53, 137, 146–149
Лэш, Кристофер 258, 260, 274, 288
- Макинтайр, Аласдер 98

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- | | |
|--|--|
| <p>Маклюэн, Маршалл 190</p> <p>Маркс, Карл 9, 13, 33,
115, 118, 120, 122–124,
128, 137, 166, 170, 184–
185, 277–278, 298–299,
303, 305, 310</p> <p>Мештрович, Степан 82–
83, 85</p> <p>Монтень, Мишель 96</p> <p>Моргентау, Ханс 199</p> <p>Мюнх, Рихард 102–104</p> <p>Ницше, Фридрих 166–
167, 169</p> <p>Парсонс, Толкотт 14, 126,
137, 140</p> <p>Резерфорд, Эрнест 120</p> <p>Рисмен, Дэвид 83</p> <p>Роззак, Теодор 301</p> <p>Роув, Дороти 275</p> <p>Сартр, Жан-Поль 170</p> <p>Сен-Симон, Анри 123</p> <p>Стоун, Лоуренс 258–259</p> <p>Сэк, Роберт 253</p> | <p>Тевено, Лоран 84, 86–87</p> <p>Тёрнер, Брайан 84</p> <p>Трельч, Эрнст 86</p> <p>Трифт, Найджел 80</p> <p>Тэйлор, Чарльз 79, 87</p> <p>Уильямс, Раймонд 274</p> <p>Уэллс, Герберт 120–121</p> <p>Фишер, Клод 252</p> <p>Фрейд, Зигмунт 237</p> <p>Фуко, Мишель 35–36, 89,
180</p> <p>Хабермас, Юрген 14, 106,
251, 278, 285</p> <p>Хайдеггер, Мартин 80,
166</p> <p>Хайек, Фридрих фон 103</p> <p>Хобсбаум, Эрик 70</p> <p>Хоркхаймер, Макс 252</p> <p>Штомпка, Петр 50</p> <p>Эриксон, Эрик 225–227,
237, 249</p> |
|--|--|

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абстрактные системы**
(abstract systems) 5,
6, 18, 23–25, 29–30,
47, 49, 51, 54–55, 101,
208, 212–214, 217–221,
232, 236, 247–250, 254,
256, 281, 284, 286, 290,
293–294, 297
- Автономия**
— государства 193
— действия 72, 75, 228
— местная 190
- Авторитаризм** 310–311
- Авторитет** 56, 63, 70, 86,
95, 98, 181
- Адаптивные реакции**
274–277
- «Аффективный индивидуализм» (Лоренс Стоун)**
258
- Безопасность, онтологическая (ontological security)** 8–49, 54, 67,
94, 118, 153, 222–223,
225, 229–230, 232–233,
235, 239, 241–242, 245,
249, 262, 270–271, 279,
281, 289
- Бюрократия** 103, 124,
134, 251, 278
- Вежливое невнимание**
(civil inattention)
209–210, 217–218, 231
- Вера и доверие** 24–25,
46–49, 102–104, 141–145,
150–153, 208–216,
220–223, 236–237, 270
- Взаимодействие на расстоянии (interaction across distance)** 20, 40,
44, 46, 188
- Власть** 35–37, 39, 41, 50,
95, 99, 101, 119–120, 137,
160, 180–181, 184, 186,
196–197, 211, 241, 258,
261, 293, 296–298, 305,
307–308, 314, 320, 324
- Вовлеченность**
(engagement) 40, 188,
280, 288, 299–300, 303
- Военная мощь** 39, 120–121,
172, 180–182, 187, 199,
201, 203, 315–316
- Война** 37, 120–121, 147,
181–182, 191, 193, 200,
202, 245, 254, 315–316
— и индустриализация
методов ее ведения
10, 38–39, 181, 183,
201, 245, 305, 316, 320
— термоядерная 50,
182, 202–203, 213,
224, 236, 262–263,

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- 265, 266, 271,
288–289, 306
- Выбор жизненного стиля и форм идентичности** 55–58, 60, 63, 65, 98–101, 297
- Высвобождение** 5, 19, 22–24, 29, 130, 134, 135–137, 139, 141, 144, 171, 174, 175, 187, 207, 208, 212, 257, 262, 264, 266, 286, 294
- Гендер и гендерные отношения** 306–307
- Глобализация** 5, 11, 39–46, 50, 54, 76, 78, 110, 173, 187–191, 197, 200–202, 205, 257, 302, 308, 315, 323, 325
— культурная 205–206
— риска 50–51, 262–264
- Глобальный политический порядок** 106, 198, 315
- Гражданское общество** 75, 252
- Движение борцов за мир (peace movement)** 304–307
- Двойная герменевтика** 31, 106, 128, 176
- «Двойная революция» (Эрик Хобсбаум)** 70
- Демократические движения** 63, 66, 304
- Демократия** 63, 76, 314–315
- Деньги** 24, 43, 136–142, 248, 284
- Детство** 48, 225, 240
- Диалектика локального и глобального (dialectics of the local and global)** 134–135, 260–261, 300–301, 327
- Диалогическая демократия** 76
- Дистанциация пространства-времени** 18, 22, 25, 40, 126, 131–135, 145, 155, 187–188, 207, 217, 233, 243, 248, 257, 281
- Доверие** 5–6, 24–25, 46–49, 54, 56, 58, 75, 102–104, 118, 130, 141–153, 175–176, 207–216, 218–222
— активное (active trust) 75
— базовое (basic trust) 226, 230–232, 249, 255
— и абстрактные системы 175, 211–218, 248
— и личные отношения 249–255
— и онтологическая безопасность 222–232, 248–249
— и тождество личности 256–261
— к безличным принципам 256
- Доверительность (trustworthiness)** 212, 216–217, 226

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Досовременные культуры** 232–246
 — и доверие в досовременных культурах 233–237
Дружба 252, 253–255
Защитный кокон (protective cocoon) 48
Знание, социологическое 7, 79, 87, 122, 128–129, 246
 — и его рефлексивное усвоение 26–28, 30–32, 155, 156–158, 162–163, 174–175, 212, 296–297, 324–325
 — и сомнение 31–32, 166–168
 — слабое индуктивное 142, 152, 175, 220
 — экспертное 18, 24, 25, 142–145, 213, 216, 219, 273, 286
Жизненная политика (life politics) 68, 72–73, 75, 300–301, 308, 311
Жизненные шансы (life chances) 72, 262, 290, 311, 315
Жизненный цикл (life span) 58, 68
Жизненный стиль (life style) 45, 51, 55–57, 60, 62, 65, 67, 97–100, 102, 165, 227, 312
Измерения глобализации 195–206
Индивидуализм 95, 118
Индустриализм 10, 33–35, 37–39, 118, 123, 177–178, 181, 183–185, 204–205, 303
Институты 12, 14–15, 17, 22–24, 27–28, 39, 41–43, 46, 65, 68, 81–83, 117, 123–124, 127–130, 134, 141–142, 152, 158, 162, 165, 172–174, 206, 207, 212, 220, 248, 251, 257, 259–260, 280, 292, 297, 302, 303–304, 322, 325, 326
Институциональные измерения современности 177–190
Интеграция 99
Интимность (intimacy) 61
 — и ее трансформация 249–250, 257–261
Историчность 170, 327
Капитализм 8, 10, 17, 23, 33, 35, 37–38, 74, 104–105, 122, 124, 166, 177, 179–180, 182, 184–186, 194, 198, 251, 279, 303, 304, 306, 310
Коммуникация 19, 42–43, 205
Конструирование «Я» в качестве рефлексивного проекта 54–60, 62, 87–90, 93, 97–98, 101, 249, 259, 261
Контроль, административный 10, 13–14, 21, 29, 35–36, 128–129, 160, 162, 180, 184, 186, 191–193, 197

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Конфликт** 36, 50, 72, 78,
 118, 121, 202, 233, 242,
 245, 291, 320
- Критическая теория**
 299–300
- Локальная вовлеченность**
 (local involvements)
 18–20, 22, 40, 46, 188,
 233–236, 247, 272
- Любовь** 61, 63–65, 97, 151,
 226, 285
 — романтическая
 258–259
- Международное разделе-**
ние труда 41, 45–46,
 193, 197, 203, 262
- Механизмы высвобожде-**
ния 18–19, 22–25, 38,
 43, 48, 54, 124, 136–137,
 141, 144–145, 171, 174,
 208, 212, 242, 282–283
- Мировая капиталистичес-**
кая экономика 42–43,
 194–196, 198
- «Мировое правительство»**
 315
- Мировой военный порядок**
 45, 197, 201–202, 245
- Монополия государства на**
средства осуществле-
ния насилия 10, 21,
 36, 38, 181, 183, 201,
 241, 320
- Надзор** 10, 18, 21, 35–38,
 180, 182–184, 304–305,
 314, 320
- Нарциссизм** 260
- Наука** 28, 32, 110,
 112–113, 127, 129, 158,
 164, 219, 276, 325
- Национальное государство**
 (nation-state) 10, 17,
 20–21, 34–35, 37–39, 79,
 92, 117, 120, 123,
 126–127, 138, 180, 182,
 184, 186, 189–192,
 194–196, 198–201, 291,
 300, 310, 314–316, 322
- Недоверие** 102–104, 153,
 176, 231–232
- Непредвиденные послед-**
ствия 147
- Неравенство** 70–71, 74,
 300
 — власти 297
 — между бедными и
 богатыми государ-
 ствами 302, 311,
 319, 323
- Новое усвоение (reembed-**
ding) 207–208, 216–217,
 221, 280, 283, 285–291
 — дружба как пример
 нового усвоения
 255
- Общество (society)** 8, 12,
 14, 16–21, 24–26, 30–31,
 33, 36–37, 39, 46–49,
 52–57, 62, 64, 73–75,
 79–82, 85, 87–88, 90, 92,
 94, 100, 102, 103, 106,
 111–112, 122, 124–127,
 132, 135, 137, 160,
 164–165, 186, 193, 213,
 250, 300, 310, 321, 324
 — капиталистическое
 178–180
- Обязательства** 46–47,
 208–212

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- безличные (faceless commitments) 208, 217
- личные (facework commitments) 208, 214, 216, 218
- Онтологическая безопасность (ontological security) 6, 48–49, 51, 54, 67, 94, 222–232, 242, 245, 248, 270, 279, 281, 327
- Организация, рациональная 17, 22, 37, 124, 134, 172, 251, 270, 278
- Организация Объединенных Наций (ООН) 200
- Освободительная политика (emancipatory politics) 70–72, 74, 300–301, 308
- Отсутствие связи с определенным местом (displacement) 280–282
- Переходное пространство (potential space) 228
- Повседневная жизнь 6, 11, 42, 46, 48–49, 52–55, 61, 67–69, 104, 115, 131, 155, 204, 207, 209, 230, 241, 247–249, 253, 256, 260–261, 271–272, 275, 283, 285–291, 321
- Поддерживающий оптимизм (sustained optimism) 275–276
- Постдефицитная система 110, 309, 310–312
- Постиндустриальное общество 112, 164
- Постмодернизм 112, 164–165
- Постсовременность 5, 6, 85, 105, 112–114, 116, 164–167, 173, 292–293, 292–293, 308–321
- Постструктурализм 228, 292
- Прагматическое принятие 220, 274–276, 280, 288, 290–291
- Преступность и секвестр опыта 51, 67
- Приватность (privatism) 280, 291
- Природа 10, 12, 15, 17, 30, 31, 43, 55, 59, 67–68, 70–72, 79, 93, 148, 183–184, 236, 241, 244, 265
- Проблема порядка 126
- Пространство и время 17–25, 40–46, 126, 130–136, 140, 144, 150, 154, 155, 174–175, 187, 228, 229, 233–234, 236–238, 242, 256, 280–281, 284, 294, 327
- Процесс капиталистического накопления 179, 312, 316
- Профиль риска (risk profile) современности 49–50, 244–245, 251, 265, 268, 274
- Психоанализ 227, 237
- Рабочее движение 303–304, 306
- Разделение труда 41, 45–46, 50, 118, 124, 203, 262

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Религия** 51, 86–87, 88–89, 99–100, 151, 168, 234–238, 241–242, 244, 246, 260, 262, 268, 302, 305
- Рефлексивность, институциональная** (institutional reflexivity) 5, 26–27, 30, 32, 56, 59–60, 66, 72, 77, 84, 90, 128, 153–157, 161, 164, 169, 171, 199, 212, 223, 237, 259, 291, 296, 298, 307, 324,
- Рефлексивный проект «Я»** 54–55, 58–59, 62, 87–90, 93, 97–98, 249, 261, 307
- Риск** 16, 48–50, 53, 118, 146–149, 151–153, 175, 207, 213, 216, 224, 236–237, 242, 245–246, 260–274, 279, 318–321, 323, 325
- в досовременном мире 239–241
- высокозначимый (high-consequence risk) 299–300, 302, 306, 308, 318, 326
- глобализация 262
- и онтологическая опасность 270–273
- и опасность в современном мире 261–269
- Романтическая любовь** 258–259
- Рутина** 48, 54, 67, 213, 230–238, 281, 283, 286
- Рынки как саморегулирующиеся механизмы** 198, 262, 267, 310–311, 319
- Самоактуализация** (self-actualisation) 261, 302
- Самоидентичность** (self-identity) 57–60, 69, 90, 223, 226, 229, 249, 259–260
- Секвестр опыта** (sequestration of experience) 66–68
- Сексуальность** 61–63, 65, 67, 97, 252–253
- Секуляризация** 86–87, 92, 244
- Символические знаковые системы** (symbolic tokens) 23–24, 62, 136, 141, 144, 150, 175, 208, 212, 220
- Системы родства** 233–234, 236, 242–243, 252–255, 257
- Современность** 7–106, 111–130, 140–141, 150–152, 154–158, 164–175, 177, 180, 183–186, 188, 190, 192, 196, 199, 200, 202, 205, 207, 209–210, 217, 220, 223, 233, 236–237, 239, 242–243, 246, 248–250, 257, 259, 260–261, 270, 274, 276, 278–279, 280, 282–285, 287, 290–293, 296–298, 300–302, 308, 314, 320, 322–323, 324–327
- поздняя, или высокая 12, 49, 59–60, 83, 87, 97, 292–293, 308, 324–325

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- как сокрушительная сила 12–14
- Созданная среда (created environment) 68, 184, 262, 306, 316–317
- Сознание 32, 51, 74, 93, 96, 98, 323
 - практическое 211, 230–231
- Сомнение 32, 56, 324–325
- Сообщества 18, 21, 78, 92, 96–97, 114, 127, 154, 208, 234, 236, 240, 243, 250–254, 282
- Социализация 48, 51, 218
- Социализм 8, 105, 166, 198, 310
- Социальная теория 7–10, 12, 14, 29, 37, 122
- Социальные движения 69, 72, 76, 105, 166, 173, 303–308
- Социальные системы 19, 124–127, 136, 179, 310–311
- Социология 7, 9, 16, 28, 33, 81, 114, 118–121, 158
 - и современность 122–125, 128–129, 160, 162, 277–278
- Судьба 28, 147, 150, 162, 246, 272–273, 302
- «Сфокусированное взаимодействие» (Гофман) 211
- Тело, телесность 59–60, 62, 72, 90–91, 101, 209, 231
- Теория международных отношений 10, 45–46, 190–192, 195, 200
- Теория мировой системы 193–195
- Теория структуризации 7, 9–10, 81, 85, 100–101
- Технология 27, 29, 34–36, 38–39, 49, 68, 70, 121, 124, 151, 156, 158, 162, 178–179, 183, 185, 202, 204, 290, 316–317, 319–320
- Товаризация средств производства 18
- Тоталитаризм и современность 119–120, 320
- Тоталитарная власть 119, 320
- Точки доступа абстрактных систем 47, 212–215, 218, 221, 250, 287
- Традиция 12, 16–19, 31–39, 49, 55, 68, 70–72, 75, 80–85, 87–88, 97–99, 122, 124, 153–156, 169, 174, 236, 244, 324–325, 327
 - в досовременных культурах 238–239
- Утопический реализм (utopian realism) 73–75, 297–302, 307
- Утрата и новое обретение навыков в повседневной жизни 285–291
- Феминистское движение 72, 301, 306–307
- Фундаментализм, религиозный 99, 302

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Цивилизация** 17, 21, 23,
36, 49, 85, 87, 117, 127,
135–136, 140, 172,
180–181, 183, 233
- Циничный пессимизм**
(cynical pessimism) 276
- Циркулярность социально-
го знания** 296–297, 325
- Частная сфера** 66,
250–251
- Чистые отношения** (pure
relationships) 63–66
- Экзистенциальное беспо-
койство и тревога**
(existential anxiety) 48,
225, 229, 231–232,
241–242, 279, 288–289
- Экзистенциальные вопросы**
66–69, 94, 244
- Экологические угрозы**
50–51, 149, 153, 204,
214, 244, 263, 265, 275,
317–318, 320
- Экологическое движение**
69, 72, 304, 306, 317
- Экспертиза** 23, 143, 212,
215–216, 262, 269, 278,
280, 286–287
— и доверие 218–221
- Экспертные системы** (ex-
pert systems) 23–25,
56, 113, 141–145, 150,
162, 164, 175, 208,
212–215, 220, 247, 262,
269–270, 286
- Язык** 137, 146–147

В издательстве «ПРАКСИС» готовится к выходу:

Карл Шмитт

Политический романтизм

Работа «Политический романтизм» (1919/1925) немецкого юриста и теоретика права Карла Шмитта (1888—1985) посвящена рассмотрению политического романтизма — одного из течений немецкой консервативной традиции, оформившегося в начале XIX в. и представленного прежде всего такими мыслителями, как Адам Мюллер и Фридрих Шлегель. В своей работе Шмитт предпринял попытку понять политический романтизм как своеобразное духовно-историческое явление немецкой и европейской политики и культуры, а также охарактеризовать те социальные и культурные условия европейской жизни, которые способствовали его появлению. В центре внимания Шмитта находится фигура политического романтика — одного из трех, наряду с представителями культурной богемы и либеральной буржуазии — недалеких и безвольных социальных персонажей той классовой борьбы, которую партия Революции и Прогресса вела против партии Порядка на подмостках «Старой Европы» в XIX в. Шмитт показывает, что пресловутая ироническая бесстрастность политического романтика вытекает из его пассивно-созерцательного отношения к происходящим вокруг событиям, под которым всегда скрывается страх перед серьезным политическим выбором. Несмотря на то, что книга Шмитта написана почти сто лет тому назад, многие как западные, так и российские интеллектуалы, претендующие на статус «властителей дум», прочитав эту книгу, могли бы неприятно удивиться, увидев в ней — как в зеркале — самих себя.

В издательстве «ПРАКСИС» готовится к выходу:

Пьер Бурдьё

**Обывательское искусство.
Очерк социальных способов
использования фотографии**

Книга известного французского социолога Пьера Бурдьё «Обывательское искусство. Очерк социальных способов использования фотографии», впервые увидевшая свет в 1965 году, посвящена анализу различных способов исследования фотографии в современном, прежде всего французском, обществе. Обычно занятие фотографией считается частным и притом интимно-личным занятием отдельных индивидов и семей. Однако в действительности, как показывает в своем исследовании Бурдьё, нет ни одного жанра повседневного искусства, которое в столь значительной степени определялось бы социальными практиками и формами жизни, как фотография. Особое внимание в работе уделяется социальным функциям, исполняемым жанром фотографии в современном обществе. Публикация перевода работы Пьера Бурдьё «Фотография: обывательское искусство» позволит представить творчество замечательного французского социолога с новой, непривычной для российского читателя стороны.

В издательстве «ПРАКСИС» готовится к выходу:

Бруно Латур

**Политики природы:
Как пропустить науку в демократию**

Книга «Политики природы: Как пропустить науку в демократию» известного французского социолога Бруно Латура предлагает новый взгляд на идею политической экологии, в практическом развитии которой на сегодняшний день, по мнению автора, наблюдается серьезный застой.

Как засыпать тот, казалось бы, непреодолимый ров, разделяющий науку, задача которой — понять природу и политику, задача которой — регламентировать общественную жизнь? Последствия данного разделения — проблемы безопасности переливания крови, промышленного использования асбеста, эпидемий коровьего бешенства — становятся все более и более катастрофическими. Политическая экология предпринимает попытку дать ответ на этот вопрос. Но едва ли ей удастся обновить общественную жизнь...

Природа всегда находилась на одном из двух полюсов общественной жизни, в то время как другой занимала политика — игра страстей и интересов. С одной стороны находится то, что нас объединяет, — природа, а с другой — то, что нас разъединяет, — политика. Поэтому было бы неверно утверждать, что политическая экология будет всецело посвящена заботам о природе. В силу противоречивых взглядов на природу, исходящих со стороны науки, в силу ненадежности определяемых природой ценностей, политическая экология должна перестать рассматривать природу как способ организации общественной жизни.

В издательстве «ПРАКСИС» готовится к выходу:

Рене Декарт

Человек

Сочинение Декарта «Человек» занимает особое место в наследии великого французского философа. Рукопись этого произведения не публиковалась при жизни мыслителя, она была найдена уже после его смерти среди других его бумаг. В этой работе Декарт излагает свои антропологические идеи: воззрения на природу человеческого тела как машины, на особенности его строения и основные функции. Произведение является не только ярким проявлением гения величайшего французского философа, но и важнейшим документом по истории французской и европейской науки Нового времени. Работа «Человек», — единственная из основополагающих философских и научных работ мыслителя, которая никогда не публиковалась на русском языке. Публикация ее перевода, в сочетании с научно-аналитическим комментарием к тексту, посвященному анализу основных антропологических идей французского философа, позволит заполнить этот досадный пробел.

В издательстве «ПРАКСИС» готовится к выходу:

Джеффри Александер

Смыслы социальной жизни:

Социология культуры

В своей работе «Смыслы социальной жизни» один из крупнейших американских социологов, сторонник структурного неофункционализма Джеффри Александер (р. 1947) предлагает нестандартный взгляд на место и значение культуры в современном мире. Оспаривая широко распространенный взгляд, согласно которому современность представляет собой мир, в котором безраздельно господствуют принципы инструментальной рациональности, экономической эффективности и технической пользы, он показывает, что за фасадом инструментально манипулируемого общества скрывается целый мир мифов, символов, кодов и ритуалов, которые не укладываются в общепринятые представления о «расколдовывании мира». Результаты его исследований находят свое выражение в целом ряде конкретных исследований: о роли современной Интернет-культуры в кодификации религиозных практик, о месте и функциях интеллектуалов в современном обществе, о конструировании исторических и социальных травм при помощи соответствующих социальных практик и т. д. Ставя в центр своих исследований вопрос о характере влияния культурных практик и структур на действия социальных агентов и институты современного общества, Александер тем самым способствует выработке новых форм понимания взаимоотношений между культурой и современным обществом.

В издательстве «ПРАКСИС» готовится к выходу:

Джон Урри

Мобильности

На сегодняшний день вопрос мобильности является одним из главных вопросов научных и политических программ: от передачи СМС и расширения аэропортов до угрозы терроризма и глобального потепления. В данной работе известный британский социолог Джон Урри, непосредственный участник этих дебатов, предлагает «новую парадигму мобильности» социальных наук. Мобильности рассматриваются в качестве «систем», пересечение которых влечет за собой различные последствия для жизни общества: социальное неравенство, новые виды взаимодействия (социальные сети и т.д.) и новые возможности мобильности. Через парадигму мобильности автор, анализируя прошлое и актуальное настоящее, трансформирует традиционный взгляд социальных наук на современное общество.

◀ ПОЛИТИЗДАТ

все о политике: бояться не нужно — нужно знать

«Любите книгу — источник знаний»

Интернет-портал «Политиздат» — уникальная информационная площадка, объединяющая в своей структуре **Онлайн-Журнал** по книгоиздательской и общественно-политической проблематике и книжный **Интернет-Магазин**, представляющий интеллектуальную литературу ведущих российских и зарубежных издательств.

Созданный несколько лет назад при поддержке издательства «Праксис», сегодня **«Политиздат»** непрерывно развивается и совершенствуется, постепенно превращаясь в полноценный многофункциональный портал, где на одном пространстве собраны качественные книги, мультимедийная продукция и информационные материалы по интеллектуальной, философской и общественно-политической тематике.

География деятельности проекта не ограничивается Центральным регионом РФ. Предлагаемые порталом **«Политиздат»** информационные и мультимедийные материалы доступны любому пользователю Всемирной паутины не только в России, но и за рубежом.

Более подробную информацию о проекте можно получить на сайте информационного портала по адресу: **www.politizdat.ru**

www.politizdat.ru

Сократ

журнал современной философии

Уважаемые читатели!

Научно-издательский центр «Сократ» и Издательско-консалтинговая группа «Праксис» представляют вашему вниманию электронную версию Журнала современной философии «Сократ», находящуюся на информационном портале по адресу: www.socrat-online.ru. Здесь можно познакомиться с материалами нового номера журнала «Сократ» посвященного философским, историческим, социологическим и культурным аспектам существования и развития феномена государства, а также с предыдущими номерами журнала. На сайте вы можете оставить свой отзыв, обсудить опубликованные статьи, узнать о работе редакции и принять непосредственное участие в событиях современной российской интеллектуальной жизни.

Информационный портал «Сократ» является открытым непартийным проектом, предоставляющим авторам максимально широкое пространство для выражения своих мнений и взглядов по философской, культурной и общественно-политической проблематике. Одна из главных целей «Сократа» — создание площадки для свободного обмена идеями и интеллектуального поиска, реализующей новую просветительскую программу в современной российской философской и общественно-политической жизни.

www.socrat-online.ru

Научное издание

Энтони Гидденс
ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Оформление обложки

А. В. Кулагин

Верстка

С. В. Макунина

Издательская группа «Праксис»

<http://www.praxis.su>

<http://www.politizdat.ru>

Подписано в печать 20.09.2011

Формат 84x108/32

Бумага офсетная. Печать офсетная

Объем 18,48 усл. п. л. Тираж 2000 экз.

Заказ № 5738.

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов.

610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36

<http://www.gipp.kirov.ru>; e-mail: order@gipp.kirov.ru



9 785901 574904



Формы жизни, созданные современностью, оторвали нас от всех традиционных типов социального порядка и сделали это способом, не имеющим исторических прецедентов. По своему масштабу и глубине они превосходят почти все типы социальных изменений, характерные для предыдущих эпох. В количественном отношении они привели к установлению форм социальной связи, охватывающих весь мир; в качественном отношении им удалось изменить наиболее интимные и глубоко личные характеристики нашего повседневного существования.

Энтони Гидденс

В рамках серии "Образ общества" Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и издательство "Праксис" представляют работы ведущих мировых социологов, прежде никогда не издававшиеся в России. Редационный совет серии включает авторитетных отечественных ученых, профессоров московских университетов и академических институтов. Финансирование серии осуществляет Фонд содействия изучению общественного мнения.